

Василий Бетаки

СНОВА КАЗАНОВА
(Мее...! МУУУ...! А? РРРЫ!!!)



Василий Бетаки

СНОВА КАЗАНОВА

(Меее...! МУУУ...! А? РРРЫ!!!)



München, ImWerdenVerlag
2011



С портрета работы Валентины Шапиро, Париж 1986

© Василий Бетаки, 2011

© Издательство ImWerden, 2011

Inh. Andrey Nikitin-Perensky

Paul-Preuß-Str. 95, 80995 München

<http://imwerden.de>

imwerden@gmail.com

В оформлении обложки использован фрагмент
росписи Микеланджело Сикстинской капеллы:
Харон (Василий Бетаки ?)

ISBN 978-1-4466-0584-4

«Мы целовались там, где негде сплунуть,
Где нечем жить — мы жизнью клялись...»

Павел Антокольский

Так вот: рождение — дурацкая шутка.
Смерть тоже — едва ли прекрасна,
Но тот, кто разжился любовью в промежутке,
Уж точно, жил не напрасно!!!

Ленгстон Хьюз

Пояснение

Почему Казанова? Не только потому, что женских имён, иногда даже подлинных, в этом тексте больше, чем мужских...

Казанова называл себя космополитом и, кажется, избобрёл даже само это выражение. Я не избобрёл, но тоже люблю так себя называть...

Ещё потому так названа книга, что я, как и он, «правдив до бесстыдства». И опять же, как и он, отнюдь не страдаю донжуанской сентиментальностью. Но вот чего я никогда не делал — я не «экономил на лирике», то есть не посвящал одно и то же стихотворение нескольким дамам поочерёдно, а каждой писал (если вообще ей писал) отдельное. В отличие от часто ленившегося рифмовать синьора Джакомо Казановы.

Ещё потому, что Казанова быстро замечал переоценку ценностей и (главное!) удивлялся ей, а не просто принимал, как должное: он бы в наше время заметил, к примеру, ну хоть социальные последствия того, что часы, принадлежавшие в течение шести столетий к драгоценностям, приближаются по цене к зажигалке, впрочем, та, в свою очередь, — к уже исчезающим спичкам...

Да, ещё в результате развития интернета, почтовые марки останутся скоро только у коллекционеров...

Ещё потому, что его «система» — «идти туда, куда гонит тебя ветер» — это и моя «система» тоже.

Ещё потому, что я, как и он, отнюдь не принадлежу к «ренессансным умам», хотя иногда и кажусь, как и он, пародией на них. Я тоже «человек широчайшего полужнания». Я тоже знаю «кое-что обо всём». Я тоже интересовался и занимался самыми разными вещами, совался в самые разные профессии, но кроме стихов, переводов, да ещё экскурсионного ремесла, ни в чём так и не стал действительно профессионалом.

Предуведомление

Эта книга — сразу для двух несовместимых видов читателей: для *пррррриличных* (мемуары поэта о его времени, весьма субъективные) и для *нееееприличных* (мемуары бабника, порой слишком подробные для того, чтобы читатели любого из подвидов первого вида не начали бы возмущаться, но написанные и без матюгов и без медицинских терминов — короче это *эротика*, но не *порно!*).

Во всяком случае, в этой книге вместо замочной скважины читателю предлагаются распахнутые ворота!

Имена некоторых дам изменены, чтобы не сплетничать о тех из живых, кто не давал своего согласия на огласку, и чтобы не обидеть гласностью возможных родственников и потомков тех дам, которых уже нет...

Что же касается имён всяческих прохвостов и всем известных, да и малоизвестных стукачей, то рассказывая о подвигах этих людей, куда более неприличных, чем самые неприличные интимные подробности, я их с удовольствием называю полнейшими именами и даже отчествами, ибо «страна должна знать своих героев»¹, как утверждалось когда-то вполне справедливо. В общем, как сочинил, точнее слямзил через кого-то у Киплинга выражение, сказанное по несколько иному поводу, болтун и эпиграммщик питерский «пиит» «Миша Дудин, сын иудин»: «*Никто не забыт, и ничто не забыто*».

В этой книге я позволяю себе плевать на объективность, которой всё равно никто не достиг и не достигнет.

Максимальная субъективность в оценках качеств той или иной женщины, или качеств того или иного поэта, говорит о

¹ В этом смысле иду я по стопам одного из моих учителей, а именно, Ефима Григорьевича Эткинда (см. его «Записки незаговорщика» и «Барселонскую прозу»).

времени больше, чем худосочные объективистские попытки. Любые претензии на объективность уж точно кощунственны, ибо чем больше авторы претендуют на объективность и непогрешимость, тем более безоговорочно они ставят себя на место Господа Бога.

Сошлюсь на Иисуса, сказавшего в известных обстоятельствах: «кто без греха, пусть первым бросит камень». Конечно, в наше время камни всё равно полетели бы градом: ну кого же сегодня остановит честный взгляд на самого себя???

А таких скептиков, как автор этих строк, в прошлом ведь было меньше... Ну, Вольтер, ну, сам Казанова, ну, в крайнем случае Рабле, Свифт... И обчёлся!

Да и теперь куда больше людей, нагло верящих в свою объективность, а ранее у большинства, возможно, просто совести было больше.

Вступление это необходимо завершить словами Игоря Михайловича Дьяконова, всемирно известного востоковеда:

«На месте Бога для меня — совесть. И таков естественный отбор: вид, где нет совестливых не выживает»².

² Цитирую по памяти.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве,
И зверьё, как братьев наших меньших
Никогда не бил по голове.

Сергей Есенин

ПРОЛОГ ДО МЕНЯ БЕЛЬЕВАЯ (ОНА ЖЕ ГРАЖДАНСКАЯ) ВОЙНА (1920—1935)

*Мой отец и его родители. Война между поклонниками Жюль
Верна. Кинематограф или «синема». Кий в лоб*

Деникинские войска воевали где-то верст на шестьсот севернее Ростова-на-Дону, вроде бы, у Касторной, когда полузабытый начальством «Студенческий эскадрон»³ был распущен. Московский художник-футурист, мой будущий отец, Павел Васильевич Бетаки, вернулся домой после полутора лет военной службы в кавалерии.

Эскадрон распустили в Ростове на вокзале, погрузив в вагоны «40 человек, 8 лошадей» только коней. В спешке у кавалеристов даже не забрали личное оружие — может, девать его было некуда? — и корнет — а с этой минуты по документам уже бывший корнет, ровно через десять минут после окончания своей славной службы в Белой Армии подошел к родительскому дому.

³ Не знаю, почему он так назывался, но, по крайней мере, офицеры были отнюдь не студенческого возраста: например, корнету П. Бетаки было уже чуть больше тридцати лет.

От вокзала три квартала по Садовой, потом пройти горбатый Братский переулок — и вот Пушкинская 31. Огромные деревянные ворота (их сожгли на дрова во время второй мировой войны). За воротами на участке примерно в полтора гектара стоял (и стоит) кирпичный особняк, построенный дедом по собственному проекту где-то году в 1906. А ближе к воротам, в углу двора, возведённая ещё во времена Крестьянской реформы 1861 года трёхэтажная кирпичная «башня».

«Башня» — дом моей прабабушки Анфисы Николаевны, в девичестве Уваровой. Она когда-то милостиво позволила своему сыну (моему деду) Василию Викторовичу Бетаки построить себе двухэтажный, тоже кирпичный, особняк на принадлежащем ей участке, Дед был один из главных инженеров Северо-Кавказской Железной Дороги, и довольно рано вышел в отставку в чине тайного советника.

Дом этот в семь окон по фасаду был построен на «выходное пособие», которое дед получил при уходе в отставку из управления железной дороги. Сумма, видимо, была немалая!

Уйдя в отставку, дед продолжал читать лекции в Ростовском железнодорожном институте, а кроме того занялся предпринимательством: завёл 22 лошади, из которых три были верховых, а остальные — першероны, возившие по подряду с вокзала на пристань и обратно разные товары. Единственное, что мне запомнилось из рассказов родичей по этому поводу — словосочетание «посуда Великанова», которую эти першероны и перевозили.

Кроме «башни» и дедовского дома, заплетённого диким виноградом так, что кирпич едва просвечивал, на переднем участке почти у самых ворот стоял деревянный домик экономки. Чтобы попасть на обширный задний двор с конюшнями и жильём нескольких драгилей (возчиков) над конюшнями, нужно было миновать «башню» потом передний двор с двумя беседками, увитыми тем же диким виноградом, и пройти через арку ворот под особняком, перегородившим участок поперек.

Домик экономки в 1945 году разобрали на дрова. Ещё раньше сломали конюшни, а в остальном усадьба и сейчас имеет почти прежний вид, только вот заслонена хрущёвской пятиэтажкой от улицы. Даже один из флигелей, где наверху жили драгили, а внизу был тележный сарай, и то сохранился.

И вот «после эдакой демобилизации, гремя саблей и таща осточертевший кавалерийский карабин», «раскорнеченный корнет» вошел в ворота. Кокетливая белая кобыла Белка, подаренная ему родителями ещё к пятнадцатилетию, встретила его ржанием. Она всегда свободно ходила по участку, а за ней, как свита, следовали три дворняги «приблизительно охотничьей породы».

В тот же вечер город заняли красные. Голодные победители бесцельно бродили улицами и переулками, заглядывали (как правило, всё-таки стучась или звоня!) во все дома, что казались побогаче.

На следующий день после возвращения «бывшего корнета» ранним утром его старшая сестра Мария проснулась от лая и яростных криков. Локтем она разбудила своего мужа Мишу, и они выглянули в окно первого этажа, выходявшее на огромный конюшенный двор. Но двор возле дома был весь завешан верёвками с бельём, и ничего, кроме взлетающих то там, то тут простыней, видно не было. Потом между простынями замелькали две фигуры в форме, почти одинаковой. Они явно гонялись друг за другом.

В одном супруги опознали Павла. А второй был тонкий, черноволосый и повыше ростом. Бегал он неуклюже, с большим ружьём и большой полицейской шашкой. У Павла тоже болталась его кавалерийская сабля. Но ни тот, ни другой так и не обнажили своё оружие, видимо, все-таки опасаясь попортить бельё драгилей и хозяев.

Они бегали беспорядочно и, казалось, бесцельно, ориентируясь в этом лесу белья только на злые крики противника. Половину слов Мария не понимала, от второй половины краснела, и вдруг поняв, в чём дело, помчалась на верхний этаж к отцу и матери. Через минуту моя бабушка, Анна Павловна, высунулась в окно и, мгновенно оценив обстановку, закричала своему сыну и длинному незнакомцу, чтоб бельё не пачкали, «сукины дети», хватит, мол, в прятки играть, идите-ка наверх, пора завтракать.

От абсурдности ситуации вояки неожиданно расхохотались, и когда бабушка, спустившись, «взяла за руки этих великовозрастных хулиганов», они послушно последовали за ней по лестнице, гремя саблями. «А теперь и познакомьтесь не грех. А? Ну, мальчики, за стол!».

Из бабушкиного допроса выяснилось, что Павел, проснувшись от лая, увидел во дворе чужого. Нацепив для важности саблю, он спустился и не очень вежливо спросил человека, забредшего во двор, кто он такой. Незнакомец сказал, что он красный комиссар, на что отец тут же отрекомендовался белым корнетом. Хотя строго говоря, со вчерашнего дня он не имел никакого права так называться! И начался ещё один эпизод гражданской войны среди белья на конюшенном дворе... В общем, они оба, даром что тридцатилетние, вели себя совершенно по-мальчишески. В те времена, когда и в 25 лет человек считался уже давно взрослым, «это было просто невероятно», как отметила бабушка, рассказывая мне эту историю году уже эдак, в 1944-ом. И тут же подчеркнула, что она тогда и обращалась с ними соответственно...

«Скажите, Анна Павловна, — обратился к моей бабушке уже за столом среди всеобщего смеха темноволосый курчавый противник отца, — а я слышал, что все помещики — юдофобы. Как же так? Вы ведь помещики?»

«Во первых не все... А кто без поместий не помещики, а просто дворяне, но я-то прежде всего инженер-путеец и приват-доцент!» — громогласно заявил вошедший в столовую дед. И представился молодому человеку, как «отец этого скаженного хулигана, тайный советник, инженер в отставке и член народной партии».

Он посетовал, что сын его, хоть тому уже стукнуло тридцать, ничего в политике не понимает и понимать не хочет, а потому черт и занёс его к этому «толстяку Антону». Так дед именовал Деникина, которого лично не знал, но много о нём слышал, в основном, смешного, от своего кузена генерала Севостьянова. «Повоевать, видите ли, Павке не терпелось — с немцами-то он вовсе не воевал, всю мировую войну рисовал и рисовал себе в Москве, да какие-то там «синема» делал, а тут вдрут с чего-то на гражданскую полез добровольцем...»

На это Борис пробормотал, пытаясь оправдать обоих, что вот и он — доброволец, а когда война закончится...

Дед заметил, что, во-первых, эту железную дорогу он строил «не для того, чтоб такие хулиганы, как вы оба, катались по ней, да стреляли друг в друга», а во-вторых, что он, Борис, волен поступать, как ему нравится, но для Павла война уж точно закон-

чилась. В подтверждение своих слов он подошел к сыну и снял с него кобуру. Сын не возражал.



Бабушка и дед. 1906 г. Ростов/Дон.

Борис, посмотрев на револьвер, удивлённо спросил Павла, что ему, собственно, помешало пустить в ход этот револьвер там, среди белья. И получил в ответ, что раз он, Борис, никак не мог в хаосе белья и веревок пустить в ход свою громоздкую винтовку, то какая же тут дуэль? Хоть бы и американская? («Помнишь, в начале романа «Из пушки на Луну»?»)... Услышав о Жюле Верне, комиссар без колебаний сменил тему, и оба героя бельевой войны, перебивая друг друга, разговорились о романах этого любимого ими автора и о будущем... А Марию бабушка послала во двор принести борино ружьё, потому что он очень беспокоился, что за потерю по головке не погладят.

Потом молодой комиссар очень насмешил старших, выказав нешуточную убежденность в том, что лет через пять люди вообще перестанут умирать, поскольку революционная наука изобретёт... ну и так далее. Это была, как лет тридцать спустя, оха-

рактизовала мне всё это тетка Мария, «смесь марксизма с фёдоровщиной понаслышке, да ещё в стиле Жюль Верна».

Через день Борис пришел в гости и рассказал, что его начальство очень одобрило «знакомство с этим семейством». Командир полка, в котором Боря был комиссаром, оказался ростовчанином, да ещё и паровозным инженером. Несколько лет назад, будучи студентом Ростовского Института Путей Сообщения, он слушал лекции моего деда, сдавал ему экзамены и знал о том, что местные эсдеки (социал-демократы на тогдашнем жаргоне), как большевики, так и меньшевики очень уважают известного в городе народника.

Комиссар Боря Браун, сын одного из киевских раввинов, был младше корнета Павы Бетаки на три года. После ешибота он закончил два курса консерватории по классу скрипки, был неплохо начитан и очень заинтересовался, когда мой отец стал рассказывать ему всякое разное про кинематограф, в котором сам он в Москве перед гражданской войной делал первые шаги в качестве художника-постановщика.

Это новое искусство именовалось тогда «Великий немой». И никто еще не знал, что «немой» останется немым ненадолго⁴.

Так или иначе, молодые люди подружились, и через несколько лет Борис Браун стал одним из первых операторов на открытой в 1924 году кинофабрике «Межрабпом-Русь». Потом оба они работали на «Ленфильме», называвшемся с 1926 по 1930 год «Совкино».

Я помню дядю Бориса, примерно, года с 35-ого, с моих пяти лет, а точнее — с того дня, как он играл с отцом на бильярде в ленинградском Доме кино. Целясь в какой-то неудобный шар, он заехал задним концом кия мне по лбу. «А не болтайся под ногами, так тебе и надо — буркнул отец в ответ на мой рёв, — иди вниз к маме».

⁴ Великий Немой заговорил в самом конце двадцатых. Я, во всяком случае, рос уже в эпоху звукового кино. Кстати, когда кинематограф перестал быть немым, обе мои тётки, игравшие в немых лентах, ушли из профессии, как и многие другие актёры. Было это уже где-то в самом начале тридцатых годов, и тетка Мария, которой было тогда лет сорок, да и тетка Лида, на двенадцать лет младше её, с тех пор больше никогда не работали ни в кино, ни в театре.

С тех пор, приходя к нам, дядя Боря всегда спрашивал, хорошо ли я себя веду, а то «Кий ждёт»... А папина ассистентка, тогда совсем молодая художница Женя Слоцова и вообще Бориса прозвала Кием, хотя его серьёзная супруга очень была против такого «неприличного» имени.

Тогда же на каких-то из детских утренников в Доме Кино я видел не один уже тогда «старый», фильм, где вначале значилось: «Оператор Б.... Браун (отчества не помню), художник-постановщик П. В. Бетаки», — как сообщали белые, дрожащие среди «снежинок» на экране, буквы в титрах этих ещё немых картин, чаще всего комедий. Так и работали они как правило в одной съёмочной группе, и оба погибли во время блокады Ленинграда.

«ЧЕЛОВЕК ЛОСКУТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

(1770—1937)

Потомки екатерининского пирата. «Мазурка» 14 декабря. Сосед Лермонтова. Весёлый полковник. Умыкание бабушки. Вмешательство Маяковского. Дети эфиопки и бердичевского купца. Макс Волошин. Охота и рыболовство. «Ледники, ледники...»

Мой учитель Павел Григорьевич Антокольский, поэт, вахтанговский режиссёр и театральный художник, когда-то прозвал меня «человеком лоскутного происхождения».

Во мне смешаны русские, греки, евреи, эфиопы, поляки... Моя мать — полуеврейка-полуэфиопка, а с отцовской стороны я седьмой потомок греческого «приватира» (проще говоря пирата). Бабушка Анна Павловна Шереметьева — мать моего отца, — наполовину полька, и для полноты картины следует только напомнить, что старинный русский род Шереметьевых имеет татарское происхождение.

Начну с отцовских предков.

В семидесятых годах XVIII века после морских битв с турками у греческих островов, несколько греков-капитанов с о. Корфу поступило на службу к Екатерине. Среди них был Мартин Карбури-Ласкари, будущий «царицын сапёр» — изобретатель раз-

вёрнутого подшипника с медными шарами на дубовых рельсах, при помощи которого на Сенатскую площадь приволокли с баржи Гром-камень:

Поколдовав над досками,
Гору на площадь припёр
Мартин Карбури Ласкари.
Хитрый царицын сапёр.

Ох, средиземные драки,
Тёмное в шрамах лицо —
Он с капитаном Бетаки
Грабил турецких купцов...

Мой предок, капитан Бетаки, приходившийся Мартину Ласкари двоюродным братом, тоже поступил на русскую службу. Первое (и единственное) упоминание о нём, довольно глухое, содержится в официальном документе екатерининских времён, относящемся уже к карьере его сына:

*«Афанасий Бетаки переведён из Пансиона для иностранных еди-
новерцев в Морской Кадетский Корпус в 1786 году... Отец его был
греческим капитаном на русских судах. Потом он плавал привати-
ром на собственном корабле⁵, имея стоянку в море Азовском. Пожа-
лован от Ея Величества российским дворянством»⁶.* В основном,
как видно из текста, эта запись касается не столько самого «ца-
рицыного пирата», сколько его сына Афанасия, закончившего
Морской кадетский корпус: *«Окончил в мае года 1788, выпущен в
полк князя Урусова»⁷.*

Я даже не знаю как звали пирата.

Кстати, полк князя Урусова, состоявший из отчаянных голо-
ворезов, был по сути морской пехотой, тогдашними десантны-
ми войсками.

У Афанасия было два сына — близнеца (по архивам — оба
1805 г. р.) Виктор и Василий. Они уже не были моряками, но,

⁵ То есть, проще говоря, был пиратом, отдававшим положенную долю добычи в пользу Ея Величества матушки Екатерины Второй, за что находился под покровительством государства. Это означало, что при попадании в плен он числился бы не разбойником, а военнопленным и его не могли бы повесить.

⁶ *Военно-морской архив в СПб.* Найдено М. Г. Альтшуллером.

⁷ Там же.

естественно, были офицерами. Виктор, как его называли в армии «Бетаки первый» начал службу при Ермолове на Кавказе, а в конце тридцатых годов, в чине майора, был назначен Пятигорским военным комендантом, то есть полицмейстером (должность, на которой офицеров сменяли, вроде бы, каждые два года). О нем я знаю от Ираклия Андроникова, и ещё из «Лермонтовской энциклопедии». Виктор был соседом Лермонтова, они вместе участвовали в домашних концертах: Виктор дудел во что-то духовое, жена его Александра Фёдоровна — (ур. Унтилова) играла на рояле, а поручик Лермонтов на флейте.

И. Андроников утверждал, что именно Виктор Афанасьевич в какой-то степени описан в очерке Лермонтова «Кавказец». А после гибели Лермонтова майор Бетаки составил официальный протокол о дуэли и смерти поэта с описанием дуэльных пистолетов и, игнорируя запрет императора Николая, отвёз тело в Тарханы, в имение лермонтовской бабушки.

Брат Виктора, Василий Афанасьевич «Бетаки второй»⁸, поручик, служивший в Петербурге в лейб-гвардии, 14 декабря 1825 года оказался на Сенатской Площади вместе с ротмистром кн. Барятинским и приятелями из Московского пехотного полка, хотя, кажется, о том, что «завтра будет жарко», он узнал только вечером накануне...

В зале мазурка хлещет с балконов,
Зарево золота в белых колоннах.
Чётки античные профили женщин,
Черными птицами кажутся свечи.
Мечутся рыжим пламенем баки —
Мчится в мазурке поручик Бетаки.
Белая роза на доломане.
Музыка кружит, музыка манит —
Прочь до рассвета учёные споры,
Росчерком свет в золочёные шпоры.
Шпора сотрётся
В свете сусальном,
Звон обернётся
Звоном кандалным,

⁸ По сведениям И. Андроникова, портрет Василия (видимо даже фото) есть в каком-то журнале конца того столетия... Его долго принимали за портрет Виктора. (См. «Лермонтовскую энциклопедию».)

Белая роза дворцового бала
В белой метели окажется алой...
«Мазурка, или последний бал моего прадеда)

Василия разжаловали в солдаты, и он попал на Кавказ в так называемый Сводный полк. А тут уже сработала протекция брата, «старого кавказца»: вскоре Василий заново получил первый офицерский чин (радовался, наверное, этому не меньше, чем Грушницкий!). Потом стал одним из адъютантов Командующего отдельным Кавказским корпусом и Главноуправляющего в Грузии, генерала А. П. Ермолова, от которого в 1827 году получил «за храбрость» свой прежний чин поручика, только уже не гвардейского, а армейского. А еще он получил от Ермолова, ушедшего с должности, личный прощальный подарок — золотое кольцо-печатку с инициалами «В. Б.». Это кольцо цело и поныне — единственная унаследованная мной историческая реликвия и вообще единственное наследство, когда-либо мне доставшееся⁹.

Недавно я узнал о Василии ещё: в пятидесятых годах он в чине майора был комендантом города Кизляра, а в шестидесятых — предводителем дворянства Ставропольского края.

Дочь же его, Лидия, была сначала замужем за генералом Барсовым, а после развода, которого решительно и быстро добилась, вышла замуж за одного из княжичей Бибиковых. И вместе с барсовскими двумя детьми, которых Бибикову позволили усыновить, она уехала в Екатеринбург, где Бибиков вскоре стал не то городским головой, не то губернатором... Подробностей знаю немного: главная из них — что гостеприимный и хлебосольный дом Лидии Васильевны Бибиковой был знаменит среди русского населения сначала на всём Северном Кавказе, а потом и на Урале.

Младший брат Лидии — т. е. «сын незадачливого декабриста» Василий Афанасьевича — Виктор Васильевич Бетаки — тоже, как водится, военный, был большой чудак.

Полковник-артиллерист, командовавший Ставропольской крепостью, он ещё в конце пятидесятых годов распустил с со-

⁹ В. Топоров в своих воспоминаниях сообщает о том, что будто бы в эмиграции я получил какое-то наследство. Не представляю, где он нашёл такие сведения!

гласия жены Анфисы Николаевны, урождённой Уваровой, принесённые ею в приданое пять захудалых деревенок где-то в средней России. Причём предугадал события — придумал то, что потом, в Реформу, было названо статусом «временно обязанных»: он положил бывшим крепостным выплачивать ему ежегодно за отданные им в полную собственность земли небольшие «оброчные деньги» (какой-то процент от выручки за урожай). А после Реформы хвастался перед сослуживцами и знакомыми, что «Самого царя Александра Второго на несколько лет опередил».

А ещё, как мне рассказывала бабушка, он имел обыкновение вставать спозаранку по базарным дням и отправляться на ставропольский городской базар. Шел он туда с двумя солдатами, тащившими ручную тележку, и скупал полностью какой-нибудь один продукт: сегодня баранину, в следующий базарный день — масло или сливы, ну и так далее. Короче, для смеха «создавал дефицит». Таким образом, когда офицерские жёны выходили на рынок, оказывалось, что, к примеру, масла на всём базаре нет! Это в середине-то девятнадцатого столетия!

«Да ваш же полковник и скупил!», — говорили крестьянские бабы. Дамы — к полковнику. Анфиса Николаевна каждый раз заново ритуально удивлялась и звала мужа на крыльцо. Тот выходил и всегда повторял одну и ту же фразу: «На перине валяться, дорогие дамы, меньше надо, раньше мужей кормить, чтобы на учения не опаздывали!»

Сын этого дурашливого полковника — мой дед Василий Викторович, первый не военный в нашем роду. Отец отправил его учиться в Петербург в Институт путей сообщения. Инженерное образование тогда очень ценилось: не случайно же ещё Николай Первый любил говорить о себе: «Мы, инженеры...» А дипломы выпускникам первых выпусков института вручал сам лично Александр Второй. (По-моему, это был единственный в истории России и вправду Великий Государь!).

Молодой инженер быстро сделал карьеру на строительстве Северокавказской железной дороги.

В Петербурге, кажется, в уваровском доме у родственников своей матушки, он познакомился с Анной Павловной Шереметьевой, младшей дочерью ярославского помещика из какой-то боковой ветви этого разветвленного семейства. Она в раннем

детстве получила монастырское воспитание, а потом окончила (пятнадцатой, кажется, по скромным успехам) Смольный институт. Ну, и месяца через два после выпуска инженер и умыкнул девушку, так и не дав ей получить высшее образование на Бестужевских курсах, куда она собиралась уже, да так и не собралась...

Умыкнул он её прямо из загородной отцовской усадьбы, находившейся недалеко от Ростова Ярославского (или Великого, как он тогда назывался). А служил тогда он в Управлении строящейся Северо-Кавказской железной дороги в Ростове-на-Дону. На поезд они сели в Ярославле — «пришли пешком на станцию, но вошли в жёлтый вагон (первого класса), и заняли роскошное двухместное купе».

«А билеты, Васенька, мы не купили! Что теперь будет! Вот стыда-то!» — волновалась дисциплинированная смольнянка. Но молодой инженер, имевший право бесплатных поездок по всем немногочисленным тогда железным дорогам России, только усмехался в усы, а об этом своём праве ни слова. «Ох, и тряслась же я трое суток, — рассказывала мне бабушка — только в Ростове на квартире он всё и объяснил!».

Обвенчались дед с бабушкой где-то по пути у «станционного попа» (по бабушкиным словам «за три рубля и бутылку казённой, потому как без свидетелей, которых бойкий поп присочинил не задумавшись»), и только уже из Ростова-на-Дону дед послал телеграмму родителям жены в Ростов Великий.

Ответ не заставил себя ждать: рассерженный Павел Николаевич Шереметьев (помещик, едва сводивший концы с концами) лишил строптивую дочь наследства «по причине мезальянса»¹⁰, на что молодые только усмехнулись: младшей дочери небогатого помещика должно было достаться немного! А громкая фамилия с замужеством так и так исчезала!

Дед был одним из главных инженеров СКЖД, дослужился, как я уже упоминал, до тайного советника и вышел в отставку, продолжая читать лекции по путям и сигнализации в Ростовском Институте путей сообщения... На огромном по городским условиям Ростова участке своей матери Анфисы Нико-

¹⁰ Для старинных допетровских боярских родов брак с «екатерининским дворянином» был невыносимой обидой даже в конце XIX века!

лаевны дед, как я уже писал, построил дом. Себе взял второй этаж, а на первом сделал две небольших квартиры для дочерей Марии и Лидии, чтоб было, где жить, когда выйдут замуж.

Павел, мой отец, жил наверху с родителями до окончания гимназии, после чего сразу уехал в Москву и поступил в Строгановку. Потом учился в Школе Ваяния и Живописи вместе с Маяковским и Бурлюками. Носил и морковку на причинном месте, как «будетлянин».

И до революции и после, лето он проводил у родителей. Одно лето был «ничевоком», клуб которых бушевал тогда в Ростове. Но писал отец все больше портреты знакомых. Подружился он в это время с приехавшим в город художником Юрием Анненковым.

Как-то раз, когда он прогуливался с морковкой, его со всей компанией замёл на улице патруль. Отца водворили в камеру ростовской ЧК, но разрешили позвонить домой, крайне изумившись такому редкому явлению, как «телефон в доме частного обывателя». Бабушка тут же послала Марию на телеграф отправить телеграмму Маяковскому, надеясь, что поэт вступится за бывшего однокурсника. Так и произошло.

Отцу показали телеграмму, подписанную «В. Маяковский, О. Брик». Причем, пришла телеграмма чрезвычайно быстро. Вторая подпись на ростовских чекистов произвела большее впечатление, чем первая: Осип Брик был в их кругах достаточно известной фигурой. В телеграмме содержалась рекомендация «использовать в течение лета художника московской кинофабрики В. П. Бетаки для нужд пропаганды и агитации в РОСТА».

Помещение РОСТА находилось в том же здании, что и ЧК, поскольку РОСТА подчинялось чекистам, и отец, обойдя громадный квадратный дом на Садовой (поздней — горисполком и главное здание Университета), вошел в него же с переулка. И тут его радостно встретили знакомые ничевоки и футуристы, в это несытое время прибившиеся к хлебной работе раньше него.

Так что он из камеры попал прямо в объятия друзей, и кончилось тем, что его с новеньким удостоверением ЧК в кармане, ребята приволокли домой, первый и, кажется, последний раз в жизни упившимся в доску.



Ростов. Здание университета.
Некогда тут располагалась ЧК, РОСТА и т. д.

Наутро после этого знаменательного события Павел узнал, что муж Марии, Миша Золинский, служивший ранее в ГОНе — Губернском Охотничьем Надзоре — тоже сидит в ЧК. Не сказав никому ни слова, он пошел к своему новому месту работы, но перед тем, как войти в РОСТА, обогнул здание и, с важностью показав часовому удостоверение ЧК, потребовал чтобы ему срочно выдали Золинского.

Часовой, не глянув на то, что в удостоверении красовалось слово «художник», ничуть не усомнился в праве этого штатского человека распоряжаться (без формы, но с удостоверением чекиста «предъявитель» выглядело ещё страшнее, чем в форме). Часовой молча козырнул, и через минуту вывел Мишу. Павел важно завел его за угол, будто бы он его конвоирует, хоть и без оружия, и шепотом велел бежать домой, взять на берегу Дона свою лодку и тут же, не теряя ни минуты, плыть на хутор Золинских, где жил тогда мишин отец. «Пересиди недельку, а там увидим». Так и сделали. В те годы этого было довольно, чтобы

«дело» (никому неизвестно какое) забылось и само собой прекратилось.



Павел, Мура и её муж Миша Золинский
фото примерно 1912 г.

Рисовать в РОСТА карикатуры отцу быстро надоело. К тому же пришла осень, и он уехал в Москву, а потом вскоре и в Питер, где стал работать на тамошней «кинофабрике», т. е. на будущем «Ленфильме».

Первым браком отец женился (ещё до первой мировой войны) на студентке консерватории, певице Ольге Миклашевской (впоследствии солистке Ленинградского Малого Оперного), а вторым браком в двадцать четвёртом году — на моей будущей маме Сабине Борисовне Маркус, пианистке-тапёрше с кинофабрики «Межрабпом-Русь».

* * *

История маминого семейства тоже весьма незаурядна и тоже не без «умыкания».

Моя мать Сабина Борисовна была двенадцатым ребёнком в семье — младшей из пяти дочерей Бориса Маркуса, преуспевавшего купца Первой Гильдии и банкира из Бердичева.

Я не знал ни деда, ни бабушку Маркусов: бабушка умерла вскоре после рождения своего последнего сына Изи (1894 г.). Он

был на два года младше Сабины. Когда умер дед, мне неизвестно, — знаю только что позднее бабушки, но, видимо, тоже относительно рано. На грани веков.

Вот что я о них знаю: молодой еврей, богатый бердичевский купец и банкир Борис Маркус (он держал большие магазины «Колониальные товары») в конце шестидесятых годов XIX века увидел в приезде цирке красивую чернокожую гимнастку-эфиопку, сманил её и женился на ней по еврейскому обряду. И посыпались дети.

По договорённости между супругами (это в семидесятые-то годы XIX столетия!) все мальчики у них считались евреями и, как положено, проходили бар-мицву, а всех девочек, по настоянию эфиопки по имени София, крестили в православие. Поэтому имена сыновей были русско-еврейские: Лев, Саул, Михаил, Исаак, а дочек — усредненно-европейские: Анна, Ирина, Диора, Елизавета и Сабина.

Какое-то время проблем не было, отчасти благодаря ребё, который был большим дедовым другом и собутыльником. Он объяснял бердичевским жителям, что эфиопы, как правило, иудейского вероисповедания, а что жена у почтенного Боруха чернокожая, так она сильно загорелая: «солнце у них в Африке, сами понимаете...» Но потом стало известно, что девочки православные: может, кто-то из старших проболтался, а может, просто видели девчонок в праздник входящими в церковь. Так или иначе, евреи стали бойкотировать огромные магазины деда. И пришлось ему покинуть большое местечко, коим был тогда Бердичев.

Переселился дед со всем семейством в Киев. Торговлю там даже расширил. Небольшой банк его тоже процветал. Там и родились последние трое: Иосиф, моя мать Сабина и младший, Исаак.

Из девяти выживших детей пятеро пошли в медицину. Да ещё Иосиф служил военным фельдшером в белой армии и погиб на Гражданской войне. А старший брат Иосифа, Михаил, несмотря на то, что был ещё до революции крупным сахарозаводчиком, в Гражданскую войну стал красным комиссаром. Правда, с братом на войне он не столкнулся, такого распространённого сюжета не возникло. Потом Михаил побыл некоторое время (по приказу партии) нэпманом и, в конце концов, стал

служить начальником Азово-Черноморского краевого треста «Главсахар» в Ростове. В 1941 году он умер в эвакуации от инфаркта.



Бывший комиссар а тут уже — «непсман» М. Б. Маркус с женой Евгенией (ур. Сегал) и сыном Борисом (ок. 1917—1966) впоследствии студентом ИФЛИ а потом преподавателем марксизма.

Последыш, тринадцатый, Исаак, уехал перед самой первой мировой войной учиться в Париж, стал французским инженером, женился на француженке, а когда я родился, присылал через «Торгсин» какие то «бонь», на которые там выдавали детское питание в ярких коробках. На коробках было написано «каша Нестле», на ней я и вырос.

Моя мать окончила киевскую консерваторию.

Воспитывала ее после смерти их матери самая старшая сестра Анна Борисовна. Она на двадцать три года старше мамы. По профессии А. Б. была провизор, училась в Польше, Швейцарии и Германии, потом вышла замуж за владельца большой ростовской аптеки Семёна Витовецкого из Вильно. В конце двадцатых годов, после смерти мужа, тетка Анна переехала к сыну Володе в Ленинград и до самого 1941 года, до эвакуации, завела аптекой на Невском у Аничкова моста. Она пережила всех сестёр и братьев, и умерла, не дожив месяца до своего столетия, в 1969 году.

Она была до конца во вполне здравом рассудке, и стоило мне только прийти в гости к Витовецким, как она тут же начи-

нала меня «воспитывать», то есть пилить за что попало, хотя мне было уже под сорок... (В частности за то, что я всегда отказывался учиться у неё французскому языку — никак не думал, что понадобится!).



Мама (справа) и её племянница Лида Витовецкая-Рысс. 1913(?).

Остальные три сестры и два брата все получили медицинское образование в Швейцарии и Германии, вернулись в Россию и вслед за Анной перебрались в Ростов. Так что на улицах Ростова появилось пять табличек, с одной и той же фамилией: «Доктор Маркус». Только специальности были разные. Старший Лев был кожником, Арон, умерший в начале тридцатых годов, окулистом. Три незамужних сестры (зубной врач, гинеколог и косметолог) поселились вместе в одной колоссальной квартире, занимавшей весь верх двухэтажного дома (у каждой — свой частный приём и, следовательно, свой кабинет) на Никольской 129. В этой квартире я и родился.

Мама уже несколько лет жила с моим отцом в Питере, но рожать приехала к сестрам, рассудив, что так надёжнее, чем в больнице, особенно учитывая, что ей тогда было уже тридцать восемь лет, и что лет шесть детей у них не было. Я так и остался единственным ребенком.

По телеграмме отца, что у него наконец-таки сын родился, из Коктебеля приехал в Ростов тогда уже больной Макс Волошин, весело принявший бабушкину идею стать моим крёстным.

Бабушка, по сути, как и дед, неверующая, очень любила праздники и обряды, так что церемония крещения состоялась в главном храме Ростова, в Андреевском Соборе, под иронические дедовы ухмылки и гримасы. Старый народник, однако, только за спиной у Волошина позволял себе кривляться, потому как Волошина он очень уважал за его позицию времен гражданской: «не красный и не белый, а человек». Да и ценил его, как большого поэта.



Анна Борисовна Маркус-Витовецкая. 1900(?).

Из двух отцовских сестёр младшая, Лидия, бросив начатую было карьеру киноактрисы, жила в Москве с мужем фоторепортёром В. Д. Шаховским и с сыном от первого брака Игорем Пётковым.

А старшая, Мария, с мужем Михаилом Золинским, охотинспектором и с тремя детьми проживала в предназначенной ей дедом квартире на первом этаже.

Дед с бабушкой продолжали жить на втором этаже своего бывшего особняка, но после 1923 года они перебрались в одну

комнату — бывший дедов кабинет. Остальные пять комнат дед, сдавая дом государству, заранее «самоуплотнил» разными дальними родственниками и знакомыми.

Внизу же, в квартире, предназначавшейся для младшей дочери, поселился с семьей дедов кузен Севастьянов, царский генерал, превратившийся в красного командира и расстрелянный, кажется, в 38 году.



Лида. 1916.

Институт, в котором дед был доцентом, прекратил на время своё существование и был заново организован только в конце двадцатых годов под названием РИИЖТ. Дед туда уже не вернулся. Он получал персональную пенсию, но сидеть сложа руки не мог. Своё «лошадиное дело» он в конце НЭПа распустил и

занился выделыванием шахматных фигур, которые сдавал в какой-то новый магазин. Был у деда токарный станочек, приводившийся в движение, как ножная швейная машина. Стоял станочек в антресоли между этажами, в мастерской, чудом сохранившейся.



Мне 1 год. В Москве у Шаховских.

В. Д. Шаховской, Мои родители, я на руках у кузины Иры,
Лида Бетаки-Шаховская, её сын Игорь Петков с котом Буцефалом.

Фото В. Шаховского. 1931.

Когда мне было около пяти лет, дед, подставив какие-то ящички, чтоб я мог дотянуться, стал учить меня вытачивать фигурки. Я управлялся с резцами и суппортом, а он качал педаль. И за то, что я хорошо учусь, он подарил мне авансом ко дню рождения настоящий паровоз длиной, примерно, сантиметров 30, ужасно тяжёлый. В паровозе нужно было зажечь спиртовку, и он тогда пыхтел, свистел, блестел, ехал по рельсам и тащил один вагон, в котором сидел вырезанный дедом деревянный заяц с морковкой в лапе. Машиниста, правда, не было, но это меня не смущало, я себя воображал машинистом.

Мы жили в Питере, но летом всегда проводили в Ростове какое-то время. Как всегда, той осенью мы уехали домой, в Ленинград, а через месяц, когда мне как раз исполнилось пять лет, мы получили от бабушки телеграмму, что дед умер от брюшного тифа, свирепствовавшего в 35 году по всему югу страны.

У отца, как у всех киношников, был весьма длинный отпуск. Мы почти каждый год ездили на Чёрное море. После смерти деда мы по-прежнему по дороге с юга недели на две-три задерживались в Ростове. Жили то у тетки Муры в нижней квартире, то — чаще — у трёх материнских сестёр в самом центре города на Никольской, где было попросторнее, чем в окоммуналенном «родовом гнезде»...

С отцом и с дядей Мишей, мужем тети Муры, охотинспектором, мы летом часто выходили в Азовское море, а точнее в дельту Дона (на местном, слегка украинизированном диалекте дельта — гирлò). Ловили сомов, которые были иногда вдвое длиннее меня. Такую рыбину надо было долго «водить» на леске за лодкой: если же поспешишь вытягивать, то в буквальном смысле насмешишь, ну не людей, так судаков — такой сом лодку легко перевернёт.



Мне 3 года.

Особенно я любил, когда отец и дядя Миша брали меня на охоту на таинственную и забытую миром реку Маныч и озеро Маныч-Гудило с тысячей островов. Отец подарил мне льежское ружьишко, хоть и 22 калибра, но вполне настоящее: он сам с

ним когда-то охотился. (Это ружьё, кстати, чудом сохранилось и потом я иногда охотился с ним аж до 1956 года! А позднее подарил своему приятелю, художнику Арефьеву).

В лодке с нами всегда ехал и мой ближайший друг, ирландский сеттер Дик, который, к моему удовольствию, принес и положил в лодку мне к ногам (а не отцу и не дяде!) первую же подстреленную мной утку.

Я ужасно загордился, что я эту утку подстрелил не дробью, а пулей — одной пулей! Отец и дядя Миша смеялись: «чудом повезло, надо знать, чем заряжаешь! Вон патроны твои с мелкой дробью в другой коробке!».

Потом, уже взрослым, я не раз ездил на Маныч. Иногда с сыновьями моих двоюродных сестёр, а иногда и один. Эта солёная река полгода течёт в одну сторону, полгода в другую. Бесконечные солёные озёра и тысячи островов. То там, то тут на горизонте дерево торчит. А так — камыши и небо... Да ещё в степи — табунки полудомашних лошадей, принадлежавших кумысному санаторию....

Как-то мы развели на островке костерок из сухих камышей и с трудом найденных веток, над ним приспособили рыбку на шомполе, и пока возились — пожаловал камышовый кот. Я обернулся — а он удаляется торжественным шагом с моей уткой в зубах, так и смылся. И хвост трубой!

Чёрт с ним, с жуликом. У нас тогда ещё три утки осталось. Я много не стрелял: летом добыча быстро портится. Ведь надо было долго на вёслах добираться до станции, а если весь путь на лодке проделывать, так всякими протоками да ериками (иногда и с волоком, если лето засушливое) ещё дольше добираться до Дона. Многие коптят на месте, но ни племянники, ни я этого не умели.

Охотиться я начал в семь с чем-то лет и окончательно перестал в 26, когда стал в Павловске работать.

В шесть лет меня впервые посадил на лошадь дядя Гриша, казак, врач, старый отцовский приятель ещё по гимназии. В то время он был врачом и председателем станичного совета в станице Аксайской, расположенной километрах в шести от тогдашней границы города. Сейчас это часть Ростова. Об этой станице я ещё не раз вспомню...

Лошадь была огромная, как все донские. Что делать, пони тогда в стране, по крайней мере, на Дону, не водились. Пришлось учиться на «слишком взрослой». Как я довольно быстро понял, главное подружиться, близко подружиться с умным зверем, и тогда она всё станет делать по одному моему движению, даже по намеку на него...

И должен определённо сказать, что всё же не дядя Гриша казак, и не отец кавалерист научили меня верховой езде, а кобыла Верка. С тех пор я убеждён, что чужие, а пуще того прокатные лошади — для ученика бесполезны. И когда я, учась в Литинституте в Москве, подрабатывал как преподаватель верховой езды, я более всего настаивал, чтобы за каждым учеником закреплена была одна и та же лошадка.

И ещё одно южное явление, которое для питерского мальчишки было экзотикой. Уличные крики: «Точить ножи-ножницы» заглушалось более звонким «Стёкла вставлять!», и всё это перекрывалось басами ледовозов.

Каждое утро летом на улице, если мы жили на Никольской у трех тёток или в нашем большом бульжном дворе (если жили у бабушки) раздавался протяжный крик, как правило, густым басом: «Лёдники, лёдники приготовьте! Лёдники, лёдники приготовьте!» Вслед за тем звонок, и заходил человек, одетый в рыбацкий серый клеёнчатый плащ, под которым был ватник, хотя на улице могло быть хоть 30 градусов жары.

Он нёс на плече, как ружьё или лопату, большой железный крюк, похожий на кочергу, и на этом крюке висел огромный, примерно метр на метр, толстый брикет льда. Ещё раньше, когда я был совсем маленьким, в деревянном ящике приносили колотый речной лёд, неведомо где с зимы сохранённый. Так что этот брикет был новшеством и назывался искусственным льдом. Он испарялся постепенно, не оставляя ни капли воды.

На кухне стоял лёдник — узорчатый кухонный столик с двумя толстенными дверцами, за которыми были оцинкованные, как ведра, помещения с полочками. Заслышав крик разносчика льда, в середине столешницы поднимали узкую крышку, длинную и прямоугольную. Человек с грохотом и ледяными брызгами опускал брикет, закрывал крышку, получал мелочь и уходил к своей телеге, в которую запряжен был карий, почему-то всегда карий, и толстый конь. Очень добрый и мохноногий. Я ещё от деда знал,

что такие кони называются першеронами или тяжеловозами, и что у деда их было когда-то два десятка!

Иногда я успевал выбежать и дать коню сухарик, который он деликатно брал с ладони толстыми губами.

ОТ ДВУХ ДО ДЕСЯТИ

(1932—1940)

А. П. Пантелеев. Стихи. Ёлка и 1937 год. Немецкая «группа». Во второй класс. «Пугачёв». Гости. Люба — тогда и десять лет спустя... В. Каменский и «ядрённый лапоть». «Профессор Мамлок»

Лет за шесть до моего рождения мои родители поселились в Питере на Моховой 41 в квартире 35. Там жил давний отцовский знакомый по Ростову актёр и режиссёр киностудии «Ленфильм» (тогда ещё «кинофабрики Совкино»), бывший граф, а затем «герой труда», Александр Петрович Пантелеев¹¹, сын казачьего атамана низовой станицы Елизаветинской и отец впоследствии прославившегося адмирала Юрия Пантелеева, команданта Кронштадта, командовавшего в блокаду всей морской обороной Ленинграда.

В двадцатых годах в Питере очень активно «уплотняли», и Александр Петрович, не дожидаясь, чтобы в его «буржуйскую» почти двухсотметровую квартиру ему подселили кого попало, пригласил своего давнего знакомца Павла Бетаки поселиться у него. Отец тогда уже работал художником на той же самой кинофабрике «Совкино», он только что женился на моей будущей матери, и жить им было негде.

Пантелеев отдал родителям две комнаты из четырех, разместившись в оставшихся двух с женой Анной Алексеевной, домработницей Таней и котом Маркизом. У Тани, впрочем, была

¹¹ Александр Петрович Пантелеев (1874—1948). Киноактёр и режиссёр-постановщик фильмов: «Уплотнение» (по сценарию А. Луначарского — один из первых художественных фильмов советского периода), «Чудотворец», «Отец Серафим», После 1926 года, в эпоху звукового кино, работал, в основном как актёр. Одна из последних его ролей — кузнец Архип в немом фильме «Дубровский».

собственная каморка около кухни, а в распоряжении Маркиза была вся громадная квартира. Анна Алексеевна была в юности актрисой все на той же кинофабрике, а про Таню знаю только, что была она молода и родом из какой-то новгородской деревни.

Квартира и в самом деле была огромная, наши самые небольшие комнаты были одна 30, а другая почти 20 квадратных метров, а пантелеевские, каждая в три окна, были метров по пятьдесят и расположены анфиладой. К тому же одна из их комнат имела балкон, единственный во всем доме. В общем, мне в этой квартире было весьма вольготно бегать повсюду с собакой. Иногда коммуналки бывали и такие.

Пантелеев с отцом сняли фильм «Уплотнение» о коммуналах первого периода Советской власти. Фильм этот (по сценарию Луначарского) пользовался тогда большим успехом у зрителей.

Кстати, отец прочел в какой-то книге, что в пушкинские времена наша квартира была салоном дочери Кутузова, Хитрово, у которой нередко бывал в гостях А. С. Пушкин. (Как известно, Хитрово была в течение многих лет безнадежно влюблена в поэта). Ей тогда и принадлежал весь этот трехэтажный дом постройки середины XVIII века.

Отец и дядя Саша Пантелеев мною много занимались. Как минимум два-три раза в месяц я ходил с кем-то из них в какой-нибудь музей. Чаще всего в Русский, до которого с Моховой пять минут пешком, или — реже — в Эрмитаж, а иногда и в другие музеи. Они терпеливо отвечали на мои дурацкие вопросы, много рассказывали. У обоих были немалые библиотеки. Так и шла жизнь до моих одиннадцати лет. До войны. Летом мы иногда недели по две жили в Павловске по соседству со знаменитым иллюстратором детских книг художником Конашевичем.

У Пантелеевых, хоть это и было в те годы запрещено, под Новый Год всегда ставилась ёлка, и меня непременно звали ее украшать. Анна Алексеевна знала, как я ждал этого дня. Она была очень добрая, знала множество сказок, зябко куталась в белую шаль, и серый пушистый Маркиз был её котом. А в 1936 году она простудилась и умерла от плеврита.

К 1936 году ёлки официально разрешили, и мы тоже стали ставить ёлку. Праздник родители устраивали на широкую

ногу — приходила куча ребятишек со двора и дети родительских знакомых. Александр Петрович наряжался дедом-морозом. Ему не нужна была ни вата, ни парик, так как у него были седые длинные и густые волосы. Только вот бороду ему отец приносил с киностудии. Огромный рост и мхатовский бас дополняли картину. Весьма внушительный был Дед Мороз. И видно сразу — очень добрый. Только никогда не улыбался. Я за все годы, что знал его, ни одной улыбки не видел.



Я в карнавальном римском шлеме. 1940.

Однажды (заканчивался то ли 36 год, то ли все-таки уже 37?) поставили ёлку; все приглашенные собрались, кроме одного, корейского мальчика Ралика. Ралик был на год меня моложе и жил со своими родителями через площадку от нас. Мне не хотелось начинать без него праздник, а он почему-то опаздывал. Я попросил маму позвонить в их квартиру и поторопить, но она

сначала как-то невнятно отказывалась, а потом вышла и тут же вернулась в комнату, сказав, что Ралик и его родители уехали к кому-то в гости. Я почувствовал себя обиженным: уехать и мне ничего не сказать — как же так?

Одновременно я заподозрил маму в каком-то вранье: не могла же она за те несколько секунд, что ее не было в комнате, успеть позвонить в квартиру через площадку, поговорить с кем-то из соседей и узнать о том, что Цои уехали. Я ничего не сказал, стыдно было при гостях. Но настроение было испорчено.

А назавтра мама мне объяснила, что родителей Ралика арестовали: пришли красноармейцы с винтовками и их увели, а Ралика «отправили в приют или в детскую колонию». Мне было велено никому об этом не говорить, «делай вид, что ничего не знаешь».

В тот же вечер отец сказал мне: «Вот пойдёшь в школу, так не спорь, какие бы глупости не услышал о всяких шпионах и вредителях. Делай вид, что веришь, и помалкивай. Довольно тебе знать, что они не шпионы и не вредители, а чаще всего люди хорошие, ну, а за что их арестовывают, поймёшь, когда постарше станешь. Сейчас главное, знай, что всё это несправедливо, но виду не подавай, что знаешь. А то нам всем будет плохо».

С тех пор мне иногда снилась эта колония, в которой ребяташек, наверное, секут каждый день ремнями за то, что их родители арестованы. После таких снов я чувствовал себя особенно счастливым, остро ощущая, что я не в страшной колонии, а дома и в «немецкой группе». «Немецкую группу» я посещал лет с четырёх и до самой школы, вместо детского сада.

Но и во дворе болтался немало, особенно по выходным. Я там, сам не знаю почему, был одним из паханов среди «мелкоты». Может быть играл роль мой тогдашний высокий детский рост (у меня была кличка «длинный», в которую самому сейчас трудно поверить!), то ли оттого, что отец не только никогда не запрещал мне драться с мальчишками, а обучал всяким приёмам и говорил всегда: «сдачи надо давать вдвое, а жаловаться и плакать — подло». Я эту науку усвоил настолько, что только уже повзрослев, понял, насколько во время войны, в детдомах, я «превышал пределы необходимой самообороны»...

До войны в Питере было немало петербургских немцев, и многие немецкие дамы «из бывших» держали группы из шести-

семи дошкольников. Всё воспитание у них основывалось на играх, хороводах, и тому подобных развлечениях. И поскольку весь день мы говорили между собой и с Ольгой Рихардовной только по-немецки, то уже через год все шестеро говорили на этом языке не хуже, чем по-русски. Разумеется, в возрастных пределах.

Я ходил в группу Ольги Рихардовны Гинкен, жены профессора Химико-технологического института. В эту же группу ходил мой приятель и когда-тошний «соколясочник» Юра Тумаркин. С нами была неразлучна младшая дочь Гинкенов, наша ровесница, а старшая их дочка ходила в то время уже в третий класс.

По утрам Ольга Рихардовна, всегда накрашенная и в синем пальто, обходила всех своих учеников, забирала их из дому, и мы шли гулять то в Летний, то в Михайловский сад. Потом шли к ней домой на Басков переулок и там «занимались», то есть играли в разные игры, а часов в шесть вечера она разводила всех нас по домам.

После войны я пытался разыскать семейство Гинкенов, но узнал только, что их, как и всех петербургских немцев, выслали (точнее депортировали) куда-то в казахские степи... След так и потерялся.

Года в три я получил от отца медные буквы, из тех, что служили тогда на Ленфильме для набора титров. Буквы были тяжёлые, и я выкладывал из них какие-то узоры. Так «случайно» и научился читать. Кубиков с азбукой тогда не делали, как я потом узнал, оттого, что педологи, властвовавшие до середины тридцатых годов в образовании, считали, что преждевременное обучение чтению вредно. Но так или иначе, годам к пяти все дети из интеллигентских семей читать уже умели.

У нас на полках стояли и Всемирная история искусств, и много томов Майн-Рида, и Жюль Верн, и мифы в пересказах Куна, и всякое ещё. А у дяди Саши — Вальтер Скотт, Густав Эмар, Сельма Лагерлеф («Путешествие Нильса с дикими гусями и другие повести»). Всё это было в старинных изданиях с «ятями» и «ерами».

Года в три с чем-то пришли стихи. Это было одно из величайших удивлений. Отец вообще мне много читал вслух, но только пока я сам не научился читать по слогам. Первое что из

стихов засело во мне навсегда была баллада Жуковского «Роланд оруженосец». Когда рыцарь Милон видит вдруг в своём щите великий талисман короля Артура, который и разыскивали все 12 рыцарей Карла Великого, он спрашивает своего сына и оруженосца Роланда:

«Где это взял ты, молодец?»
Роланд в ответ: «Прости, отец:
Тебя будить я побоялся
И с великаном сам подрался».

Эти строки, удивившие меня сразу и увлекательностью истории, и авантюризмом и неповторимым юмором, определили не только моё отношение к стихам вообще, но и всё моё отношение к внешнему миру.....

Когда мне было без месяца восемь лет, меня привели в школу. Завуч начальных классов, длиннющая немолодая дама, с очками на длинном шнурке, но почему-то одетая в какую-то матроску, сказала, что раз мне не исполнилось восьми лет, то надо придти на следующий год. Мама робко заявила, что до восьми мне остался один месяц и что я уже с четырёх лет хорошо читаю. Пока они препирались, я без разрешения взял из шкафа какую-то книгу, раскрыл где попало и стал громко читать. Через один абзац дама с ужасом на лице меня остановила. Как оказалось, книга, которую я взял с полки, была каким-то томом сочинений писателя с почти конфетной фамилией Мопассан.

Так что в первый класс меня взяли. Через неделю я там ужасно соскучился и, привыкший дома своевольничать, начал на уроках читать под партой, краем одного уха слушая, что делается в классе. «Айвенго» был существенно интереснее букваря.

Однажды наша учительница, пожилая, зябкая и на вид очень сердитая, поймала меня за этим чтением, отняла книгу и с криком выгнала из класса, велев прийти с родителями. Я вышел, дождался перемены, и спокойно отправился во второй класс Б, в котором учился кто-то из моих дворовых приятелей. Я самочинно сел за крайнюю парту и стал ждать, что будет. Тамошняя учительница, молодая и коротко стриженная, заговорила со мной только в конце урока. Она не кричала, не ругалась, просто спросила, кто я такой. Я заявил, что мне нечего делать в скучном первом, и что я останусь тут, во втором Б.

На перемене эта учительница предложила мне прочесть полстраницы какого-то текста, поболтала со мной о том о сём, проверила устный счёт и пообещала сказать завучу, что она согласна взять меня к себе. Так я и оказался за две шестидневки до моего восьмилетия аж во втором классе.

К счастью, педологи к тому времени уже перестали хозяйничать в школах, и никто не возражал против того, чтобы держать меня в классе, который был мне «не по возрасту».

Лет с четырех отец иногда брал меня с собой на съёмки и просто так на Ленфильм¹². В 1934 году мы всей семьёй провели два месяца в Одессе на съемках фильма «Королевские матросы», Жили на набережной в гостинице «Лондонская» и я даже снялся в эпизоде: перебежал с мамой улицу прямо перед толпой (или строем?) матросов.

На студии я, в общем, вёл себя довольно сносно, к тому же там мною много занималась актриса Тамара Макарова¹³, очень весёлая, даже озорная, и сказочница, да и сама казалась она мне царевной из пушкинских сказок. Как я понимаю, ей было тогда немногим больше двадцати, но для меня, примерно пятилетнего, все, кто не дети, были «большие». Позднее я узнал, что именно папа и привёл на студию Тамару, свою тогдашнюю подругу, совсем юную, ставшую вскоре знаменитой актрисой Тамарой Макаровой. Позже я не раз пересматривал лермонтовский «Маскарад» с нею в роли Нины.

Иногда режиссёр И. М. Менакер приводил с собой на студию своего сына Лёню (он потом тоже стал кинорежиссёром и в шестидесятых годах поставил нашумевший фильм «Не забудь, станция Луговая»).

А тогда мы с Лёней забирались в столярные мастерские и с удовольствием «помогали» (то есть основательно мешали) сто-

¹² Как художник-постановщик, он участвовал более чем в тридцати фильмах. Помню из них только некоторые: немые фильмы «Чёрная пыль или Блестящая карьера», «Лунный камень», «Катюка-Бумажный ранет», «Зелим-хан», «Бунт машин», «Город в степи», «Закройщик из Торжка», и звуковые: «Королевские матросы», «Пугачёв», «Большие крылья», «Гость», «Профессор Мамлок», «Киноконцерт». Эскизы декораций к этим фильмам висели у нас на стенах.

¹³ Наиболее известные фильмы с её участием: «Учитель», «Каменный цветок» и «Маскарад».

лярам, делавшим декорации для очередного фильма. Незаметно научился я у них и столярничать.

Однажды по моей вине оператор Назаров загубил немалое количество плёнки, в те времена довольно дефицитной. В посёлке Южки, в пограничной полосе, шли натурные съёмки фильма «Пугачёв», во время которых отец заменял долго болевшего художника Хигера. Среди низких холмов была построена Белогорская крепость, а метрах в двухстах от крепости ждала запряженная тройкой синяя плюшевая кибитка. (Впрочем, цвет тут решительно ни при чём. Фильмы ведь все ещё были чёрно-белые).

Я болтался по поляне без дела, потом подошел к лошадям и стал кормить их яблоком. И тут вдруг мне ужасно захотелось прокатиться. Я ведь уже давно, с самого лета, не общался с лошадьми. В общем, я устроился на облучке кибитки и погнал, естественно, в сторону крепости. Лихо влетел в ворота, подняв при развороте снежную пыль, остановил лошадей и стал разламывать для них второе яблоко. Тут с не очень цензурными но уже понятными мне криками подбежали отец, Назаров и ещё человека три.

Оказалось, что увидев несущуюся тройку, Назаров машинально завертел ручку съёмочного аппарата (тогда ещё ни моторов на аппаратах, ни команды «мотор» в природе не существовало). Таким образом, он заснял весь мой эскапад, а по сценарию тройка должна была подъезжать к крепости шагом. Но главное, едва ли я мог бы сойти за ямщика...

* * *

Еще одной детской радостью были гости. Очень многие из родительских друзей были мне интересны. И приход таких вот «любимых гостей» был праздником. Самым большим уважением у меня пользовались редко приезжавшие из Киева Довженки и Пантелеи Попов — отцовский одноклассник ещё по ростовской гимназии, а теперь актёр в БДТ, игравший профессора Полежаева в знаменитом тогда спектакле по пьесе Л. Рахманова «Беспокойная старость». Когда приходил дядя Паня, меня посылали с двухлитровым бидончиком на угол Моховой и Симеоновской (Белинского) за пивом. Больше никто из родительских

друзей пива не пил. Предпочитали Саперави, которое каждый сам себе наливал из бочонка с краном, всегда стоявшего на высоком столике в углу. Саперави присылали или привозили отцовские приятели, заботливые тифлиские киношники. Даже мне лет с шести перепало — разрешалось выпить рюмку другую.

Лет через двадцать режиссёр Я. Б. Фрид, хорошо знавший отца, утверждал что мне повезло, и я вообще не пьянею именно благодаря Саперави, с детства вошедшего в мой повседневный рацион. И вообще «этого шпанёнка, возможно, именно вино спасло от участи вундеркинда».

Иногда бывал у нас И. Л. Андроников, тогда ещё работавший в «Детиздате». Он был молод и шумен, вечно рассказывал что-нибудь интересное¹⁴. Приходила Тамара Макарова, которая стала бывать у нас особенно часто, когда мне было уже лет восемь. Она приходила с мужем, строгим и, по-моему, очень скучным человеком¹⁵. Бывал и мамин кузен «дядя Сёма» (С. Я. Маршак). Он всегда приносил мне всякие книжки. А ещё иногда приезжал из Павловска загадочный и старый, на мой тогдашний взгляд, художник Конашевич, друг Пантелеева и папин давний знакомый. Его я держал за колдуна и очень любил его сказочные и смешные картинки в разных детских книжках, которые он тоже мне дарил. Иногда они с Маршаком дарили мне одни и те же книжки, и мне приходилось передаривать дубли прямо с дарственными надписями своим приятелям.

Неподалеку от нас на той же Моховой жил художник Петров-Водкин. У него в мастерской очень долго стояла огромная картина «Купанье красного коня». Я прятался за ней от его весёлой рыжей собаки. В конце концов собака меня все же находила, и тогда я давал ей печенье. В живописи я, прямо скажем, тогда ни черта не понимал. Самого же художника я побаивался: он был мрачен, строг, бритоголов, и с отцом они разговаривали всегда о чём-то вовсе мне непонятном, и всегда очень серьёзно...

Иногда приезжала из Москвы сестра отца тётя Лида, молодая, высокая и очень-очень красивая с пронзительным чёрным взглядом. Она обычно приезжала с мужем, фоторепортёром

¹⁴ Тогда он ещё просто рассказывал, это позднее Андроников прославился «устными рассказами».

¹⁵ Режиссёр Герасимов.

Вл. Шаховским, который у нас за столом постоянно доказывал, что развитие фотографии скоро покончит с живописью.

Изредка бывала у нас подружка папиной первой жены, оперная певица Любовь Александровна Дельмас-Андреева, невысокая, очень круглая и рыжая хохотушка, которая когда-то, как я много позднее узнал, «вдохновила А. А. Блока на цикл стихов «Кармен»...

Потом, уже в послевоенные годы (тогда женщин в городе было пожалуй вдвое больше, чем мужчин!), я случайно где-то встретил её. С полчаса мы поболтали в Летнем саду, и она, явно заметив мои несытые взгляды, пригласила заходить. Я зашёл на следующий же вечер. Она встала с дивана, поцеловала меня как в детстве... Но тут халат её (случайно ли?) распахнулся... Заметив это, я тут же продлил вполне невинный поцелуй до... «Догадливый ведь ты!» — шепнула она и сама стала быстро меня раздевать... Как потом читатели увидят, она была у меня далеко не первая женщина, хотя было мне около семнадцати.

Да, больше года я был в неё влюблён. Она была всегда весёлая, юношески порывистая, и это так не шло к её комплекции и возрасту! Но она по её словам «и на пороге старости любила всё только солнечное». Ей тогда было уже точно за шестьдесят, но это ни ей ни мне не мешало... Она не раз что-то говорила о «жено-материнской привязанности» и... ничего больше не запомнилось, о чём ещё она щебетала. Я как-то не замечал этих «влюбчивых» (от слова Люба») речей потому что вовсе не ими была она для меня привлекательна... Интересно, что морщины были у неё только на лице. Видимо, сильно располневшая, как почти все певицы, с годами переставшие петь, она была немислимо гладкая, казалось, что холёная ароматная кожа на всём её сочном теле предельно натянута...

Но вернёмся в детство.

Самым большим из этих «гостевых» праздников был приезд из Перми «дяди тёзки», так я звал поэта-футуриста и авиатора Василия Каменского. Его рассказы о первых самолётах, специально для меня «адаптированные», были ужасно увлекательны, но больше всего я ждал, когда после ужина все перейдут в огромную гостиную Пантелеевых, и «дядя тёзка» начнёт читать стихи, очень ритмично, даже напевно, и вдруг заревёт уже со-

всем непонятные слова: «Сарынь на кичку! Кистень за пояс!.. Ядрёный лапоть/ пошел шататься по берегам!»

И хотя потом Каменский рассказывал мне, кто такой Стенька Разин, и объяснял все непонятные слова, воображение упрямо представляло эту «кичку» — курицей, на которую падает какая-то тряпка под названием «сарынь». А в лапте, конечно же, лежит пушечное ядро, вроде тех, что я видел около старинных пушек в морском музее, иначе отчего ему, лаптю, быть «ядрёным»?



Съёмочная группа фильма «Профессор Мамлок». Второй слева с белой фуражкой в руке в первом ряду художник П. В. Бетаки, третий слева во втором ряду режиссёр Герберт Рапопорт.

Много внимания мне уделял заходивший к нам очень часто бывший берлинский кинорежиссер Герберт Рапопорт, папин приятель, антифашист, немецкий еврей, бежавший в 1934 году из Германии и говоривший по-русски всё ещё плохо. Ему нравилось со мной разговаривать, ведь по-немецки я тогда говорил хоть и на детском уровне, но вполне прилично. А когда он с родителями, поблескивая толстыми очками, разговаривал по-французски, я не понимал ни слова. Родители имели обыкновение пользоваться французским, когда говорили о чём-то, чего мне знать не полагалось, ну и ещё в разговорах с Рапопортом, потому что немецкий мама знала плохо, а папа и вовсе не знал.

Несколько позже Рапопорт вместе с питерским режиссёром А. Минкиным сняли ставший за несколько дней знамени-

тым антифашистский фильм «Профессор Мамлок». Мой отец был художником этого фильма.

«Профессор Мамлок» вышел на экраны в 38 году, получил какую-то очень важную и большую премию, а спустя полгода после этого был снят с экранов и запрещён. Наступил короткий период дружбы Сталина с Гитлером. Премию, однако, не отобрали, и это уже было хорошо, как иронизировал отец.

ВОЙНА (1941—1943)

Блокада. Крыса подана! «Березарк» в детдоме. Белбаши.

Как я воевал. Москва. Ростов.

Что случилось в оккупированном городе

Эту главу мне почему-то хочется оставить в самом конспективном виде. Подробности вроде бы сами от меня отталкиваются...

Было вот как: отец пошел в военкомат, хотел записаться добровольцем в армию, даже показал какое-то офицерское кавалерийское удостоверение, но его по возрасту (53 года) и ещё по каким-то медицинским причинам отправили домой, приказав готовиться к эвакуации, напомнив, что «важнейшее из всех искусств — кино». А на удостоверение даже и не глянули.

Дома Пантелеев долго изумлялся, как это отца, показавшего в военкомате бумаги белого корнета, тут же не арестовали! Но отец резонно заметил, что бывших белых в Красной Армии пруд пруди, и что во время сталинского разгрома армии ликвидировали множество красных командиров и комиссаров, а из бывших белых, как ни странно, мало кого тронули...

...Первый эшелон с эвакуированными лентфильмовцами ушел в Алма-Ату в конце августа. А мы, назначенные к отъезду во второй эшелон, на седьмое сентября, отвезли багаж на московскую товарную четвёртого. Но шестого сентября замкнулась блокада, и нам предложили забрать багаж обратно.

Через два-три дня была первая бомбёжка города. После нее сразу же сгорели Бадаевские склады, где «погибли продукты

питания в количестве 80% годового запаса», как сообщалось в какой-то газете. Говорили, что коричневые ручьи горящего сахара растекались по соседним улицам... Наступал голод. В городе скопилось более четырёх миллионов человек (вместо, кажется, двух с половиной довоенного населения).

Обо всём этом подробно говорилось в разных книгах тысячи раз. Я просто постараюсь рассказать про то, что увидел я, одиннадцатилетний мальчишка. Хотя слово увидел, пожалуй, не подходит — ничего я не видел.

Блокада для меня слилась как бы в один день: так монотонно, что даже не было страшно.

22 января 1942 года отец умер в больнице, куда его отвезла на моих детских саночках Таня, пантелеевская домработница. В конце марта к нам пришёл какой-то врач — майор, прилетевший на один день из Вологды в Ленинград, и принёс нам от маминого племянника, военного врача Володи Витовецкого, кило колбасы. Потом оказалось, что Витовецкий просил его прихватить нас с мамой в Вологду на своём самолётике. Он не сделал этого, видимо, потому, что увидел: мама уже не встанет с постели. А мне кажется, что если бы он всё-таки взял нас, то она, может быть, и выжила бы. Ну, а если даже и нет? Хуже бы не было никому...

После того как отца не стало, я начал охотиться на крыс, которых в доме было множество. Я пилил и колол на дровишки нашу старинную дубовую мебель, засовывал в железную «буржуйку» эти мебельные обломки вместе с книгами и жарил крыс.

Сначала я пробовал стрелять крыс из лука, но ничего, кроме короткого писка, не происходило: стрелы мои были, видимо, тупые.

Тогда я взял молоток на длинной ручке и уселся на корточках у норы. Это было куда эффективнее, я стал добывать по пять-шесть крыс в день. Но я никак не мог заставить маму есть это мясо. А я, хотя и был всё равно голодный, но не бесповоротно голодал, как моя упрямая мама и, главное, не слабел. Крысы были жирные и большие. Чем они питались, я старался не думать... «Выжить — вот всё, что нам надо» — повторял я маме. Она кивала, но когда я обдирал и жарил крыс, отворачивалась, а то и в коридор выходила...

На человека в те месяцы, всю первую зиму блокады, выдавали 125 граммов хлеба в день, и более ничего. Не знаю, кто как жил, я не выходил из дома, кроме как вниз, в булочную, где, простояв с полчаса, получал на нас двоих 250 граммов хлеба.

Несколько раз я видел, как на улице люди падали и больше не вставали... Да ещё холода... хотя сорокаградусных февральских морозов уже не было, но температура четыре-пять градусов ниже нуля протянулась, кажется, до середины апреля...

Еще я ходил с ведром на Фонтанку с Моховой, через дворы. Там, в проруби, набирал полведра и минут через сорок медленно возвращался с водой. Хорошо, что я был не по возрасту силён, а этаж был второй!

Я ел крыс, а маме отдавал всю эту нашу жалкую пайку хлеба, мокрого и кислого. Не помогло, конечно. 6 апреля она, прохрипев часа полтора, больше не двигалась. Я сел в кресло и так, не шевельнувшись, сидел. К вечеру меня в этом неподвижном состоянии обнаружила Таня. А двумя часами позже в комнату вошёл вызванный ею по телефону из Кронштадта старик Пантелеев. Его сын, адмирал Юрий Пантелеев, командующий морской обороной Ленинграда и начальник штаба Балтфлота, с декабря держал отца при себе в Кронштадте. Но моряки иногда привозили старика на пару часов домой, в квартиру, где кроме нас, оставалась только Таня. Это случалось примерно раз в две недели.

Александр Петрович поговорил с провожавшими его моряками, они вызвали по телефону матросов-санитаров, и те увезли труп.

Меня он увёл в свою гостиную, Таня дала мне чаю с сухарями, а он начал куда-то названивать: то в Кронштадт, то в какие-то учреждения. В общем, он договорился с каким-то детдомом, чтобы меня туда немедленно взяли. И Таня повезла меня на тех же моих саночках через полгорода куда-то на Галерную. Вечером из-за цинги меня оттуда «переместили» в какую-то ближнюю к детдому больницу где-то около синагоги. Поедая крыс, я порой пил свежую кровь, и цинга была у меня куда менее страшная, чем у многих других детей, голодавших в блокаде. Так что меня уже через пару недель отвели обратно в детдом.

Ребятам в детдоме было от восьми до четырнадцати лет. Процветало то, что много позднее, в конце века, на армейском жаргоне назвали «дедовщиной».

По ночам я часто думал об этом жутком обычае и благословлял отца, научившего меня крепко и безоглядно драться. И не просто драться: он научил меня «восточным приёмам драки», которым уж не знаю откуда сам научился (много лет спустя я понял, что это была какая-то дилетантская смесь каратэ с йогой и чем-то китайским). Я не выглядел мощным парнем, наоборот. Узкие плечи и отсутствие видимых мускулов располагали старших к беззаботной агрессивности, и вдруг... Это «вдруг» и было моим главным стратегическим преимуществом.

Я почти точно исполнял отцовский урок: «в ответ на любое нападение давать сдачи вдвойне, а то и втройне, чтоб боялись, но самому первым — никогда!». Только во мне в «справедливых боях» просыпалась такая злоба и ярость, что я превышал необходимую оборону не то что в три, а уж не знаю во сколько раз. Я белел и ничего и никого, кроме противника не видел. Жестокости тут не было предела, и помноженная на уменьше, она...

Так что воспитатели не раз и вполне справедливо запирали меня в директорском кабинете через полчаса после очередного моего «наказания сволочей». Раньше, чем через полчаса они почему-то сами боялись ко мне подойти, хотя я успокаивался мгновенно, сразу после того, как мой «враг» оказывался на спине. Когда он вставал, я не держал на него больше никакого зла. Какой-то инстинкт к счастью все-таки всегда удерживал меня на краю, и никто из побитых всерьёз не пострадал. Я получил справедливую кличку «бешеный». Но донкихотствовать продолжал. Я ведь дрался не только за себя, но за всех маленьких и обиженных.

Много лет спустя, уже вполне взрослым, я прочёл где-то об итальянских «берсальеро», литовских «березарках» и о «буй турах» русского раннего средневековья. Это всё были люди, входившие в бою в дикую ярость, которая непонятно как увеличивала их силы и обостряла реакции. Из них некогда создавали целые отряды. Я тогда подумал, что, наверно, во мне что-то такое унаследованное есть, и что все это не легенда.

То, что я испытывал не было слепой яростью: разум работал нормально, только все чувства обострялись, всё происходило в

ускоренном режиме. А как только проходила нужда, как только заканчивалась мобилизовавшая все силы экстремальная ситуация, я тут же и успокаивался. Потом — усталость и только.

Меня наказывали, оставляли без обеда, потом показали какому-то пожилому врачу. Тот долго меня выстукивал и осматривал, стучал по коленке, а она только едва подёргивалась. Доктор пожал плечами и сказал, что я «абсолютно здоров и нормален, просто хулиган». Но выслушал он меня терпеливо. Я же долго доказывал и доктору, и директору, что хулиган ведь не я, одиннадцатилетний, а скорее тот четырнадцатилетний подросток, который требовал от меня и от других младших по полпайки хлеба. Я пытался объяснить, что мне просто удалось «обезопасить» этого вымогателя... Тем не менее, в характеристике в журнале» меня назвали «невыдержанным и безответственным хулиганом».

Лет через тридцать — ударила молнией песня Галича «Левый марш»:

По детдомам, как по штрафбатам —
Что ни сделаем — всё вина!
Под запрятанным шла штандартом
Необъявленная война!

Наши малые войны были
Рукопашными зла и чести,
В том проклятом военном быте,
О котором не скажешь в песне.

И не странно ли, братья серые,
Что по-волчьи мы налету
Рвали горло за милосердие,
Били морду за доброту!..

Но и за дело тоже. Нет, Александр Аркадьевич. Чаще — за дело. Как-то ночью мальчишки попытались засунуть мне куски газеты между пальцами ног и поджечь, (это у них, ребят из рабочих районов города, именовалось «велосипедик устроить»). Было их двое — один мой ровесник, а один из старшей группы. Я проснулся от чирканья спички, и в результате старшего увезли в бессознательном состоянии в больницу, правда всего до завтра, а второй смылся. Но впечатление это произвело: появи-

лись и скорая, и санитары, и даже милиционер, который, по моему, сам не знал, зачем его позвали...

Зато больше меня никто не трогал, и воспитатели решили, что я «исправился», поскольку драк с моим участием практически не было до самого дня эвакуации.

Какого-то августа 1942 года нас отвели на Финляндский вокзал и посадили в вагоны. Кто-то из старших позанимал лучшие места у окон, я же считал, что к окнам надо посадить малышей, и какого-то старшего за шиворот вытряхнул с места. Он полез драться, в результате был тут же отправлен (всего-то с кровью из горла!) в медпункт поезда. Меня грозились запереть у проводника, но тут поезд загудел и мы поехали.

В Борисовой Гриве нас всех перегрузили на две моторные шхуны. Они тут же отчалили и ушли в Ладогу.

Зимой здесь по льду тянулась знаменитая «Дорога жизни», которую нещадно бомбили, а летом, тоже под бомбами, капитаны умудрялись перевозить через озеро туда — людей, обратно — продукты, но только для перенаселённого города была это капля в море...

(Впрочем, как потом стало известно, блокада не мешала Жданову и всей партийной верхушке в Смольном угощаться икрой, клубникой в сметане и винами).

Дважды за время ночного переезда выли сирены, слышались недалёкие взрывы, и шхуна резко поворачивала с галса на галс.

В трюме, где мы сидели тесной кучей, кто-то из малышей нашел мешок картошки. Прорвав в нём дыру, восьмилетние несмышлёныши стали грызть эту сырую картошку. Я заорал: «бросьте, а то подохнете». Никакого результата. Пришлось с помощью четырех старших мальчиков и девочек, отшлёпав двоих или троих голодных, кусавшихся ребяташек, отнять у них мешок, положить в угол и заслонить спинами. Малыши поревели и замолкли. Назавтра только у одного болел живот.

...Поезд до Горького шел почти неделю. Больше стоял. В конце концов переехал Волгу и довёз нас до станции Керженец. Это был исторический староверский край (иногда ведь вообще староверов называли кержаками).

Нас повезли на телегах в деревню Белбаш, километров за тридцать от станции. Ехали по красивейшим полям, перелескам и пригоркам. Я вспомнил Некрасова: «В телеге еду по хол-

мам,/ порой для взора нет границ, /и всё поля по сторонам,/ и над полями стаи птиц...».

Возница объяснял нам, что деревня раньше называлась «не Белбаш, а Беглаш, потому что ещё при Иване Грозном сюда бежали за глухие леса староверы». Такая вот была «народная этимология». А деревня, как мы узнали, до революции считалась не деревней, а селом. Возница показал кнутом на церковь: «Вон, раз церковь есть, значит село, а не деревня».

Позже я узнал, что при Иване Четвёртом староверы вообще никуда не бегали, поскольку их вовсе не существовало, а бежали они в эти края уже при Алексее Михайловиче, от никоновской реформы, которая была через сто с лишним лет после царя Ивана. Анахронизмы такого рода, актуализирующие сюжет, нередки в русском фольклоре: ведь никак, к примеру, былинные «татаровья» не могли действовать во времена князя Владимира!

В Белбаше нас разместили в бревенчатых двухэтажных домах интерната местной школы.

Вот где я впервые узнал, что такое ходить за грибами! Суровый тощий старик, местная грибная знаменитость, ходил в лес с огромным г-образным плетёным коробом за плечами. Он брал нас с собой и учил всем грибным премудростям. Потом я почти всё позабыл и вспомнил кое-что только в середине пятидесятых, когда поехал работать учителем в школу на Беломорье.

Перед Новым годом наш детдом стали «разгружать» — около трети ребят (в основном таких, с которыми воспитателям было труднее) распахали по другим, стационарным, а не эвакуированным детдомам Горьковской области. Я с ещё пятью ребятами попал в Городец, красивый городок на высоком берегу Волги, знаменитый тем, что в нём когда-то помер Александр Невский. Ещё поговаривали, что когда-то назывался он «Малый Китеж».

Там в феврале я получил письмо от разыскавшего меня Пантелеева. В этом письме Александр Петрович сообщил мне почтовый адрес военной части, в которой служил мой двоюродный братец Володя Витовецкий. Эта военная часть была на самом деле санитарным поездом, курсировавшим между Вологдой и фронтом. Тут я могу отослать читателя к роману В. Пановой «Спутники», в котором то ли начальник, то ли главврач санитарного поезда, «военврач второго ранга» (то есть майор)

Витовецкий и описан (не помню уж под каким именем — а разыскивать и пересматривать Панову не хочется...). Знаю только, что знакомы они были еще с довоенных времён, когда Витовецкий лечил сына Пановой Борю¹⁶.

Через день после пантелеевского письма пришло письмо и от Володи Витовецкого, которому тот же Александр Петрович прислал мой адрес.

Из письма Витовецкого я узнал о гибели трех тёток Маркус в Ростове и дяди Изи в Париже.

* * *

В Городецкий детдом из Горького приехал майор в фуражке с малиновым околышем и лирами в петлицах. Он отобрал шестерых из старших ребят для «музыкантской команды».

Слуха у меня вообще не было и нет, медведь на ухе безусловно поплясал, но майор всё же взял меня из-за «удивительного чувства ритма», как он выразился. Нас увезли в Горький в какое-то «Военно-политическое училище», и мы учились там месяца полтора. Нас готовили, как «смену училищному оркестру». Меня обучили обращаться с барабанами, щётками и всякими «трэнзелями».

Потом нас (как нам сказали, «только на две недели») отправили в какой-то полк неподалеку от линии фронта. Нам пришлось там играть, поскольку с полковым оркестром «что-то случилось».

Однажды просыпаемся мы в деревне в своём сарае — а полк исчез. Из разговоров мужиков, которые взволнованными головами переговаривались рядом с нашим сараем, нам стало понятно, что подходят немцы, что наш полк отступил, и где он неизвестно, и что про нас просто забыли.

Мы все были в военной форме (целый оркестр из семнадцати человек, только без капельмейстера, ушедшего, видимо, вместе с полком), так что оставаться в деревне мы никак не хотели и со страху ушли в лес. Я бросил в сарае большой барабан, а медные трубы мы прикопали. Несколько дней мы всё выглядывали на дорогу, по которой то в одну сторону ехали грузовики с

¹⁶ Впоследствии известный переводчик-китаист и писатель Борис Вахтин.

одними солдатами, то в другую с другими, почему-то они никогда не встречались.

Ночами мы шарили по огородам, тем и жили. Кур воровать боялись, но яйца таскали. А костерок разжигали только днём. Так прошло с неделю. Как-то мы услышали стрельбу и крики, и в очередной раз выглянув на опушку, поняли, что немцы отступили.

И только через несколько дней, когда нас отправили в тыл в настоящем поезде с зелёными вагонами, шедшем через Москву в Горький, мы узнали, что едем «с Курской дуги», где оказывается прошли «невиданные дотолё танковые бои»...

Всех нас (а двое мальчишек за эти дни поседели) привезли в Горький в то же самое Училище, и тут же шестерых детдомовских вернули в Городец, предварительно прищипив каждому по медали «За отвагу». Мы без конца брякали этими медалями, пока директорша детдома, которой явно надоели эти шесть хвастунов, не отобрала наши медали и не засунула в свой письменный стол.

Так вот я и «повоевал». Но барабанить научился неплохо, и мне это потом пригодилось. Уже в Ленинграде, будучи студентом, я неплохо зарабатывал, играя в джаз-квартете.

* * *

Прошло лето 1943 года. А как только по радио и в газетах сообщили, что Ростов освобождён, я написал письмо «на деревню бабушке». Кроме неё и тетки Муры с семейством, у меня в Ростове больше никого не осталось.

В октябре по письму бабушки к директорше детдома, меня отпустили в Ростов. Отвезли на вокзал в Горький и посадили на поезд, идущий до Москвы, о чем дирекция дала телеграмму Пантелееву. Пантелеев жил в это время в Москве, так как его сына, адмирала, перевели из Кронштадта в Москву и назначили незадолго до Сталинградской битвы главнокомандующим Волжской флотилией.

Я пришел к Пантелеевым прямо с вокзала и по настоянию Александра Петровича прогостил у них неделю. За эту неделю Александр Петрович успел мне показать всю Москву: мы ездили с ним то на метро, то на открытой адмиральской машине с

настоящим матросом за рулём... Он же и на вокзал меня проводил, наказав передать привет бабушке, с которой был знаком уже добрых полвека.

В Ростове, сойдя с поезда, я через десять минут был в «родовом гнезде». Сначала я, правда, никак не мог найти, поскольку от огромных деревянных с навесом ворот не осталось и следа. И уже потом я увидел в глубине двора наш дом.

Бабушка Анна Павловна жила теперь не у себя наверху, а внизу, в квартире у тётки Муры. В бабушкиной комнате наверху поселилась дальняя свойственница деда, доктор Петрова, до войны жившая в деревянном «домике экономки» у ворот, который вместе с воротами пошёл на дрова. Так что в трех комнатах умещались теперь тётя Мура и дядя Миша со старшей дочерью Витей и её семилетним сыном, да ещё бабушка.

Только через год Петрова получила где-то комнату, и бабушка смогла перебраться к себе на второй этаж. Там она чувствовала себя спокойно и почти всегда была всем и всеми довольна, что бы ни происходило в доме и в мире.

Но пока что мне и думать было нечего о том, чтобы поселиться в этой квартирке! Тем более, что работала из всей семьи одна Витя, ей, архитектору, дела в конце войны находилось больше, чем она могла справиться. Бабушка получала маленькую пенсию, тётка чуть больше, за погибшего на фронте сына, старшего лейтенанта, а дядя Миша, охотинспектор, получил работу только следующей весной, а до того сидел и читал...

Так что существование было, конечно, не на блокадном уровне, но все же полуголодное. Дня три я на всё это посмотрел и, ничего никому не сказав, пошел в Гороно, изложил ситуацию, показал документы из городецкого детдома и попросился в какой-нибудь местный.

Через час инспектор по детдомам сказал, что отправляет меня «к Анне Арамовне, у неё там старших мало, вот и доукомплектуем». Мне тогда исполнилось уже тринадцать лет, и я вошел в ранг «старшего» месяца два тому назад. Я всё ещё оставался «длинным», хотя по каким-то анализам, которые проделал доктор, приходивший раз в неделю в детдом, получалось, что после блокады я, вроде бы, почти перестал расти.

Я соврал, что окончил шесть классов и таким образом угодил после деревенского пятого в городской седьмой класс.

В этой школе были классы и на русском, и на украинском языке, и я, не знаю уж почему, попросился в украинский класс. Поначалу было очень трудно, к тому же в том учебном году всем оканчивающим семилетку вдруг по новому порядку пришлось сдавать не то десять, не то двенадцать экзаменов. Шёл слух, что на следующий учебный год даже введут форму, и всё будет, как в дореволюционных гимназиях.

А Чурилин, мой приятель и одноклассник, сказал, что «может, не только гимназии будут, но и царя нам скоро назначат». За такие речи его всего лишь вызвали к директору школы и подвергли длинной беседе. Пока не больше, и то хорошо.

К Новому году в Ростов вернулся из эвакуации, из Новосибирска, дядя Лёва. Поселился он в двух крохотных комнатках своей бывшей квартиры. Хорошо, что одна из них была его учебным кабинетом, даже и кресло уцелело, и эмалированная табличка у парадной. Он смог сразу снова приняться за частную практику, а работы ему, кожнику-венерологу, было видимо не видимо в конце войны...

От него и его жены тети Оли я подробнее узнал, как погибли три тётки. Когда немцы оккупировали город в первый раз, они все вместе впятером пешком ушли через батайские болота, но как только город перешел в руки Красной Армии, три сестры вернулись домой, хотя дядя Лёва уговаривал их не делать этого, и сам в Ростов возвращаться не стал, а поехал в Новосибирск.

Он оказался совершенно прав: очень скоро Ростов был снова оставлен. Многим людям еврейского, да и цыганского происхождения, которых в Ростове всегда было немало, пришлось вторично пешком бежать из города.

За то недолгое время, что город был в советских руках, в «Институт материнства и младенчества», где работала младшая из моих тёток, Лиза, гинеколог, попала бомба. Тётя Лиза была ранена, её с трудом доставили домой, и в результате все три сестры не смогли уйти из оккупированного города.

Когда старшая дочь тетки Муры Витя прибежала к ним и предложила перебраться на Пушкинскую, чтобы там как-то спрятаться, «уж русское дворянское гнездо на еврейскую тему вне подозрений!», то старшая из сестёр, Ирина, просто показала на соседнюю комнату, где лежала раненая Лиза. Она то теря-

да сознание, то ненадолго приходила в себя, и перетаскивать её через полгорода было невозможно: транспорта не было никакого, да и по дороге на Пушкинскую тяжело раненная могла умереть. «Поэтому — сказала старшая тетка — и речи не может быть о том, чтобы на Пушкинскую»...

К тому же в дедовском доме, в квартире эвакуированной генеральской дочки Маши Севостьяновой, поселился немецкий полковник. Витя сказала, что этот полковник не опасен — ведь не эсэсовец, а авиационный инженер из старинной немецкой интеллигенции, и она, хорошо знавшая язык, с ним успела уже довольно близко познакомиться и о многом поговорить долгими вечерами...

Но весь этот разговор ни к чему привести не мог: сестры настаивали на том, что тащить Лизу — безумие.

Тётка Ирина еще сказала, что ежели что, то они покажут документы о том, что, мол, крещёные. На это Витя возразила, что это при царе они были крещёными, а для фашистов, как и в СССР, они еврейки и точка, что в паспортах и значится.

К тому же была какая-то надежда, что в дом могут и не зайти: в том подъезде длинного двухэтажного дома, где они жили, нижний этаж был занят давно закрытой музыкальной школой, а на втором этаже была одна только их квартира... Правда эмалированные белые таблички частных врачей продолжали красоваться у подъезда...¹⁷

Соседи из другого подъезда рассказали потом, что через три недели всем евреям приказали «явиться с вещами (8 кг. на человека) на Театральную площадь». Тётя Ирина тут же сообщила коменданту квартала, или как он там назывался, что к ним, крещёным, это распоряжение не относится.

Уж лучше бы она ничего не сообщала: уже через час, как рассказали потом те же соседи, пришли два полица из комендатуры и увели двух сестёр, бросив третью, тяжело раненную, одну в пустой огромной квартире...

С Театральной площади всех евреев увезли в фургонах неизвестно куда.

И всё. А ещё раньше от Мишлин Маркус, французской жены младшего материнного брата Изи, пришло письмо из Парижа на новосибирский адрес дяди Лёвы. Она сообщала, что

¹⁷ Они ещё и после войны продолжали некоторое время висеть...

Изя попал в облаву на Елисейских полях: был схвачен на улице лавалевской полицией, депортирован и, видимо, погиб неизвестно где.

На все эти новости бабушка Анна Павловна отреагировала одной фразой: «С большевиками было, конечно, паршиво, что евреям, что дворянам, но всё же хоть не убивали»...

«НИНА ПЕРВАЯ» (1944—1945)

Рыжая. Так вот как это бывает! Первый роман

Ростов. Лето 1944 года. Старшая группа детдома — шесть девочек, четыре мальчика. Тринадцать — пятнадцать лет...

— Новая воспитка пришла, рыжая какая! Ух! — задыхаясь от новости и сотрясая угольно-чёрной густой гривой, сообщила Майя.

За Майей почти сразу вошла и новая воспитательница. Весёлая живая женщина, высокая, крупная и действительно рыжая, но не огненная, а скорей каштановая. Самое удивительное было отсутствие «причёски»: просто волосы распущены по плечам. В 1944 так не ходили. Вошла, представилась своей новой группе, сказала, что по профессии она — учительница литературы в старших классах.

— Ну что, ребята, пора и на пляж?

Мы загудели.

Пляж был не очень-то близко. Сначала надо было идти по улице километра полтора до временного моста, потом на ту сторону Дона, и ещё от моста в обратную сторону. По обычаю сопровождающую воспитательницу кто-нибудь из нас перевозил на лодке.

Оказалось, что Нина Николаевна об этом знает:

— Идите. А меня повезёт... — она оглядела нас четверых, скользнула взглядом по двоим тринадцатилетним, потом чуть задержала глаза на толстом Чурилине и улыбнулась: «А ты, в кудряшках, наверное, Бетаки?» Я безмолвно кивнул, чуть смутившись. — «Вот, он сегодня меня и повезёт». Я поспешно опять

кивнул — жуть как понравилась мне эта рыжая. Она казалась совсем не взрослой, несмотря на должность, на рост, на возраст... Всю дорогу я смотрел, смотрел — уставился и не думал даже, что неприлично.

— Ну что ты глаз не сводишь?

Я промолчал, наклонил голову... Если бы она догадалась, что я глазами пронизывал её платье — а какая она там... А может, она и заметила, что я ее раздевал взглядами десятки раз подряд, все время, что мы переправлялись...

Мы вылезли из лодки, и я вытянул лодку повыше на песок. Пока трудился — воспитательница уже оказалась в ярко-голубом купальнике. Прямо под платьем он у нее и был.

— Ну так что ты глаз не сводишь? — повторила она, слегка красуясь. — Так на женщин смотреть нехорошо, тебе ведь четырнадцать и то непол...

— Через два месяца...

— Ладно, погоди, раз так — поговорим, но — потом, а то скоро все придут, — засмеялась она, — вот накупаемся, все они пойдут через мост, и тогда...

В этом «тогда» я не угадал обещания: поговорим, мол, и поговорим, я никак не ждал такого молниеносного развития событий...

Прошло часа полтора. Все накупались и ушли обратно, а я нерешительно стал сдвигать лодку...

— Постой, не в лодке же!..

Она стоит прямо против меня.

На полголовы выше.

Молча смотрит.

— Простите, что я тогда так на Вас уставился... — я не нашел никакой лучшей фразы, чтобы начать разговор...

— Да всё и так ясно — на этот раз Нина Николаевна не улыбалась — ты ведь, наверняка, никогда ещё женщин близко не видел?

— Одетых видел — осмелел я — и даже в купальниках...

— А без купальников?

Она откровенно потешалась над моей растерянностью — а я вдруг отважился:

— А вот если бы вы это (указал я на лифчик), если б вы это сняли... Ну пожалуйста, хоть это...

Пауза.

Может быть ее рассердила моя наглость?

Да нет же, вовсе нет!

Она взяла меня за руку:

— Хочешь, чтоб сняла? Да ведь малолетний ты, страшновато. А?.. И глянув мне в нахмурившееся разом лицо, вдруг просила: «Ладно, идём!»

Мы углубились в камыши... Да долго ли ещё идти и дрожать? И вдруг: «Н-ну — чего же ты такой застенчивый?» И руки положила мне на плечи. Смотрит чуть сверху, со своего роста...

— Сами знаете...

Она добро, весело засмеялась:

— Ты мне тоже очень нравишься, правда, — ну, иди ближе, ближе — только прошу тебя, не стесняйся, а то ведь и я застеняюсь, и что же тогда?..

Тут она вдруг оказалась без лифчика и тут же, словно чтобы я не успел всю ее разглядеть, прижала меня к пружинящей и уплывающей груди. Обхватила обеими руками затылок, наклонила лицо, сильно и глубоко поцеловала, шевеля упругим языком мои губы... Я почувствовал что-то вроде головокружения... Она двумя руками спустила с меня трусы — глянула волчьим быстрым взглядом — а ты и верно уже совсем не малыш... Потом скинула свои трусы, и меня ослепило рыжее.

Я протянул руку...

...и не выпуская меня — одна рука вокруг моих плеч, — она мягко опрокинулась на спину. Одно незаметное движение ее руки... всё уплыло, — я глубоко вжался в незнакомый запах, оба дыхания стали чаще, и вот — в один ритм...

Тут всё, что могло во мне взорваться, вмиг взорвалось, а в ответ — еле слышное: «ещё... сильнее...» Но я уже не мог. Обмяк. И не шелохнулся, почему-то боясь, что вот больше ничего не будет... Прошла вечность... Я так и лежал. Её руки сведены у меня на поясице, а моим плечам невыразимо мягко...

— Ну что, понял теперь, что такое баба?

Это сказано было шёпотом, хотя поблизости никого и быть-то не могло. Глаза у неё сверкали, она дрожала, а я даже и не понял, что вот ведь, позорно поторопился, и только когда она шепнула: «А ещё можешь?» — я почувствовал и то, что ви-

новат, и что, да, могу, и ещё, и ещё — ну разве может быть, чтобы *такое* — и не смочь???

Каким-то нервом почувствовал — снова теснее становится... И захолонуло сердце...

Можешь! — (не вопрос, утверждение!)

Я закрыл глаза.

Она, плотно прижавшись, едва заметно продолжала где-то внутренне двигаться всё в том же ритме... А я, двумя руками обхватив её бёдра, весь трясясь, буркнул застенчивое: «не зна».

— А кто ж зна? — засмеялась она. Меня ободрил этот смех, и я глянул на неё открыто, уже озорно и жадно... Опять поцеловала, но мельком, и сказала — уже в полный голос: «Встань... Закрой, пожалуйста, глаза! Крепко! Стой спокойно и прямо!..»

Я послушался. Через прищуренные ресницы все-таки подглядел — казалось, далеко внизу, но повыше моих коленок, оказалась копна рыжих волос, а я — словно опять... Или нет, всё как-то иначе... Не успел я догадаться, не успел осознать это, и вовсе незнакомое, как тут же оказался на спине, а она села на меня верхом (даже мне стало смешно на секунду, но тут же я почувствовал, что если засмеюсь, то это помешает, — и сразу посерьёзней).

Волосы хлестали меня рыжим по лицу, а соски, длинные и тёмные, сталкивались с моими, крохотными, и словно искры вышибали. Искры бежали вниз, вниз... Я вдавил пальцы обеих рук в ее раскачивающиеся напряжённые бёдра. Никогда не думал, что бывают такие — вдвое шире талии!..

А она все быстрее и быстрее, — то садится смаху, то подымается так, что почти... — Ой, — шепчу, — только не слазь, не слазь, не слазь, не слазь... Вдруг она очень сильно сдавила меня внутри себя несколько раз — и взорвалась, беспорядочно замотав головой, подавив длинный тихий крик... Тут же от этого и я взрываюсь, и в тот же миг она ложится на меня, ещё долго и судорожно не выпуская... Замираем...

Минут через пятнадцать, лежа рядом, начинаем о чём-то разговаривать, вдруг она обрывается на полуслове и...

Прошло ещё часа полтора... Мы переплыли обратно, и так как дежурство Нины Николаевны кончилось, она пошла к себе домой, а я побежал в библиотеку и уселся там в углу. Разговаривать ни с кем не хотелось. Счастливые молчат.

С того дня — так и пошло: пока лето — часто на пляже; а потом — по субботам, когда после школы всех отпускали к родственникам, я бежал прямо к ней. Она иногда даже звонила моей бабушке или тетке и официальным тоном говорила, что я к ним приду вечером попозднее, или, может быть, даже утром, поскольку я не все задания выполнил...

За эти полтора года чему только она меня ни научила!

И — лиха беда начало — у меня вскоре после того дня появились и другие; и Нина догадывалась об этом, но то ли по доброты ни словом не намекнула, что знает. То ли просто радовалась, что первой вылепила из подростка мужика, то ли молчала просто потому, что, как я потом узнал, и я у неё был не единственный. Однажды я столкнулся у нее на лестнице с каким-то офицером, но не придавал этому никакого значения: не ревновать я у нее научился еще раньше, чем влюбляться.

Время было военное, бабы голодные, без мужиков, и очень многие подростки были так же, как я, «мобилизованы и призваны» бабами и очень этими добрыми взрослыми бабами избалованы...

«СОЮЗ ДЕСЯТИ»

(1944—1945)

Майя. Эротика подростков. Союз десяти.

Кто из нас какой? Конец войны.

Наши старшие детдомовские девчонки, которым было от 13 до 15 лет, поддаваясь общему висевшему в воздухе духу безудержной эротики, почти открыто не хотели отставать от взрослых. А взрослые бабы тогда, по крайней мере, в Ростове знакомились с мужчинами где попало и легко заводили мимолетные связи.

Единственная пятнадцатилетняя в нашем детдоме, Майя, уже с месяц прямо при всех остальных пяти подругах ложилась с толстым Олегом Чурилиным. Только одеялом с головой накрывались.

Однажды Чурилин предложил мне и тринадцатилетнему Мишке пойти с ним в комнату девочек. «Майя всех нас звала —

видно, ей одного мало, — пробурчал он. «А может, другие девчонки ей позавидовали, и она о них и заботится?» — предположил я. «Да, с двумя из них я уже...» — пробормотал Чурила. Маленький, но стройный Мишка нерешительно и горестно глянул вниз на свой едва пробившийся пушок, и мы мигом скользнули в соседнюю комнату.

Дежурная воспитательница, как всегда, после вечернего обхода, который происходил ровно в десять, спала в директорском кабинете на первом этаже.

Мы вошли втроем. Девчонки не выказали никакого удивления. Видно, Майя их подготовила. «Ну, Васька, иди-ка к Женьке — она у нас самая маленькая, ещё даже и Олега не попробовала — последняя целка в группе», — засмеялась Майя, — «правда, ты, может, тоже целка?» Я важно усмехнулся, давая ей понять, что уж нет... «Ну что на меня уставился, ну, стою голая — красиво, да? А ты на Женьку посмотри, вон какая розовая!»

Она откинула одеяло, погладила лежавшую Женьку по впалому животу и шелковистым светлым локонам, обернулась снова ко мне, подмигнула, прикрыв зачем-то ладонью свой густой черный треугольник: «Погоди, потом я и тебе дам! А пока мне Мишеньку надо научить!» — и поволокла его, сияющего и робкого, к себе под одеяло, а ее верный Чурилин полез (явно, тоже не впервой!) к маленькой толстенькой армянке «Сусанне-с-усами».

Но тут девчонки потребовали, чтобы оба «посвящения во взрослые» (Женьки и Мишки) были без одеял: «Так ведь всем интереснее», медленно и чуть ли не облизываясь, процедила белокурая курчавая Марина. На том все мы и согласились.

...У Женьки вовсе не было титек, даже намёка, только большие и тёмные соски выдавали девчонку.

Я при полном свете (его нарочно не погасили) стал гладить светлые кудряшки, тут же и полюбопытствовал — что же такое эта пресловутая целка? Ничего интересного. А Женька раздвинула ножки и даже подняла их, согнув в коленях. Как я потом узнал, Майя её ещё накануне научила, сказав: «Пошире и повыше старайся, чтоб больно не было!»

Я медленно — на неё, — она сморщилась, ойкнула — но тут же мордочка разгладилась до улыбки.

А вскоре она и сама стала робко подпрыгивать — входила во вкус. Сразу! А я-то думал, что девчонке надо долго привыкать. Но она даже кончила раньше меня! Хотя и как-то не по-женски, не длинно, а, по-мальчишечьи — ррраз, аххх, — жутко сильно сдавила — и тут же обмякла. Вот тебе и целка тринадцати лет...

Когда я поднял глаза, то увидел что никто ничем не занимался — все следили за нами до последних секунд.

И только после этого «началось действие второе». Так назвал Чурилин обучение Мишки, до того лежавшего за спиной у Майи почти спокойно. Ребята, а девчонки и того пуще, страшно разогрелись от этого зрелища, хотя все длилось недолго. Полная мускулистая Майя довольно быстро, буквально в десяток движений, и тоже без одеяла, «научила» маленького нервного Мишку, и тут же, едва он, шепотом зарычав, затих, отправила его к длинноногой красавице Тасе: «Продолжай с ней, она ещё лучше меня всё умеет!»

Чурилин тут же вылез от Сусанны и снова полез к Майе, а я опять к Женьке — на сей раз под одеяло. Потом мы с ним поменялись. Маленькая Женька очень понравилась нашему толстяку, а меня тянуло к мягкой, гибкой, горячей и уже по-женски настоящей Майе... С ней было почти так же хорошо, как с... (Я держал себя за язык: не проболтаться бы!)

На следующую ночь мы позвали ещё и Вовку, его обучала Тася, самая темпераментная из девчонок. Все это происходило тоже без одеяла — довольно долго и очень шумно!

Она вертела его, как хотела! Да еще командовала по ходу дела, не стесняясь, прямыми и запретными словами... «Приличных» слов никто из нас, понятно, не знал (да и есть ли они по-русски?), так что слышны были одни матюги, только очень ласковым громковатым шепотом...

Следя не столько за Вовкой, сколько за гибкой и по-взрослому изобретательной Тасей, зрители так напряглись, что стали тискаться, уже не разбирая, кто кого.

Когда же наконец увалень Вовка слегка завыл и тут же кулём скатился с неё, высокая и тонкая Тася приподнялась, оглядела всех медленно и, подмигнув мне, молча поманила двумя пальчиками...

Так оно и пошло. С тех пор и ночи не проходило, чтобы хоть двое из нас не проводили поздний вечер у девочек... А часто и все четверо.

Через неделю все привыкли ко всем, и все были всеми довольны.

А когда выдыхались и уже ничегошеньки не могли, начинали друг друга вслух обсуждать. Ничего не стесняясь, перечисляли все достоинства и недостатки каждого и каждой... Никто больше не укрывался одеялами, так что обсуждения эти уже на третий вечер наших игрищ были в буквальном смысле «не голословны». С демонстрацией по ходу разговоров...

Сложилась характеристика: из девочек самая ненасытная — Тася, самая «мощная» — маленькая Женька, Сусанне было со всеми мальчишками очень радостно; а вот кругленькая, белокурая задумчивая Марина — самая нежная и самая любопытная, хотя и по натуре холодноватая, была первой в разговорах «на эти темы». А зато у Майи как подкатывало — так бесконечно долго длилось, только партнеры сменялись и сменялись...

Из мальчишек: Чурила — самый сильный и большой, Вовка — ласковый и долгий, про меня Тася заявила, что «Васьки хватит на всех нас», а про Мишку лукавая Сусанна выразилась точнее всех: «Мне он лучше всех — как моторный катер, до чего же быстрый!».

Трудно теперь поверить в эту полудетскую ненасытность! Десять сорвавшихся с цепи подростков, вдруг понявших, что запретов-то на самом деле нет, и уж «экспериментировавших», как только подсказывали друг другу все десять распалённых воображений и едва созревших тел...

И вот с тех пор не было у меня сомнений, что какие бы строгости ни выдумывали «взрослые», будь они хоть воспитателями, хоть политиками, хоть церковниками хоть просто агрессивными обывателями, ничего им не поделать с теми, кто так рано понял, что все запреты — враньё!

Странно, никто из нас, кажется, не думал про то, что от этого иногда бывают дети... А когда кто-то из мальчишек робко раскрыл рот на эту тему, Тася, которая ещё весной, видимо по воскресеньям, набралась опыта с кем-то взрослым вне стен дома, тут же сказала: «На больших дорогах трава не растёт». И верно, всё у всех обошлось. Может, и правда от калейдоскопической ежевечерней смены партнёров? А вот случись что? Что бы было? И подумать страшно...

Ни я, ни остальные трое ребят, ни разу не слышали слова «нет» от наших девочек, даже в «запретные» дни, как, впрочем, чуть позже почти никогда не слышали отказов и от женщин самого разного возраста, с которыми нагло и быстро знакомились в городском саду.

Не услышал я отказа и от собственной тётки...

А ТАК ЖЕ МОЯ ТЁТУШКА...

(1944—1945)

*Тётя Мура. Прощанье с Майей. Йога.
Калейдоскоп из женщин.*

Когда на воскресенье меня отпускали к бабушке, я обычно ночевал в комнате у тетки Муры. Она была чуть старше моего отца, и ей было тогда лет 56—57...

Она была даже не очень толстая. Но вот... Где только она лифчики такие гигантские добывала! Я давно не раз их разглядывал на спинке стула... А запах от них...

И вот однажды, когда она, раздеваясь, осталась в трусах и лифе, и произнесла своё обычное «отвернись», я вдруг буркнул «неее!» и на неё уставился. После «инициации» с Ниной прошло уже больше месяца, да и с девочками всё началось дней десять тому назад, так что за этот срок я здорово обнаглел. И любопытство грызло: а как ведёт себя не девчонка, а почти старая баба? Ну так вот я и буркнул «нее-е».

«Отвернись, ведь напугаю!» — весело сказала она, не снимая лифчика. «Не напугаешь, наоборот!» — шепнул я. Она пожала плечами и сняла лифище. Волны груди так и хлынули вниз... «Так что это значит, наоборот?» — потянулась она за ночной рубашкой. Я не ответил, но и не дал ей взять рубашку: подскочил без слов, протянул ладони, и они утонули в теплом, мягком...

«Да ты что, — я ж тебе тетка!». Однако, рук моих от себя не отняла; украдкой глянула на мои очень торчащие спереди трусы и медленно, нерешительно притянула меня к себе. Я потянул вниз трусы. Она еще раз пробормотала «да ты что!», но уже так, для порядка, — и я это сразу понял. А когда я слегка нажал на

неё, чтоб она легла, услышал сказанное очень тихо, прямо в ухо: «Не так: на спине, боюсь, не получится... Живот всё же».

Она встала на кровати на колени, плечи оказались низко-низко на подушке... Я смотрел на ее спину, на всю, от шеи и седых стриженных кудрей и до гладких бёдер, очень белых, вдвое шире меня... А талия-то вот! И складок никаких! Тугая вся... Плотная под ладонями....

«Быстрее, быстрее!» — повторяла она, как бы задавая ритм... — и эта бурная радость пожилой женщины настолько меня захватила, что я только замер на несколько секунд, — и уже собрался снова всё повторить!

— «Ну и разбуянил ты меня!», — проговорила она прерывисто, в самое ухо, и с этими словами перевернулась на спину, подвинулась на край кровати — поперёк: «Вот так, кровать-то высокая, ты слезь, стоя встань, — наверно, так и на спине всё-таки получится. Хочется очень на спине-то...»

Через минуту-другую все началось снова, и ещё сильнее — застенчивости уже никакой не было.

«Ой, как давно... как давно!» — заулыбалась она потом, отдышавшись и глядя меня, как в детстве, по голове.

«Почему давно?» — спросил я.

«Да дядя Миша, сам знаешь, всё на охоте — на работе, и астма его давит. А может, неинтересно стало... Как приезжает, всегда в своей комнате. Он, короче говоря, уже лет десять — ничего, хоть и моложе меня на два года...»

Через несколько минут мы всё повторили, и опять так же — она на спине, ноги у меня на плечах, а я, стоя перед кроватью, и руки надо было широко разводить...

Часа в четыре утра наконец заснули, каждый в своей кровати, хотя я и просил спать вместе, — нет: а вдруг Витька зайдёт? Вот стыда-то!

Витькина комната была через коридор, и к матери она ни ночью, ни утром не заходила, но я разделял этот страх, очень стесняясь своей старшей кузины. Сын ее был только на шесть лет младше меня...

* * *

Следующая весна. Конец войны. И радостное начало лета, первого мирного лета. Еще в мае стали обозначаться контуры новой жизни: из детдома стали забирать тех воспитанников, которых было кому забрать. Первой (и тут первой!) была Майя. Её дедушка, вроде бы академик, прислал за ней кого-то из Москвы. Накануне отъезда Майя потребовала, чтобы мы, все четверо, с ней «попрощались по настоящему».

В тот вечер остальные девочки остались одни в своей спальне. Майя пришла к нам в комнату и как-то обхватила всех четверых сразу, ласково и грустно...

«Ну,.. да нет, ну что ещё сегодня за очередь, не в лавке же!», — захохотала она, потом всплакнула и, вытирая кулаками глаза, как-то лихо: «Черти, хватайте все сразу, кто где... ну, как попало, ведь может, никогда и не увидимся теперь...».

Вот таким аккордом для меня кончились разом и война, и эвакуация, и детдом.

* * *

В июне 1945 года, дожив до восьмидесяти лет, умерла бабушка Анна Павловна. Заснула и не проснулась. После её похорон и с началом каникул я, в предвидении отъезда в Ленинград, на два месяца переселился из детдома к тете Муре.

В соседнем доме жила армянская семья. Я уже давно дружил с Мануком, моим ровесником. И вот как-то он мне рассказал о том, что его отец в юности два года жил в Индии (по словам Манука был там советским шпионом) и научился особой чудесной гимнастике, которая называется йога. Я заинтересовался.

А вскоре Микаэл Ваагнович, отец Манука, предложил мне вместе с Мануком позаниматься этой самой йогой. Сначала было совсем неинтересно: дыши так, да дыши сяк, но вскоре я вошел во вкус и почти догнал Манука, с которым его отец занимался уже года два. Сейчас йога — штука популярная, а тогда приятно было развлекать мальчишек во дворе необычными упражнениями и чувствовать в себе некую пружинящую силу, притом что внешне мышцы никак не выделялись.

Мой сорокалетний двоюродный брат доктор Володя Витовецкий прислал мне вызов в Питер. Без такого документа не то что школьник, мышка не попала бы после войны в «Город-герой». Витовецкий к тому времени уже демобилизовался и вернулся в свой Педиатрический Институт.

Мой отъезд был с общего согласия назначен на 15 августа. А пока что я увлечённо занимался йогой, «веселился» с тётей Мурой, и раза два в неделю, разумеется, бегал, к Нине.

Только вот «союз десяти» распался навсегда. Майя — душа всей компании — уехала в Москву. Да и двери детдома на ночь запирались — а я был уже «постороннее лицо».

Чтобы утолить жажду разнообразия, жажду нового, можно было, увидев на какой-нибудь скамейке городского сада одиноко сидящую с книгой женщину, спросить: «простите, что вы читаете?» Чаще всего такое «знакомство» продолжалось в постели. Иногда через час, иногда вечером. Отказы были редки. Разнообразии увлекало, доступность разжигала...

И всё же тётка Мура... Я понял, как соблазнительно и таинственно вспыхивает в иных женщинах «третья молодость»! Всё недотраченное, будто в последний раз, щедро обрушивается на мужика или на мальчишку, рискнувшего связаться с бабой «на грани». (Потом я часто вспоминал тётку Муру, когда завязался у меня уже в Питере смешной роман с Любой Дельмас.)

А знакомства, возникавшие в городском саду, редко затягивались даже на три-четыре встречи. Отчего-то я, да и эти случайно встреченные женщины, не искали повторений. Может быть, оттого, что думали: всего один, мол, раз с новым знакомым — ведь не сочтётся же за измену мужу-фронтовику. «Хотя этих одних разов было — ой как немало», — сообщила мне как-то, прощаясь утром, одна тридцатилетняя продавщица из ларька газированной воды. Она была очень большая и весёлая, еле влезала в свой ларёк. Входила в него боком. И весь его переполняла собой, казалось — ну, будь она ещё чуточку шире или толще, и в щели между досками что-нибудь да выторчит...

Через много лет я увидел ее у Феллини в «Амаркорде». Та вот огромная хозяйка лавочки, которую мальчишка пытается приподнять.

Был тогда анекдот: «Что такое сверхнаглость? Спать с женой фронтовика, и наутро искать себя в списках награждённых»... Я, правда, не искал. Да и вообще газет не читал.

Другие женщины, более красивые и яркие, а значит и менее голодные, тоже не брезговали мальчишками. Я бы даже сказал, что мальчишки вошли в моду, и не только оттого, что мужчин в городе почти не было, но и оттого, что ни ревности, ни претензий с подростком уж точно быть не могло — насытилась, и прощай! И вот они меняли, меняли...

1944-ый

Мне четырнадцать. Юг жжется.
Пляж на той стороне Дона.
В пёстрых тряпках песок желтый
И акации в небе тонут.
Снова переплывешь в город,
Кое-как привязав «фóфан»,¹⁸
И полезет тебе за ворот
Разговор из распахнутых окон.
Под каштаны проспектов вечерних
Редко выйдет какой мужчина,
Иногда промелькнет машина
И в машине погон чей-то...
А вечерний асфальт — жаркий,
И мороженого на углах нет,
А любая прохожая пахнет
Резедой в городском парке.
Цвет заката — терпкий, горчичный,
И тревогу сравнить не с чем...
Засыпают под утро мальчишки,
Пальцы вмяв в животы женщин.

1993

Короче говоря, три месяца я занимался только охотой на женщин да ещё йогой, больше ничего не делал.

14 августа вечером я пришёл попрощаться к Нине. Но её не было дома. А позвонить заранее как-то забыл. Так я и уехал, и никогда больше её не видел. Потом узнал, что она вышла замуж и куда-то переехала из Ростова...

¹⁸ Двухосая донская лодка.

ЛИДА
(1945—1960)

*Младшая тётка. Первая любовь и самый долгий
из моих романов...*

В 1945 году из Ростова в Питер ездили через Москву. В Москве я отправился на Арбат к тетке Лиде. Дома был только Лидин сын, мой кузен Игорь. Он объяснил мне, как попасть к ним на дачу.

Отчим Игоря В. Д. Шаховской был фотокорреспондентом журнала «Советский Союз». Так что глянцевые фотографии и, главное, обложки в этом лакированном и «лакирующем» издании были делом его рук. Половину времени он летал по разным командировкам.

Тетка Лида была на десять лет младше моего отца и на двенадцать младше тетки Муры. Она была редкой красавицей. Что греха таить, «пообщавшись» со старшей теткой, я уж никак не хотел упустить младшую — ещё с весны, думая о приезде в Москву, я с особой жадностью и тревогой думал о ней. При том я был уверен, что соблазнить её будет сложно: ну на что я ей, когда на неё такие мужчины на улице оглядываются — и походка королевы... С детства помню...

Я приехал на дачу, что называется на «черствые именины»: накануне Лида праздновала свои 46 лет, а утром дядя Володя улетел кого-то там снимать в Новосибирск.

Итак, я подходил к даче, надеясь на новое приключение.

Тетка Лида высунулась из мансардного окна (они снимали весь четырехкомнатный верх дачи). «Ох ты, какой вырос!» — воскликнула она. Мы не виделись всю войну, и когда последний раз она была у нас в Питере, мне было меньше 11 лет. «Вырос-то чуть-чуть, до тебя мне не дорасти!», — радостно откликнулся я. Взбежал по лесенке, и сказал: «Ну, померяемся ростом?». Она меня поцеловала по-родственному в щеку, а я стал к ней поближе и как бы случайно прижал к себе: «Вот, видишь, всё, как я и думал, — на целую голову до тебя не дорос!». Куда там — в ней было не меньше 180 сантиметров, а во мне всего 169.

Она отстранилась и сказала: «Ты что, очень взрослого изображаешь?». — «Угу, изображаю, только у меня к тебе претен-

зия». «Какая это?» — «Вот говоришь, что вырос, а сама как маленького в щёчку целуешь».

Расхохоталась: «А тебе как надо?»

«Сама лучше знаешь!»

Я заметил, что у неё блеснули глаза, а может мне и показалось — они были у неё всегда слегка на выкате — базедка. Я тогда ничего об этом не знал. Потом узнал еще, что эта болезнь у женщин очень усиливает желание, а у мужчин наоборот...

После ужина и самых разных разговоров, через полчаса после того, как она, постелив мне, вышла из отведенной мне комнаты, я, ужасно волнуясь, решил пойти к ней — будь что будет. Я хотел ее, кажется, сильнее, чем всех, с кем имел дело за прошедшие полтора года... Мне казалось, что я влюблён в неё был ещё тогда, когда и слова-то этого не знал...

Ну, неужели откажет???

Вошел. Спит? Укрыта. Видны только плечи — очень красивые, слегка полноватые плечи... Я присел и сунул руку под простыню. Спит.

Вот, если не спит, а притворяется — значит, сейчас... Но она и вправду спала, не открывая глаз, пробормотала: «Отстань, Володька! То неделями тебя не допросишься, а тут вдруг среди ночи...» — «Не среди ночи, а вечером, и не Володька, а Васька» — возгласил я.

Она открыла глаза и уставилась на меня молча и с ужасом. Потом ужас сменился любопытством. Потом ласковой улыбкой. «Да, вижу я, что ты вырос, вижу — только как-то сразу так нельзя... Ну, привыкнуть надо, что ли. Давай уж лучше завтра...» — произнесла она, вроде бы, спокойно, но как-то застенчившись, потом снова распахнула ресницы, а когда увидела, что на ней уже нет простыни, махнула ладонью в воздухе: дескать, ладно, что уж теперь прятаться!

А я сидел и любовался. Она проследила за моим взглядом, села, сняла комбинашку, взяла двумя руками меня за плечи и, навалив на себя, поцеловала уже как надо. «Вот уж не думала... Да может, я — первая женщина, которую ты решил раскрыть? А?» — «Успокойся, тетя Лида, конечно, не первая...» — «И когда ж ты успел?» — «Потом когда-нибудь расскажу...». И шепотом, прямо ей в ухо, дыша на черные короткие кудряшки, задал запоздалый дурацкий вопрос: «Ну, так можно? Да?»

«А почему это ты решил, что со мной можно так нагло?»

«Не нагло! — прошептал я, — «ну пойми, никак не сдержаться! Я ведь сколько себя помню, всегда тобой любовался...»



Лида и Рикки-Щен.

Она обхватила меня за плечи и повалилась на спину, не отрывая губы от моих и даже не согнув ноги в коленях... Медленно, медленно, чуть ускоряясь, движений через десяток замерла, отдышалась несколько секунд: «Вот теперь ещё...»

Опять медленное, чуть ускоряющееся покачивание. Вроде — какая-то непонятная лодка...

Это было знакомо и незнакомо, раз за разом, всё так же напряженно! Короткие перерывы с провалом в сон и опять быстро всё взлетает и так же быстро всё заканчивается, и повторяется, повторяется — неудержимая дрожащая жадность...

По сравнению с ней все, кто раньше были — просто приятное развлечение, насыщение вечно голодного подростка, ну, ещё радость оттого, что доставляешь радость... А тут — тут совсем другое!

Это и была первая действительная влюблённость... Вспомнил Нину и понимал — тут всё гораздо сильнее: даже детская ранняя привязанность играла свою роль...

И с того вечера наши отношения продолжались ещё почти пятнадцать лет... До самой Лидиной смерти.

Над всеми моими романами возвышался этот — самый некротимый, самый тайный... Лида.

* * *

Она умерла от инфаркта ровно в шестьдесят. Когда мне было почти тридцать... За это время были у меня браки, романы, романчики и просто приключения, но она для меня всегда оставалась особенной, главной, первой, единственной...

Каждый приезд в Москву был мой праздник, а уж тот год, что я провел в Москве, перейдя на втором курсе Литинститута на один учебный год с заочного на дневное, — был праздник праздников! Весь этот год я прожил у Лиды в квартире. Даже девочек в институте, с которыми у меня что-то было, можно за целый этот год пересчитать по пальцам одной руки: не гонялся я за новинками. Ну, кто из них мог бы сравниться с Лидой?

Никто ни о чем не догадывался. Мы часто уходили гулять вдвоём, мы уезжали вдвоем на дачу... Да и днем она, как правило, была дома одна.

Бывшая актриса немого кино, совсем молодой сошедшая с экрана, когда изобрели звук, она была серьёзно образованной женщиной, и хотя снобизма в ней было немало, этот снобизм никогда не принимал неприятной резкой формы. Она ни о чем не говорила жестко «нет» или «да» — всё было зыбко, но достоверно...

Лида никогда не расспрашивала меня ни о каких моих связях, и я никогда не ревновал свою прекрасную тётку, хотя знал, что трое или четверо любовников у нее сменили друг друга за пятнадцать лет нашего романа. Мне казалось, что всё, что было у нее, или у меня — это вскользь, мимо: друг для друга мы всегда оставались первыми, и это наполняло радостью...

Пятнадцать лет длился этот фантастический роман, светился этот тайный праздник. И кончился. Всё на свете кончается...

И она говорила — не врала, никогда ни в чем не врала, только, бывало, умалчивала о многом — говорила мне, что я для неё «самый любимый любовник, хотя и не самый любимый племянник». Из племянников и племянниц на первом месте была для нее Ира — младшая дочь тетки Муры, та самая Ира, которая когда-то жила у нас в Питере года три и была моей второй нянькой. Первой нянькой была Динка, большая пушистая колли, которая лет до трёх заталкивала меня своим длинным носом обратно в кровать, если я пытался выбраться оттуда через борт.

ВОЛОШИНЫ И МАРШАК

Первые пятна памяти. Лёва Друскин. С. Я. Маршак

О Максе Волошине — которому случилось быть моим крёстным — я знаю практически только по рассказам: он умер, когда мне было чуть больше, чем два года. Детская память — светлые пятна в полной тьме. Самое яркое пятно — море! Собака суёт нос в пену. Кто-то широкоплечий и бородатый, одетый во что-то белое, стоит рядом с отцом у меня за спиной. Меня уговаривают войти в воду. Я боюсь. Собака подталкивает меня носом, а бородатый говорит: «Иди, иди, не утонешь». И я вошел в слабый прибой.

СОНЕТ О ДЕТСТВЕ

Памяти М. А. Волошина

Нет, всё при мне, ничто не расплылось:
Они вдвоём стояли надо мной:
Отец и тот — с огромной бородой,
А псина у прибоя суетилась.

И море шелестящее раскрылось,
Но, ничего не видя впереди,
Я голос услышал: «Иди, иди»...
Как должное я принял эту милость,

И кривоногого топя в волну,
Почувствовал: теперь — не утону!
Вот — первое, что помню я из детства...

Но все-таки за что мне, отчего
Досталась неприкаянность его,
И тайны бесполезное наследство?

1981

Вот и всё, что я сам помню о Волошине. Потом, когда я стал постарше, родители и «тетя Маша»¹⁹ мне, конечно, много рассказывали... Но это всё уже с чужих слов. У Марьи Степановны — тети Маши — я бывал изредка с родителями, а после войны и один приезжал ненадолго в Коктебель раза три.

Как-то раз уже в студенческие годы я у неё, да ещё при нескольких гостях, позволил себе поиздеваться над стихами Андрея Белого, над символизмом, и заодно над антропософией. Она смертельно обиделась: «...ведь Макс был антропософ, по-серьёзнее даже Белого, и память Штайнера обязывает... и она не позволит... и вообще — щенок...»

Короче говоря, уехал я в тот же вечер.

На следующий год мы по причуде судьбы столкнулись в Москве в метро. Она глянула пристально и прошла мимо.

Через несколько лет я приехал в Коктебель в Дом творчества Писателей и встретил там своего приятеля, питерского поэта Леву Друскина. Лева уговорил меня помириться с Марьей Степановной и повёл меня к ней. Я вкатил в волошинский дом Левино кресло на колёсах и услышал сверху тётимашин голос, совсем старушечий: «Левушка? Кто тебя приволок?». Спустилась, и Лева тут же сказал, еще до того, как она меня увидела: «Не сердитесь на него, он сам всё понимает».

Она позвала в гостиную. Усадила. Даже угощать чем-то стала. Только я видел, что всё это делается ради Лёвы. Формально мы помирились, но взаимный интерес, который был у нас, когда я был ребенком, угас, ведь с тех пор я видел М. С. только мельком, заходил, бывая в Коктебеле, с визитом вежливости... Один раз она даже пошла со мной вместе на могилу Волошина.

Со стихами Волошина я познакомился лет в шестнадцать, и тоже там, у неё в Коктебеле. Самым главным для меня сразу стал венок сонетов «Корона астралис»:

¹⁹ М. С. Волошина. Чтоб отличать её от сестры отца, тоже Марии, её звали у нас Машей, а тётку — Мурой.

В нас тлеет боль внежизненных обид,
Изгнанники, скитальцы и поэты

И, конечно, историософские вещи, вроде «Дмитрия Самозванца».

А еще пророческие строки:

Не в первый раз мечтая о свободе,
Мы строим новую тюрьму.

Был какой-то период, когда Волошин для меня стоял вровень с Блоком. А выше Блока я в те годы и не представлял себе поэтов...

У моей мамы было четыре двоюродных брата и три двоюродных сестры. У одной из них — в Ростове на Садовой точно напротив городского сада — я смутно запомнил огромного белого шпица-самоеда, которого строго дрессировал Алик, длинный парень лет на 10 старше меня. Мой троюродный братец. Впоследствии он стал известным поэтом и переводчиком поэзии Александром Ревичем, но с тех детских лет мы с ним больше не виделись и впервые поговорили по телефону в 2008 году, когда я позвонил ему из Парижа.

Два же из маминых кузенов, да и две кузины, были Гительсоны (один из этих братьев, став актером, взял себе псевдоним Тельсен) остальные кузены все были Маршаки.

Илью Яковлевича Маршака (писавшего под псевдонимом М. Ильин) я видел как-то раз мельком, но страшно любил его книжку «Сто тысяч почему или рассказы о вещах». Эту книжку я даже в блокаду не смог сжечь в буржуйке, где полыхало тогда полное собрание сочинений Гёте...

А вот Самуила Яковлевича помню с раннего детства. До переезда в Москву он работал в ленинградском Детиздате и иногда у нас бывал. Приходя, приносил мне каждый раз в подарок книжку с яркими картинками — иногда свою, а иногда и не свою. Я всегда очень радовался. Когда же мои родители ходили к нему в гости, меня с собой они почему-то никогда не брали.

У мамы в шкатулке среди всяких бус хранилось шуточное посвящённое ей стихотворение С. Я., написанное в какой-то Новый год. Помню из него только начало:

У Бины кораллы, у Бины рубины,
А глазки у Бины совсем карабины...

Еще помню крупный школьнически-правильный почерк.

После смерти родителей я увидел Маршака только в 1946 году. Будучи в Москве у Лиды, я ему позвонил, и он меня тут же пригласил к себе. Поморщился от моих стишков («недобальмонт какой-то у тебя!»), но мои первые переводы (а это был, как у всех начинающих, Гейне) сдержанно похвалил и сказал, что переводчик из меня точно выйдет, надо только две тонны груза к заду привязать для усидчивости. Правда, тут же сказал, что переводить Гейне — безнадежный тупик, что и сам он начинал, да забросил. Посоветовал учить английский. Он уже тогда чувствовал, что за английским — будущее, хотя в девяти десятых советских средних школ еще продолжали в силу послевоенной инерции преподавать немецкий. К сожалению, его добрый совет так и пропал тогда даром: я был слишком ленив...

Через три или четыре года после той первой встречи я с Маршаком поссорился и не виделся с ним несколько лет до самого его юбилея в Ленинградском Доме Писателей. На юбилее он первый холодно со мной поздоровался, когда мы столкнулись на лестнице. Я, как мог, вежливо ответил, вежливо поздравил.

А поссорились мы в ходе разговора, в котором он поучал меня уму-разуму, объясняя с кем из писателей надо — именно надо — быть предупредительным. Можно, дескать, совсем не уважать, а вот быть предупредительным необходимо. Полезный, дескать человек...

Я вспыхнул и сказал, что и с ним, наверно, тоже так надо, и называть его теперь буду не дядя Сёма, а по имени-отчеству... Ведь за переводы я его очень уважаю, а вот пионерщины простить не могу — как ему не стыдно сочинять всю эту чушь, ведь он когда-то Оксфорд окончил, в Палестине и в Италии побывал, потом был главным редактором газеты у Врангеля! А теперь что пишет...

Короче говоря, я сказал ему всё, что мог сказать восемнадцатилетний студент, возмущаясь приспособленчеством, советскими газетными истинами и прочей дрянью, которая пышно расцветала в сорок девятом году — чуть ли не в самом мрачном и мерзком году за весь советский период...

В общем, я ушел, распрощавшись самым нежнейшим образом с его ньюфаундлендом, который, по-моему, был в этой идеологически-кухонной ругани на моей стороне. Уверен, что

на моей, поскольку собачья бескомпромиссная прямота мне всегда была приятнее, чем любые «соображения» старших.²⁰

А хозяин только сказал вслед, тщательно протирая очки, что не хочет меня больше видеть, но всё же месяца через три переслал мне в Питер с другим своим двоюродным племянником, моим кузеном и однокурсником Сашей Гительсоном, книжку сонетов Шекспира с надписью: «На память, прощально, Вздор-Кихоту Васе».

Саша сказал, что дядя Сёма не хочет больше меня видеть и что по его, сашиному, мнению тут смешалось раздражение (мол, яйца курицу учат) с чувством опасности, которую могу я «своим колокольным языком на него наклика́ть». Шел 1949 год, и «космополитам по рождению» жить было страшновато, даже таким заслуженным, как Маршак. Но я этого в своей вечной легкомысленной крайности почти не понимал. Вернее, понимал, но как-то не всерьёз. Но в свете всего этого мне вовсе было непонятно, почему Саша учится на отделении гебраистики... Вроде волков боится, а в лес ходит!

КАЗАНОВА В ПОСЛЕВОЕННОМ ПИТЕРЕ

(1945—1949)

Реставраторы — девочки слишком приличные. Медички, или «мёртвые не кусаются». Наш кукольный театр. Дом кино и мазурка. Девочки вовсе неприличные. «Буря мглою». Замполит. Джазик. Саша Гительсон

В Питере я поступил в восьмой класс обычной средней школы. Проучился там неполный год и перешел в Реставрационное Художественное училище на отделение лепки. Там было интересней. Кроме того, там платили стипендию, которая была совсем не лишней. Володя Витовецкий, тогда уже ставший про-

²⁰ Как писала позднее моя однокурсница по Литинституту Лора Румарчук: «...Кто это придумал, кем это положено: /правила приличия, скучные слова?/ Ведь хотели взрослые, чтобы стали строже мы, / чтоб не закружила нас белая листва!».

фессором в своем педиатрическом институте, щедро мне помогал, но очень хотелось иметь какие-то свои деньги.

В 1947 году умер Александр Петрович Пантелеев. После его смерти Витовецкий обменял мою комнату на комнату в том доме, где жил сам, чтобы за мной приглядывать. Так с Моховой и попал я на Канал Грибоедова, у Львиного мостика.

Всё было бы хорошо, только вот девочки в Училище были совсем непривычные: одни были осторожные до ужаса, а другие — «идейные». Так или иначе, не то что секс — разговоры «такие» были под строгим запретом. Как-то раз я сходил в театр с понравившейся мне девушкой и после спектакля позвал её к себе. Она в ответ на мое приглашение учинила мне форменный скандал, кричала, что она порядочная девушка, и до брака никогда ни с кем... И поехала и поехала...

Впрочем, удивляться надо было скорее не этому, а наоборот тому, что несмотря на расцвет всякого рода «государственных» запретов и яростное партийное утверждение «советской образцовой семьи», всё же находилось много женщин особенно послевоенных вдов, которые по тогдашнему выражению «пускались во все тяжкие».

Я быстро понял, что свобода нравов процветала только в двух слоях питерского женского населения: можно было иметь дело либо с интеллигентными женщинами постарше, либо иногда с девчонками, недавно приехавшими из деревни, которые к «стогу за околицей» были привычны.

А вот девушки из питерской, скажем, мещанской среды были тогда невероятно «правильными». Вольность военного времени они не застали: вольности под заботливым давлением всяческих властей и родителей уже успела улетучиться к тому времени, как они подросли. Так что пожалуй уже в конце первого послевоенного года нравы утвердились самые ханжеские и пуританские.

К сожалению, такие же нравы очень часто бытовали и среди моих интеллигентных ровесниц, а зато женщины постарше (чаще всего невесты или вдовы людей, погибших на фронте) стеснялись ничуть не больше, чем ростовские. Понял я всё это далеко не сразу, но уразумев, решил про себя, что к девчонкам из училища больше не пристаю. Ну их... Вот тогда-то и разразился этот весёлый романчик с Любой Дельмас.

Я был в те времена страшно занят: кроме занятий в училище, я по настоянию Володи Витовецкого посещал ещё и вечернее отделение Педиатрического института. Володя заведовал кафедрой микропедиатрии и мечтал сделать врачом и меня.

В Педиатрическом я познакомился еще с одним социальным слоем женщин — со старшими студентками-медичками и с лабораторными сёстрами. У них старомодной застенчивости не было вовсе: иногда мы запирались вчетвером, а то и вшестером, в прозекторской и учиняли «детский крик на лужайке», правда, не в учебные часы, а совсем поздними вечерами.

Покойники были куда безопасней, чем живые преподаватели. Весь конец сороковых за так называемой моралью следили не меньше, чем за «политической грамотностью». А недостаток что того, что другого карался всеми комитетами, от курсового комсомольского до «госбезопасного», не минуя партийный и профсоюзный!

Простые свободные отношения, (уж не говоря о групповых играх) именовались «моральным разложением». Только что в тюрьму за это нельзя было угодить, а так все политические удовольствия — пожалуйста бритесь! Из института, например, вылететь было за «незаконную связь» очень просто.

Так что пусть лучше уж трупы запертые в холодильных ящиках будут свидетелями этого незаконного и даже скажем, антигосударственного траханья (тогда этого слова не было, а говорили, кстати, «трен» или «баранство»)! Трупы уж точно ни на кого не настучат! Как говорил не то Джон Сильвер, не то Билли Бонс, «мертвые не кусаются». Но в СССР в послевоенные годы было куда важней, что они доносов не пишут.

В память об отце меня часто приглашали в Ленинградский Дом Кино на просмотры и утренники, предназначенные для детей работников «Ленфильма». Особенно было мне интересно, когда на закрытом просмотре год спустя после окончания войны показали «Профессора Мамлока» — лучший из фильмов, в каких работал мой отец. Этот фильм, как я уже говорил, получил какую-то премию, а менее года спустя был запрещён из-за внезапной дружбы «Вождя с Фюрером». Фильм смотрелся после войны чуть ли не как хроникальный. Правда на широкий экран он уже не вышел, поскольку герой его, знаменитый хирург проф. Мамлок (его играл актёр Межинский) был по роли

еврей и фильм был заострѐн не только на антифашизме, но и на теме антисемитизма в предвоенной Германии. А тут как раз в начале 1946 года в СССР начиналась новая, самая крупная за всю советскую историю волна государственного антисемитизма, отлившаяся, как известно в форму «борьбы с безродными космополитами» и завершившаяся «делом врачей». Так что «Мамлоку» опять не повезло...

Нам показывали и старого немого «Багдадского вора» с Дугласом Фербенксом, и какие-то картины с Мэри Пикфорд, и первые короткие скетчи Макса Линдера, и Чаплина, и самые старые русские картины, например, «Процесс о трех миллионах» и «Аэлиту» — блистательны комедии раннего советского кино с неизменными Кторовым и Ильинским.

Увидев крупную и красивую Юлию Солнцеву в «Аэлите», я вспомнил, как однажды давным-давно она была у нас в гостях со своим мужем А. Довженко. Мне было тогда четыре года, я вскарабкался к ней на колени и никак не хотел слезть, меня оторвали от нее со скандалом.

А Довженко с насмешившим меня тогда украинским акцентом сказал отцу: «Ну, знаешь, Пава, в таком возрасте — и не слазить с чужой жены — это уж слишком!». Все расхохотались, а я, естественно, так и не понял, почему. И вот теперь, в семнадцать лет, глядя на старый с искорками фильм, я в Солнцеву-Аэлиту действительно влюбился, но мне после той младенческой встречи так никогда и не довелось с ней больше увидеться.

Мог я посещать и разнообразные кружки при Доме Кино. Я выбрал кукольный театр и бальные танцы.

Кукольным театром руководила Наталья Николаевна Константиновская, знаменитый кукольный мастер, работавшая для всех питерских кукольных театров.²¹ Она учила нас и лепить головы, и шить, и расписывать лица. Куклы имеют свою специфику, так что занятия по лепке голов слабо совпадали с «классическими» уроками скульптуры у меня в училище.

Естественно, мы не только делали кукол — мы еще и играли в разных сказочных спектаклях. Особенно блистал Игорь Клеменков, которого режиссер Кошеверова вскоре взяла на роль

²¹ За исключением театра Е. Деммени, который всегда работал с архаическими деревянными марионетками на нитях (на итальянский манер XVII столетия).

пажа при фее в знаменитом фильме «Золушка». Все, видевшие фильм, помнят ставшую поговоркой фразу: «Я не волшебник, я ещё только учусь»...

А с дочерью Натальи Николаевны Ганной я танцевал в «бальном» кружке.

В начале шестидесятых я опять встретился с Ганной — на этот раз на питерском телевидении. Ганна работала там редактором детских передач. Я до сих пор считаю, что она была одним из лучших редакторов вообще — почти не прикасалась к тексту, не вламывалась в стиль автора, а ведь в то время большинство редакторов тексты изрядно корежили.

Из танцев мне больше всего нравилась мазурка. Танец, в котором от дамы мало что зависит. Нас было около двадцати пар, и к сожалению, мне ни разу не доводилось быть в первой паре. Мне не хватало тонкого мастерства движений. Иногда меня ставили во вторую пару, а чаще в третью, первым же был неизменно Андрей Пунин, ахматовский свойственник, ставший потом тоже историком архитектуры, автор замечательной книги о петербургских мостах.

Назвался груздем... Тут и поклоны, и старинные манеры. Не просто танец, а еще и антураж пушкинских времён. Всем нам это очень нравилось. И до чего же забавно было перескакивать из этого игрушечного мира в тогдашний «уличный», и обратно.

Такая вот двойственность: тут мазурка да гавот, поклоны «дамам», хорошие манеры — не дай бог прикоснуться как не надо — а в ЦПКО на танцплощадке, чуть покрутившись с «дамой», шли с ней в обнимку в ближайшие кусты. Все было быстро и просто... Для красоты и в то же время для упрощения жизни большинство девчонок даже приходили на танцы без штанов. (В послевоенные годы, когда трусиков вообще не существовало, женщины всех возрастов носили лиловые трикотажные штаны, и чтоб сквозь платье не проступали швы да грубые резинки, лучше уж было на танцы приходиться без ничего).

К тому же на танцы, как правило, приходили скорее *за этим*, и приглашение «сойдём, отдохнём» воспринималось односторонне. Конечно, иногда и отказывали, но тоже напрямую — простого «не надо», или «не хочу» было довольно. В таком случае не писанные правила парковых танцплощадок обязывали

сменить партнёршу, сказав: «А жаль. Ну, до следующей встречи» (которой понятно, не было!).

А вот после получаса в кустиках — «садово-парковый этикет» требовал назначить новое свидание, которого потом чаще всего тоже не происходило. Уговор о свидании был попросту «формулой взаимной благодарности».

Но вернусь к кукольному театру. Мы с моим приятелем и однокурсником по Реставраторскому Училищу Валея Кирилловым затеяли в порядке самодеятельности устроить свой, училищный театр. Сделали кукол. Валя не хотел ставить большие сказочные спектакли, его сатирической натуре больше подходили короткие неожиданные номера. Так что начали мы с того, что показали несколько басен Крылова — всё было прекрасно, и успех у зрителей, и благосклонные улыбки начальства...

А потом поставили мы с Кирилловым спектакль «Письмо няне» по пушкинским стихам. Я расскажу об этом подробно, чтобы у читателя возникло представление о нравах конца сороковых...

Итак, музыка «Буря мглою». На ширме старуха — кукла примерно сантиметров восьмидесяти с веретеном в руках. Рядом прялка. Внизу перед ширмой круглый старинный столик и табурет. Из-за ширмы выходит живой актёр, молодой Пушкин — садится, слушает музыку.

Потом начинает писать под стихающую музыку, читая вслух текст своего письма: «Подруга дней моих суровых...». К концу стихотворения мелодия усиливается, и мужской голос из-за ширмы поёт «Буря мглою небо кроет». Когда романс доходит до последних двух строк, на словах «где же кружка?» Пушкин, бросив перо на столик, встаёт спиной к ширме и жестом, как на репинской картине, подымает кружку, относя ее от себя на вытянутой руке. Последние строки повторяются, и тут кукла-няня, перегнувшись через край ширмы, выхватывает у него эту кружку и выпивает. Удивлённо оглянувшись на няню, Пушкин в унисон со скрытым певцом повторяет: «сердцу станет веселей». Занавес.

Пел и водил куклу Валя, а я с приклеенными бакенбардами изображал Пушкина.

Так вот эта наша весёлая и лиричная шутка подняла бурю в стакане воды в полном смысле этого слова. Директор, замполит, все партийные преподаватели (и не только партийные), и, уж

конечно, вся комсомольская организация в полном составе стали собирать срочные собрания, говорить об оскорблении русского народа, о пропаганде пьянства, об оскорблении Пушкина, об антипатриоти... Ну, в общем, полный набор, после которого наш театрик запретили, а Вальо Кириллова выгнали из комсомола, он едва в училище удержался. Я к счастью в тот период в комсомоле «не состоял»...

Был 1947 год. Жданов громил журналы «Звезда» и «Ленинград», вслед за Ахматовой и Зощенко травили ещё пару десятков литераторов... Пересказывать все эти события не стоит, они общеизвестны. Как писал позднее Б. Слуцкий: «Когда русская проза пошла в лагерь...» И не только проза. И не только в лагерь. Бывало и прямо на тот свет, как великий актёр М. Михоэлс, за гибелью которого последовала новая «кампания» — дела «космополитов». И так без перерыва до марта 53 года. Тогда говорили так: вся страна будто в трамвае — треть сидит, остальные трясутся.

Мне оставался год до аттестата, и шёл бы я точно на медаль, но только по литературе у меня была тройка! Это обстоятельство страшно удивляло моего кузена Борю Маркуса, историка по образованию и бывшего «ифлийца». Боря после войны так и не демобилизовался и носил погоны подполковника, хотя был уже теперь не политруком, а преподавателем политэкономии в военном училище. По довоенной аспирантской ифлийской памяти любил стихи Пастернака и Луговского, читал их мне и не мог понять, как я совмещаю вполне зрелые суждения о стихах с неизменной тройкой по литературе.

А тройка была из-за Тургенева: ну не мог я заставить себя читать его сентиментально-нравоучительные романы...

Другой же кузен, профессор Володя Витовецкий, был по моему моей тройке по литературе втайне рад. Уж с такой-то оценкой мне точно не попасть ни на какую филологию, и придётся пойти сразу на третий курс его дражайшего Педиатрического института...

Сложилось все иначе. Я попытался поступить на режиссёрский в Театральный институт — не взяли. Брали только людей с актёрским стажем. Потом на журналистику — тоже не взяли: смешанное происхождение подвело... Так и оказался я на персидском отделении Восточного факультета.

А незадолго до моего поступления я в какое-то воскресенье удостоился визита замполита Училища с подручным, которые потребовали, чтобы я явился на распределение — тогда ведь на место работы, как крепостных, под страхом суда назначали.

Замполит потребовал, чтобы я отдал ему мой аттестат зрелости, пообещав вернуть его только, когда я подпишу своё распределение. Я сказал, что все документы в Университете, куда я сдаю экзамены. «Это в котором университете?» — заорал замполит. «Да я знаю, это тот, что на Васильевском», — успокоил его более образованный «шестёрка» — «пойдем и заберём!». С такими угрозами они от меня вышли, к ужасу соседей громко хлопнув дверями.

Естественно, никуда они не пошли: тогда даже в армию абитуриентов не призывали, какое уж там распределение! А ведь если бы я отдал им аттестат — никаких возможностей учиться дальше, кроме как поступать на заочный, у меня бы не было. Я тогда так жаждал студенческой жизни, что расценивал заочное, как настоящую катастрофу.

Да ко всему прочему, Володя Витовецкий так на меня обиделся из-за того, что я не пошёл в медицину, что даже прекратил мне помогать, так что я готовился жить на одну стипендию, которой при жесточайшей экономии хватало на неделю... Но удача порой падает с неба.

Один мой приятель играл на саксофоне в каком-то ресторане на углу Суворовского и Староневского. И вот узнав от меня, что во время войны я полгода был барабанщиком в военном училище и в полковом оркестре, он позвал меня играть в их джаз-квартете. Я довольно быстро освоился с джазовой манерой и три вечера в неделю не только получал неплохие деньги (посетители, заказывавшие музыку, кидали на эстраду десятки, а иногда и полусотни), но после работы нас ещё кормили и бесплатным обедом на ресторанной кухне. Кормили по тем временам сказочно.

А к Витовецкому я с тех пор заходил, несмотря на частые приглашения, только раз в год, в его день рождения, причем всегда с таким подарком, который явно показывал, что я никак в его помощи не нуждаюсь.

Одновременно со мной на отделение ассириологии и гебраистики Востфака поступил мой троюродный братец Саша Гитelson, с которым я до тех пор был знаком довольно шапочно.

Между нами началась «идеологическая война». Вот очень приблизительно его тогдашние высказывания: «Ну что это за стихи, романтика да гнилая лирика, рыцари всякие, баллады! А знаешь, есть такой Миша ***, вот он пишет! Вот его «Алые паруса»!» И цитирует мне какую-то верноподданную чушь, из которой помню только конец: «Вместо паруса в сказке в руках наших алое знамя,/ вместо берега в сказке его видит весь шар земной». Ну что тут можно было сказать? Я только и заметил, что парус в руках — не самый грамотный образ...

После того, как меня выгнали в конце первого курса за то, что я пять раз подряд провалил зачёт по арабскому, а вовсе не за политику, мы с Сашей практически не общались до 1972 года. А в 72 году я позвонил ему в Израиль из Питера с обычной по тем временам просьбой о вызовах нескольким друзьям.

Саша был к тому времени не только свеженьким израильянином, но уже и главным редактором журнала «Сион». Говорил он со мной несколько свысока, как многие «пошедшие по правильному пути» без года неделю израильяне разговаривали в те годы сверхсоветским тоном с «гоями» или с «евреями-изменниками», ехавшими «мимо» Израйля.. Но с десятков вызовов Саша по моей просьбе всё же сделал. И на том спасибо...

Потом его израильский патриотизм улетучился, как до того советский, и он оказался в роли американского журналиста. Больше он отнюдь не настаивал, что всех так называемых «прямиком», то есть уехавших по израильскому вызову не в Израиль, а именно в Америку, надо отлавливать и гнать на «доисторическую родину». Последний раз мы с Сашей виделись в Париже в 1989 году на самой последней конференции «Континента».

ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА — КУДА ТАМ ДИККЕНСУ!

(1948—1949)

Элла и музеи. Ненасытная Марианна. Разгром Востфака,

Опальный академик Веселовский под знамёнами.

Прототип Штирлица. М. С. Довлатова. Дело и деградация

Семёна Ботвинника. «Так жили поэты». Черубина Вторая

Моя однокурсница по Востфаку, египтолог Элла Фингарет, по факультетской кличке «баронесса», вслед за моим отцом стала приучать меня внимательно вглядываться в классическую живопись.

Как ни странно, я её даже слушался, хоть и не знаю, чем объяснить её особое влияние на меня. Ну, не тем же, что она года на полтора старше? Прошло более полувека, но и теперь Элка говорит, что она тогда была «вполне обыкновенной и даже наивной». О наивности не скажу, а вот две косички всё же были...

Спустя двадцать лет после моего отъезда «навсегда» из СССР и через два года после её переселения в Израиль, мы встретились в Париже, (кажется году в 1999) и Элка вдруг напомнила мне некоторые строчки полувековой давности из моих первых стихов. Она справедливо сказала, что я писал кучу дрянни, но тут же заметила, что ей и тогда, мол, было ясно, что можно от меня было ждать и чего-то получше.

Знакомство с ней на первом курсе я попытался начать моим обычным способом, но она сразу резко отмахнулась от этих «дуррацких ухаживаний» и стала вместо этого таскать меня по всем музеям и выставкам, какие только были тогда в Питере.

Выставок бывало совсем немного, и всё русские или советские; западную живопись можно было увидеть только в Эрмитаже, и то все кончалось серединой XIX века — барбизонцами, к ним советские граждане были допущены, а вот ни импрессионистов, ни более поздних художников в сороковых-начале пятидесятых просто не существовало. А Элла научила меня проглядывать ругательнейшие антизападные статьи в журналах «Искусство» и «Творчество». Дело в том, что каждая статья сопровождалась хоть одной репродукцией того, что обругивалось. Только так можно было составить себе зыбкое представление о том, что за пределами «великой и могучей» есть искусство!

Элла увлечённо училась на египтологии, и стены у неё в комнате были разрисованы черными котами и какими-то иероглифами. Живая кошка тоже была чёрная! Очень ей шло всё это — даже глаза у нее были длинные, заходившие почти что на виски, как на древних египетских изображениях.

Своих претензий на близость я больше не повторял, и мы с Элкой быстро и верно подружились — я потом даже показывал ей некоторых своих девочек. Умная Элла в два счёта объясняла мне, с кем вообще не стоит иметь дела, ну, разве что на «одноразовые игры».

У неё самой тогда в течение долгого времени, был кто-то один, кажется на много лет старше её, но кто — оставалось неизвестным для меня, как и для всех её немногочисленных друзей.

Но и она знала далеко не все мои связи.

* * *

Как-то раз я буквально столкнулся в узком коридоре филфака с одной очень яркой дамой. Мы остановились, рассмеялись и несколько секунд внимательно и оценивающе разглядывали друг друга.

Через несколько дней я, выходя с занятий и увидев издали её высокую причёску и яркий костюм, подошёл (почти подбежал) к ней и поздоровался, как со старой знакомой. Она спросила, кто я такой, а потом и сама представилась. Была она по должности старшим преподавателем и вела спецкурсы по французской литературе. Назовём её Марианной.

Мы разговорились, разговор каким-то образом перешел на французское искусство, и она пригласила меня к себе «посмотреть старинные гравюры». С тех пор я стал у неё бывать. Разговоры наши раз за разом делались всё доверительнее, темы расширялись, и наконец на четвертое или пятое посещение я решил, что к ней можно попробовать и поприставать.

Марианна поняла меня с полуслова и, не кривляясь, тут же распахнула дверь в спальню, ввела меня туда, полуобняв за плечи, и стала раздеваться. Раздеваясь, спросила, чего это я так долго стеснялся, она, оказывается, давно ждала моего первого шага. Потом подошла к шкафу и откуда-то из-под белья вытащила

несколько бумажных пакетиков. Это были презервативы. Я до сих пор ни разу презервативами не пользовался, как-то не случилось.

Марианна тщательно просмотрела пакетики, а когда я спросил, что она такое на них читает, отмахнулась, и сказав «потом, потом», сняла с меня трусы. После этого разорвала один пакетик и сама, как она выразилась, «облачила меня в доспехи».

Через парочку довольно буйных часов (на коврике уже валялся не один презерватив), отдыхая, она вдруг хихикнула и сказала: «а ты знаешь, что у тебя третий номер?».

Я не знал, что у гондонов бывают номера, и заинтересовался, а сколько же их всего. Она объяснила, что четыре, и что четвёртый номер годится только для одного её друга Сани. А так чаще бывают всё вторые, да третьи.

И тут же заявила, что если я хоть чуть-чуть взревную, выпонит меня взащей.

Так вот и сказала «взащей», а после моего заверения, что ревновать я даже не умею, да и вообще «повидал Крым и Рим, и медные трубы», возразила, что уж Рима-то я точно не видал и едва ли увижу.

И спросила уже напрямую, хочу ли я быть четвёртым и «ухарскую тройку», с которой она до сих пор развлекалась, превратить в квартет. Со смехом добавила, что третьих номеров надо тогда не забыть прикупить, поскольку теперь нас будет «три члена квартета с третьими номерами».

Когда я пришел к Марианне в следующий раз, у нее в столовой уже сидело трое ребят. Одного я знал, он был тоже с Восточного, но с четвёртого курса. Это оказался тот самый «Саня с четвёртым номером».

Марианна мне, как новенькому, первым делом объяснила правила игры: пока один из нас с ней в спальне, остальные трое попивают в столовой грузинское вино, но в спальню ни под каким предлогом не заходят. Только, сидя в столовой, чур не одеваться: «одна заря сменить другую» должна в несколько секунд.

Первым она позвала в спальню Саню. А мы сидим гольшом и попиваем. Потом каждого из нас она пригласила в свою очередь раза по три, и так незаметно прошла ночь. Марианна была действительно неумоима, кроме неё я за всю свою жизнь видел, пожалуй, только двух таких женщин...

Муж Марианны погиб на фронте, а очень немолодой любовник, с которым она жила к тому времени два года, её «не полностью устраивал», да и приходил нерегулярно, часто в командировках бывал. «А сытой быть каждой бабе хочется» — это была её поговорка. И ещё: «именно свободой в постели мы крадём нашу жизнь у партии и правительства».

Что мне в ней нравилось больше всего, так это вольная, почти циничная беззастенчивость с теми, кто был ей «свой, совсем свой». Посторонних же она держала на максимальном расстоянии, поддерживая свою вполне ортодоксальную «партийную репутацию».

Время было самое худое, и, прознай кто-нибудь посторонний про наше «моральное разложение» — конец и её карьере в университете, и нашим тощим карьеркам. Совсем недавно с третьего курса исключили одну пару только за то, что они, сняв частную комнату, жили вместе без регистрации брака! Бытовало тогда и такое вот высказывание: «кто изменяет жене, тот изменит и Родине!».

* * *

Шел 1949 год.

Казалось, что после гибели под допросами профессора Гувовского, после увольнения ещё нескольких «космополитов», после расправ с Томашевским, Эйхенбаумом и другими звёздами филфака, в основном специалистами по русской литературе, тучи не могут стуснуться еще больше. И вот после кампании против «преклонения перед западом» взялись и за восток, то есть за Восточный факультет. И здесь имелась куча разных «безродных космополитов», которых надо было удалить с профессорских должностей, да и с доцентских тоже.

Для проведения «экзорцистского сеанса» приехал из Москвы некий доцент Люциан Климович с жирным, как у Джона Сильвера, круглым лицом. Он сделал доклад, в котором смешал с грязью великого востоковеда, одного из первых мировых специалистов в арабистике, почетного академика чуть ли не десятка академий Европы, Игнатия Юлиановича Крачковского, только что завершившего перевод на русский язык полного канонического текста Корана.

Климовича мы тут же, с лёгкого словечка студента-арабиста третьего курса Авы Лундина, прозвали Клеймовичем. Все знали, что когда-то Крачковский не взял этого мелкого комсомольского вождишку в аспирантуру, что в результате «Клеймович» окончил аспирантуру вовсе не на Востфаке, а в какой-то из московских совпартшкол. Естественно, это ему не помешало служить в области востоковедения каким-то партийным боссом. И вот теперь он прибыл свести счёты. И свёл.

Академик стресса не выдержал. После этого собрания он почти нигде не появлялся, а через два года умер от инфаркта.

Разгром Востфака не ограничился одной жертвой, пострадали еще несколько профессоров, и чем крупнее было имя, тем больше травили. Около года травили ассириолога академика В. В. Струве, тут вцепились в то, что у него были слишком видные родственники в Америке и во Франции. Василия Васильевича называли недобитым белогвардейцем и другими приятными словечками, на которые партия всегда была щедра. А «первый африканист Советского Союза» профессор Ольдерогге угодил, кажется вторично, в ГУЛАГ, где ему ещё повезло: он там работал банщиком...

Доцентам было легче, их попросту без разговоров выгоняли.

«Преклонения перед востоком» всё же не придумали, видимо, «мудрейший корифей всех наук» не очень любил повторяться, так что востоковедам приписывали «буржуазный национализм». Он выражался, например, в приписанном им желании «отделить от СССР Азербайджан и присоединить его к монархическому Ирану», а все среднеазиатские республики «ориентировать на иностранные единопольные им державы» (псевдоним Турции).

На третьем курсе студентов-востоковедов обычно разделяли на четыре специальности: лингвисты, литературоведы, историки и экономисты. И так по каждой изучаемой на Востфаке стране.

Такое разделение дало прекрасную возможность довершить разгром факультета: всех студентов-историков отправили на Истфак, экономистов — на Политэкономический факультет, и таким образом, на Восточном осталась примерно треть бывших студентов.

Отделение «ассириологии и гебраистики», по выражению И. М. Дьяконова, тогда ещё доцента, «подверглось обрезанию: остались одни засери-олухи» (ассириологи). Гебраистику же сократили до нуля²². Но и этим дело не кончилось. Генеральное избиение профессоров всех гуманитарных наук было ещё впереди.

* * *

Всех студентов и преподавателей филфака, востфака и ещё каких-то «факов» собрали в колонном зале Университета. Не помню, кто делал погромный доклад, но хорошо помню, что студент третьего курса факультета журналистики Женя Воеводин, сидевший на балконе в трех шагах от меня, все ладони отбил.

Больше всех досталось последователям академика Веселовского за его «теорию бродячих сюжетов»: мол, какие там ещё бродячие, когда в России свой собственный фольклор, только свой собственный и никаких таких «золушек» нам с гнилого запада не принесли! Ну, в общем, всё шло по возникшей чуть позже поговорке «Россия — родина слонов».

Страшно и стыдно было смотреть, как один за другим к трибунке выходили наши любимые профессора и «признавали ошибки», «каялись», «осознавали». Кто что говорил, не помню, но одно врезалось: как стоял на трибуне, переминаясь с ноги на ногу, словно школьник, Виктор Максимович Жирмунский, профессор с мировым именем, тот, что когда-то написал первую рецензию на первую книжку юной Ахматовой. Стоял и никак не мог выдать из себя идиотских покаянных слов. Наконец пролепетал что-то там про то, что партия, мол, велит нам работать, так будем работать. Потом помолчал несколько секунд и грузный, ссутулившийся, спустился в зал неровными шагами.

Кто-то из студентов, сгрудившихся на балконе, вполне искренне удивился, чему, собственно, мешает изучение ну хоть Новалиса, тут к нему обернулся Воеводин и объяснил, что вот западный человек, он, к примеру, «под Бетховена какого-нибудь и обедает, и спит, и барается, а нам это ни к чему: у нас есть Чайковский и Дунаевский». Его иронически поправили, что Ду-

²² Сашу Гительсона перевели на русское отделение филфака, а куда остальных троих — не знаю.

наевский слишком быстрый темп любит, «трудно у койке за ним поспеть», а главное, он ведь тоже того, «космополит» слегка! Воеводин на это с полной серьёзностью заметил, что Дунаевского космополитом (что значило на тогдашнем партволапюке просто «еврей») партия пока не считает. Кругом, естественно, грохнули, а Воеводин, расвирепев, зашипел, что шуметь на таком важном собрании никому не позволено, и «вы все ещё заплатите!».

Объявили перерыв. Мы с моим приятелем, студентом-юристом второго курса Геней Порховником, вышли на лестницу и увидели, что на площадке, расположенной выше входа на балкон, валяется гипсовая статуя академика Веселовского.

То есть, пока шла первая часть собрания, Веселовского уже успели вынести из пятисотметрового главного коридора, где он стоял среди других знаменитых учёных (там было по статуе в каждой простенке между окон), пронесли полкоридора, да ещё и втащили на самую верхнюю площадку лестницы.

Одна и та же идея молнией мелькнула у нас обоих.

Мы слегка задержались после конца перерыва, и когда все ушли в зал, мы по возможности бесшумно спустили нетяжелую трехчетвертную статую на два лестничных пролёта, туда, где под знамёнами стоял бюст Ленина, мгновенно сняли бюст и водрузили под знамёна Веселовского. А Ленина унесли наверх.

После этого, чтоб не возвращаться в зал, обращая на себя внимание, и чтобы не проходить мимо швейцара, дежурившего у выхода на набережную, мы осторожно ушли в университетские дворы дожидаться конца собрания.

Мы не сомневались, что скандал будет громкий и не на один день! Ведь и студентов, и профессоров, и обкомовцев и эмгешников, выходявших с собрания, улыбкой из-под знамён встретил не Ильич ихний, а только что изничтоженный академик-космополит!

Мы же, когда собрание кончилось, пробрались в суматохе наверх, на балкон зала, откуда и вышли почти последними. Какие-то ответственные уборщики уже несли веревки, чтоб стащить Веселовского, кто-то возмущался, а на улице многие студенты едва удерживались от смеха. Так что авантюра удалась как нельзя лучше, и мы не сомневались, что отлично спрятали концы в воду.

Шум длился с неделю и как-то сам собою затих, поскольку виновных не обнаружили. А полторы тысячи человек увидели, что не все у нас Воеводины!

Позднее, когда Женя, как и его отец, стал советским и очень даже советским писателем²³, по Союзу писателей, а потом и по всему городу, стала ходить чья-то эпиграмма:

«Дорогая родина,
Чувствуешь ли зуд?
Оба Воеводина
По тебе ползут».

Её приписывали Михаилу Дудину, но как-то мне не верится: нипочём не стал бы острословец Дудин задевать таких опасных стукачей. Вот на меня эпиграммка — иное дело, тут уж точно безопасно. И Дудин, которому нельзя было отказать в остроумии, её выдумал: «Бетаки — таки Б».

Но о Дудине подробно рассказано и в «Спасённой книге» Льва Друскина, и в «Барселонской прозе» Ефима Григорьевича Эткинда...

Так что не буду на него отвлекаться.

Что же до Е. Воеводина, так ведь это в 1964 году именно он, будучи секретарём комиссии по работе с молодыми писателями, смастерил фальшивое «решение комиссии» по поводу Иосифа Бродского и сыграл отнюдь не последнюю роль в этом мерзком судебном процессе. Как и его подручный, пиит-геолог Лев Куклин.

* * *

Вот вспомнил Воеводина и захотелось рассказать про то, что и в конце сороковых годов не всё было так мрачно. К счастью даже тогда мне доводилось встречать светлых людей.

Поэт Игорь Ринк. Тогда студент факультета журналистики. Старше меня лет на шесть или на семь, воевал, да не просто воевал — у него было два родных языка, немецкий и эстонский, а русский уже третий, и он, лейтенант Красной армии, более года

²³ Что он написал, так я и не удосужился узнать... Папаша-то его с «братьями какими-то» сочинял сценарии, кажется, о подвигах ГБ.

«прослужил» у гитлеровцев в форме капитана СС, наводя по радио советские бомбардировщики на разные объекты.

И вот этот член партии, этот «Штирлиц задолго до Штирлица», как позднее сказал о нём всегда высокопарный Евтушенко, жил под одним личным лозунгом: «Нет, чёрт побери, разве я за это воевал?»

Игорь Ринк и привёл меня в литкружок при Ленинградском отделении издательства «Молодая гвардия», которым руководила тогда редакторша издательства, блестящий знаток всей русской поэзии Маргарита Степановна Довлатова. Этот кружок назывался «центральным объединением молодых писателей».

У Маргариты Степановны были два племянника: старший Боря, впоследствии режиссер и авантюрист, не раз сидевший за мелкую уголовщину, и «маленький» Сережа²⁴, позднее писатель Сергей Довлатов. Тогда мы и познакомились. И не одну смешную и злую эпиграмму на разных литераторов вместе с Серёжей «запустили в эфир»...

Большая же часть кружковцев были люди совсем недавно демобилизованные, ещё молодые, но крепко ударенные тем, что война прервала их жизнь, их планы, — всё то, что так необходимо в юности, отложилось у них на четыре, а то и на пять лет. Отсюда и разные комплексы, и жадное желание догнать²⁵.

Всё это понятно, но трудно было вынести то, что среди этих молодых писателей очень многие были не только бездарны, но и злостно безграмотны. Они пробивали себе дорожку вульгарной демагогией, с которой ничего нельзя было поделаться: против лома нет приёма! Они напоминали всем, что происходя «от сохи и станка» и пововав, они имеют право... И травили каждого литератора, в котором можно было заподозрить следы интеллигентности, а сами были в полной безопасности, ибо расхаживали по издательствам с толстыми пачками вырезок из дивизи-

²⁴ Это по возрасту: ведь Сережа и тогда был немалого роста...

²⁵ «а потом в разноцветных нашивках
Принесли мы гвардейскую статью,
...и женились на разных паршивках,
чтобы всё поскорей навестать» —

так писал А. Галич в знаменитой песне «Поколение обречённых». Песня эта, кстати, дала название его первой книге, вышедшей на Западе.

зионных газеток. Ну как могли издательства отвергать эту графоманию? И издавали их наперебой. Только вот читать эту негленку чаще всего было некому...

Вот один пример этой «классовой» борьбы за карьеру.

Звездой кружка был молодой военный врач Семён Ботвинник, только что выпустивший первую книгу. Книга его стихов, вышедшая в 1947 году, называлась попросту: «Начало». И поначалу (по «Началу») не только мне, но и другим, кто постарше, показалось, что появился крупный поэт.

Потом Ботвинник писал всё зауряднее и хуже, схалтурившись, по-моему, на «подстрочничестве», то есть на переводах существовавших и, главное, НЕ существовавших поэтов из так называемых «народов СССР».

Ну а по первой книге нипочём нельзя было заподозрить, что Ботвинник так скоро полиняет! «Начало» начиналось не ахти как:

Всего-то двадцать четыре года,
Окончили школу перед войной...

И, наверное, половина стихов в этой книжке были обычно-казёнными, безликими, но мы, восемнадцатилетние (Т. Никитина, В. Британишский, А. Городницкий, Ф. Нафтульев и др.), не обращали на это внимания, ибо рядом с дрянью «сов, соц., и проч.», было у Семёна и такое:

Чугунные цепи скрипят на мосту,
Последний гудок замирает в порту,
Уходит река в темноту...

Но ты побывай на свету и во мгле,
Шинель поноси, походи по земле,
В огне обгори, и тогда —

Услышишь, как цепи скрипят на мосту,
Как долго гудок замирает в порту,
Как плещет о камни вода.

Цитирую по памяти... Или вот ещё другое:

Немых предметов не было и нет:
Шурша, ползёт сиреневый рассвет,
Шумят леса, не ведая покоя,
Всю ночь бубнит ворчливая вода,

Свистят снаряды, стонут поезда,
И мёртвые кричат на поле боя.

В «Избранном» 1983 года автор умудрился испортить и забаналить и эти стихи. Зато обложка стала с золотым тиснением, только никто его давно уже не читает... Молодой дерзкий поэт 48 года к началу шестидесятых постепенно впал в государственно-партийно-промышленное косноязычие и стал неотличим от тех, кто за несколько лет до того его травил...

Но в конце сороковых, когда мы были уверены, что поэзия убита, появление первой книжки Ботвинника стало для нас праздником. А вот официально такое именовалось «нездоровый ажиотаж». Со всеми вытекающими последствиями.

На очередное собрание кружка пришел некто незаметный, безвозрастный, в тёмном костюме. Больше о нём сказать нельзя было ничего, этот человек вполне годился в шпионы: «примет особых» не наблюдалось... Отглаженный как на именинах, критик Аркадий Эльяшевич, известный среди молодых и немолодых литераторов, как «профессиональный» стукач, ссутулившись от почтительности, встретил этого незнакомца, усадил и как-то невнятно всем нам представил. Оказалось, что он из обкома комсомола²⁶.

Довлатова сидела, уставившись в стол, и всё собрание молчала. Вид у неё был такой, будто это её, а не Ботвинника, «прорабатывают». Суетилась, вертлась на месте, решительная, резкая тощая и коротко стриженная Наташа Грудинина, недавно демобилизовавшаяся радистка и пулемётчица. Казалось, будь у неё тут привычное оружие, она его в защиту друга пустила бы в ход немедленно!

Позднее, почти через двадцать лет, она с ещё большим рвением, но с таким же, к сожалению, нулевым результатом, кинулась организовывать защиту Иосифа Бродского. Навсегда осталась она «человеком со шпагой», как сама прозвала в шестидесятых нашего общего приятеля Михаила Глинку.

«Проработка» Ботвинника свелась к тому, что после нескольких дежурных слов гебешника о бдительности, выступил «молодой» пиит из того же «воевавшего поколения», Михаил Сазонов. Он поведал собранию о том, что когда на днях группа молодых,

²⁶ Обычный в таких случаях на таких собраниях «псевдоним» гебешника.

командированная (так он и сказал командированная) на экскурсию по Москве, в первый же день отправилась в мавзолей Ленина, Ботвинник пошёл в гости к Пастернаку, словно не знал, что Пастернак «враг народа», что он по собственным же его словам «выковыривает изюм из жизненной сайки». Через фразу Сазонов напоминал о том, что сам он, как рабочий, не позволит. Занятно, что в газетах, официально, Пастернака в тот момент как раз не клеймили. Его попросту приказано было не замечать.

Важный, недавно опубликовавший где-то два стишка, студент — юрист Юрий Голубенский кивал головой, надувал щёчки и картинно двигал по столу бежевую велюровую шляпу. Ему ужасно нравилось то, что Сазонов говорит, и завидовал он Сазонову, хотя тот ещё ни строчки нигде не опубликовал, но зато ведь Сазонов рабочий, а вот ему, Голубенскому, вечно надо стыдиться своего интеллигентского (да ещё и еврейского!) происхождения, которое закрывало в то время многие приманчивые дорожки.

А поэт Лев Мочалов, тогда студент Академии Художеств, шепнул мне на ухо: «Нет, никогда они не поймут, что не бывает стихов токарских или шофёрских, а есть просто стихи».

Не обошлось, конечно, и без Воеводина.

Тут-то я, обычно эпиграммы писавший не часто, накарябал на листке и пустил по рукам друзей эпиграмму «Как Ботвинника сделали космополитом»:

Воеводин верховодил,
Торопыгин торопил,
Голубенский приголубил,
А Крестинский окрестил.

Два имени нуждаются в пояснении. Володя Торопыгин был очень плохой поэт, но позднее, в шестидесятых, стал очень неплохим редактором журнала «Аврора», не раз проявил себя, как человек достаточно порядочный, и будучи не завистливым, многим помогал печататься. К сожалению, однако, в «деле» Е. Г. Эткинда он показал себя скотиной, или трусом (похоже, что в данном случае это синонимы).

Внешне выглядел он двойником другого Володи — Максимова, с которым я познакомился на четверть века позднее, уже в Париже. Даже ходил так же — вперевалку. И в таких же тща-

тельно отутюженных серых костюмах. И так же не шли ему очки, которые напяливал он, читая что-нибудь.

Что же касается Саши Крестинского, ставшего потом детским писателем, то он, честно говоря, к описанному событию имел только то отношение, что присутствовал на собрании, как, впрочем, и я. Когда я извинился, что созвучие обязало меня использовать ни за что ни про что его фамилию, Саша только засмеялся.

Не могу удержаться и не привести цитату о Ботвиннике из «Спасённой книги» Льва Друскина (1984 г.): «Спина этого ещё не старого человека согнулась от угодничества. Когда из подъезда выходил отдувающийся Прокофьев²⁷, он бросался вперёд, спеша распахнуть перед ним дверцу машины.

А ведь Ботвинник — врач, человек со специальностью, казалось бы, чего уж так выслуживаться?»

И всё-таки Ботвинник всё более жил, как говорил по другому поводу Салтыков-Щедрин, «применительно к подлости». И так жалко, до сих пор мне жалко, что сломали человека, который, как я и теперь думаю, мог стать настоящим крупным поэтом. Но не стал. Ну что ж — как сам он в той своей первой книжке писал —

Видно, и к стихам такого рода
Нет на свете чёткого конца...

Права была М. Цветаева, когда писала, что поэт должен иметь «не только творческий талант, но и талант личности». Ведь только таким удалось не испугаться, выдержать гнев дураков, шаблонную бессмысленную ругань, или соблазнительное испытание возможностью напечататься хорошими тиражами. Я знаю среди моих ровесников людей, которых эта «роль на сопротивление» даже закалила²⁸, да ещё и научила «эзопову языку», который тут же, выйдя за пределы борьбы с цензурой, обо-

²⁷ Александр Прокофьев — поэт не бездарный, но мёртво безграмотный и очень услужливый, за это и держали его власти почти двадцать лет председателем Ленинградского отделения Союза Писателей, пока писатели всё-таки не скинули Прокофьева на выборах. Говорили, что за каждую новую рифму к слову «Россия» он платит по пятёрке.

²⁸ Термин этот сформулировал Немирович-Данченко, намеренно давая актёру никак не подходящую ему на первый взгляд роль.

гатил и образную систему, и ассоциативное мышление некоторых настоящих поэтов.

Иные же, творчески, может быть, исходно не менее сильные, но слабые человечески, и личностно предназначенные к совсем иному бытию, не выдержали борьбы с голиафом...

Никому до сих пор неизвестно, скольких потенциальных поэтов и прозаиков убил идеологический диктат, скольких обычная «нестрашная» бюрократия, а сколько было затоптано неграмотными и никчёмными «рабочими поэтами», или как называли их «литераторами от станка и сохи» (на самом деле приспособленцами, ни станка, ни тем более сохи в жизни не видавшими). Но именно они по своей воинствующей бескультурности оказывались «классово близкими» советским чиновникам всех рангов. И поэтому быстро делали свои эфемерные «литературные» карьерки, с одобрением верхов топтали всех «сомнительных», кто попадался им на дороге.

Стихи того времени в основном представляли собой жвачку, крикливо-маяковскоподобную по содержанию, набитую верно-подданническими зарифмованными формулами, а иногда, — если лирика, — столь же идиотическими любовными формулами, и уж точно ведущими прямым ходом в загс. Как позднее выразился кто-то из поэтов, это были «душещипачёвские стихи». Но всё это было написано пушкинскими ямбами, во избежание преступного формализма.

Если сейчас поглядеть на поэзию того времени, то возникает впечатление, что насквозь новаторского бунтарского искусства начала XX века просто не было. Более того: после Пушкина и Тютчева мозолил глаза колоссальный столетний провал, на другом берегу коего суетились сплошные «иваны бездомные» — все эти псевдонимно-ёмкие «безыменные», «бедные», «жаровы» или «светловы»... И даже самые робкие попытки, ну, хоть искренности что ли, «вредакциями» воспринимались на их фоне, как подозрительная смелость и свежесть.

Но принадлежность к писательской братии давала и престиж, и бутерброд с маслом... Сколько же тогда возникло «литераторов», обивавших пороги редакций, потрясавших пачками вырезок из дивизионных или полковых, а заодно и послевоенных заводских газеток-многотиражек!

И, глядишь, в результате демагогических демаршей начинали потом эти «поэты» выпускать книгу за книгой. Если же та-

кие «литераторы» были к тому же особенно безграмотны, то они были самые опасные. Порой они даже начинали всерьез верить в свою исключительность, в свое право вершить суд, и пропагандировать истерически все то, что им долдонили на собраниях и по радио.

И о том, что я самый геройский герой
передачу охотно послушаю...

А. Галич

И вот оглохшие от «маршей энтузиастов» и всяких «песен о встречах» именно эти люди заняли место тех, кого их руками уничтожили. Место не в литературе, конечно, а «место в писательской иерархии». Безграмотность этой эрзац-поэтической дивизии возводилась в достоинство; даже теориейки возникали, суть которых была в том, что «писать от культуры» может всякий, а вот писать, ничего не читав — только гений от сохи или от станка...

Насмотревшись на этих людей, я сформулировал для себя, что делая из «народа» идол, идеологи превращают его в «идолище поганое», каковым он надолго и останется...

* * *

Авантюра со статуей Веселовского ещё больше сблизил нас с Геной Порховником. В нас обоих сидела некая любовь к театральности, и нас, конечно же, крайне занимал полузапретный серебряный век. И вот нам захотелось иметь свою Черубину. Для этой роли мы выбрали Генкину подружку Гаю Ценину. Выглядела Галя очень романтически: изящная, миниатюрная, черноволосая с демоническими глазами. К сожалению, только срифмовать не могла и двух строчек.

«Галины стихи» мы сочиняли вдвоём с Порховником. Получалось полуподражание, полупародия на Ахматову, в те времена находившуюся почти под запретом. Галя обладала врождённым умением эффектно выглядеть на публике. Так что на «квартирных» чтениях она очень смотрелась. А квартирные чтения, по крайней мере, в нашем кругу тогда, в 48-ом—49-ом, впервые стихийно возникли, это было хоть какое-то, хоть робкое, но все же противостояние всеобъемлющему «официальному духу» и контролю.

Неуловимый дух недозволённости звучал в стихах, которые Галя почти напевала мягким контральто, и полумрак намеренно слабо освещённых комнат эту недозволённость подчеркивал. А стихи были приблизительно такие:

Любовь проста. Есть миг почти случайный.
После него нам нет пути назад.
Ты не найдёшь загадки или тайны
В открывшихся навстречу нам глазах.
Своей души раскидывая вёсла,
Ты поплывёшь неведомо куда,
Любовь проста. Она приходит после
Вчерашнего....

А если вспомнить, что минимум лет пять тянулось в нашей истории время, когда слово «лирика» было бранным, когда лирику не только почти не печатали, но, пожалуй и писали-то существенно меньше, чем в нормальные времена, то наши игры покажутся даже довольно опасными. Ведь на фоне «борьбы с...» всё, что властям на глаза попадалось, будь то стихи, или просто вольное поведение, могло стать опасным.

Но как я уже писал, «легкомыслие» всегда в значительной степени определяло мое поведение, да и поведение многих моих друзей. Чума себе гуляла по всем слоям общества, косила интеллигенцию сильнее всего, а мы, как завещал Пушкин, во время чумы пировали!

...И он, как вся студенческая братия,
Которой вечно полон Ленинград,
Экзамены сдавал, мотал занятия
И мат навязывал на... сопромат,
Еще он достаивал проклятия
Предмет, о коем вслух не говорят,
Или не одолев своей природы,
На чертежах чертил карикатуры.

Мы веселились, как могли, выдумывали черубин, учились кое-как, сочиняли анекдоты о лысенковщине²⁹. И недоумевали, почему всюду есть только *один* пророк: в поэзии Маяковский, в

²⁹ Дарвина заменяли втихаря механистическим Ламарком, но и тот выступал в это время под псевдонимом «Мичурин», именем коего, «не виноватого ни в чём», и отправляли в тюрьмы и лагеря генетиков.

прозе Горький, в театре Станиславский, в кино Эйзенштейн, в физиологии Павлов, в ботанике Мичурин, в живописи Герасимов, в кино Александров с его псевдоголливодом и пропагандой... Ну а в лингвистике — с недавнего времени «САМ», но это уже было более объяснимо.

Пропаганда пронизывала всё, и только наш пир во время чумы был от нее на марсианском расстоянии.

Естественно, что наша «Галина-Черубина» на первом же не квартирном чтении, в литобъединении Университета, подверглась сокрушительной критике. «Страна борется за... а тут какие-то любовные стишки, они отвлекают от построения... и тем вредят делу...». «Это идеологическая диверсия на протоптанной дорожке», и, наконец — истинно партийный взвизг тогдашнего аспиранта, а впоследствии декана филфака, Выходцева³⁰: «Да это же ещё хуже Ахматовой!!!»

В общем, Галиных вечеров мы там больше не устраивали...

* * *

Мне остается только закончить эту главу об университетской жизни рассказом о том, как бесславно она для меня закончилась. Меня попросту отчислили, причем не за политику.

Преподаватель фарси и куратор нашей персидской группы из одиннадцати студентов, Михаил Николаевич Боголюбов, похожий на огромного Ивана Царевича, но только в белом костюме и модно завязанном галстуке (стиль «булавочная головка»), однажды во время весенней сессии сказал мне так: «где что-то литературное, Бетаки уже там! Ну, какой из Вас лингвист, хоть я Вам нередко пятёрки и ставлю, только ведь не Ваше это дело. Короче, что у вас с арабским? Писаревский мне уже жаловался...». Писаревский был пожилой человек в потёртом, всегда перемазанном мелом, костюме. Он, надо сказать, вполне терпеливо принимал у меня зачёт по арабскому в конце года: только после пятой попытки пересдачи сказал, что ничего поделывать не может, и разговаривать придется в деканате. (Арабский язык у нас был в том же ранге, что и латынь на филфаке).

³⁰ Сам А. Островский не придумал бы более подходящей фамилии: это же как Выбегалло у Стругацких!

Разговор с деканом длился одну минуту. Я был отчислен за неуспеваемость, а когда попросил осенней пересдачи, декан сказал, что в шестой раз у меня зачёта никто принимать не будет, и к тому же, вздохнул он, факультет сокращают наполовину, и если уж гнать, так первыми бездельников, вроде меня. Так вот глупо закончился для меня мой первый студенческий год.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ИНСТИТУТ ПОКРОВСКОГО

(1949—1950)

*Профессора и стукачи.
«Болтайка» и Алик Мандельштам.
Плагиатор Сергей Орлов. Юля-Юля*

Пединститут номер два, он же имени Покровского, был, казалось, специально создан для того, чтобы было куда ссылать университетских профессоров и доцентов. После разгрома Университета из литературоведов там оказались профессор Н. Я. Берковский, прозванный студентами «бизоном» за коренастость и головастость при низком росте, и Д. Е. Максимов, в те времена доцент, уже выпустивший работы о Лермонтове и Брюсове. Больше всего он любил Блока, но тогда о Блоке — книгу? Ну, нет, не требуйте слишком многого!

На неделю попал туда сам Жирмунский! Правда, то ли в обкоме, то ли в Университете, кто-то быстро спохватился, что уж это явный перебор по очкам, и Жирмунского вернули на филфак. А поскольку в космополитизме он был замешан, то читать он стал не Западную литературу и даже не Введение в литературоведение, а тюркский эпос...

Ну и ещё, конечно, выслали в этот институт несколько не столь известных преподавателей, но уж зато наверняка «ненадёжных», то есть для нас — «своих». Ну и отчисленные из Университета студенты вроде меня, тоже с потерей года, повалили туда на первый курс...

На лекции Берковского бежали студенты с разных факультетов, да и бывшие его студенты из Университета умудрялись приходить.

Самое интересное, что никакого в его лекциях не было плана, не было заранее продуманного порядка изложения материала — а вот так, неожиданный и ассоциативный ход мысли завивал и завивал ниточку до звонка и за оный... Видно было, что профессор и сам в начале лекции не знает, куда он... то есть наоборот, куда она его заведёт. И в то казённое время, когда всё на свете — «по бумажке», эти лекции выглядели воплощением, символом свободной мысли.

Критик Тамара Трифонова (сестра известной писательницы В. Кетлинской³¹) была в Институте куратором литературного кружка. Внешне своим обликом вяленой воблы напоминала она вдову Уотсон из твеновского Гека Финна... Считалась она специалистом по Эрнбургу, но на вопросы о «Тринадцати трубках» пожимала плечами, а про Хулио Хуренито говорила, что она «юношескими безобразиями и безыдейностями не занимается».

Между тем, в литкружке Института сложилась вполне тесная компания. Большинство кружковцев стихов не писало, но интересовались стихами многие.

Была в этом кружке студентка последнего курса Юлия Стефановская. Она писала под руководством Д. Е. Максимова работу по «Маскараду» Лермонтова, грозившую перейти через пару лет в кандидатскую. Была первокурсница Вика Уманская, весёлая пышная и шумная, с которой мы особенно сдружились, на всех лекциях обычно садились рядом. Была Лена Дрыжакова, дочь одного из первых русских авиаторов, писавшая изредка стихи (впоследствии жена, а зачастую и соавтор моего друга Марка Альтшуллера), да ещё Люся Князева — девочка из деревни, которая весьма исправно, как выяснилось значительно позднее, стучала на всех нас в комитет комсомола. Были еще какие-то люди, я не всех помню. А вот дружба нашей «пятёрки» вышла за пределы кружка.

³¹ Сёстры Кетлинские были дочерьми царского адмирала, зверски разорванного на куски красными матросами, и выслуживались, видимо, чтобы им об этом не напомнили...

На кружок приходил порой Гена Порховник с Галей Цениной, и мы даже попробовали устроить в институте вечер стихов нашей «Черубины». После этого вечера последовал доклад воблы Трифионовой о безыдейности и о том, кому она выгодна. Других последствий наша игра тут, к счастью, не имела. Жили мы довольно беспечно, и нам казалось, что главное — не попасться на зубы «нашей провокаторше» Трифионовой.

А когда я столкнулся с Трифионовой снова уже в Литинституте, в полулиберальной середине пятидесятых³², я точно узнал, что тогда, в сорок девятом году, она в «Покровском» была официально негласным надзирателем от ГБ за всем факультетом. А ещё несколько лет спустя, она попала в пародийную песенку на мотив «Так по камушку, по кирпичику», о советских критиках-стукачах... Вначале поётся о том, как мать «не Эм. Горького, не Де. Бедного, не Фадеева ет цетера,/ родила она меня вредного,/ рядового пирата пера. /А сестра моя Казимировна / Поношенья того не снесла,/ В заведение в услужение/ На бульвар в Литгазету пошла...».

* * *

Была у меня в это «моё самое студенческое время» и вторая компания, с институтской не пересекавшаяся. Стиль у нее был иной, и состояла она из непризнанных ни тогда, ни позднее художников, и кроме меня был там один только человек, писавший стихи — Алик Мандельштам.

Был он никаким не родственником Осипа Эмильевича, а просто однофамильцем, сыном американца, рабочего, наивно переехавшего в СССР, «в погоне за грядущим», как формулировал это Алик.

Его, собственно, звали Роальд, в честь Амундсена, но он предпочитал быть Аликом. Физически он был полнейшей противоположностью великому путешественнику. Болезненный, по месяцам иногда прикованный к постели костным туберкулёзом, он только мечтать мог о путешествиях, и, отчасти поэтому,

³² Она и тут отличилась: поносила своего любимого Эренбурга (на котором кормилась со студенческих лет) за повесть «Оттепель», кстати, давшую название чуть ли не всему периоду «шестидесятничества».

в стихах его была такая неудержимая экзотика, «солнце, рыжее, чем стадо горилл».

Весь же реальный мир его были наши тихие кварталы в «достоевском Петербурге»: Канал Грибоедова, Мойка, Пряжка, Крюков канал, все три Подъяческие, Казначейская.... В общем «от Сенной до Театральной» и чуть западнее. Наши обшарпанные двory, забитые дровяными сараями, булыжные мостовые, с чем-то вроде канавки по центру, да какие-то «распивочные», открывавшиеся тогда, по крайней мере, в районе Сенной, в 7 часов утра...

Эти кварталы казались таинственными даже в то прозаическое время, хоть и были они ничем, вроде бы, не примечательны. Сейчас там селятся пачками «новые русские», а тогда не отличить было пьяного работягу от Раскольниковова, идущего убивать старуху...

При всей склонности к романтической экзотике, Алик был поэтом этих «достоевских и бесноватых» кварталов Питера...

Вот стихи его, написанные тогда же, в конце сороковых:

Мостика профиль горбатый,
Милая, тих, как всегда,
В красную дырку заката
Ветер вдевал провода,
Бедный, неласканный, старый,
Скоро устав на земле,
Кто-то качался кошмаром,
Будто в трамвайной петле...

Вообще-то трамваи, оглушавшие визгом, дребезжащие — с Канала Грибоедова в переулки, или из узких этих переулков снова на Канал, появлялись как призраки из того, «блистательного Санкт-Петербурга», куда большинство из нас не каждый день и попадало. (Ну, только я в институт, на Петроградскую, ездил, обычно на велосипеде, пересекая Невский и Марсово Поле). А ведь всего, казалось бы, пятнадцать минут пешком до Невского!

Визжали и визжали трамваи, визг был слышен ещё с Театральной площади и растворялся в этой тихой безавтомобильной части города, за которой непосредственно начиналась пушкинская «Коломна».

Но я — о трамвае, ведь у Алика был он таинственнее, чем у Гумилёва:

Сон оборвался, но кончен.
Хохот и каменный лай.
В звёздную изморозь ночи
Выброшен алый трамвай,
Пара пустых коридоров
Мчится один за другим,
В каждом — двойник командора,
Холод гранитной ноги.

Алику было необходимо стихами, точнее в самих этих стихах, вырваться из пут повседневности в экзотическую даль, куда не ходят трамваи... И чем серее были туманы, тем ярче его стихи, чем серее люди, тем праздничнее строки...

Мы иногда бродили ночами. Алик, опираясь на палку, приняв очередную дозу морфия, который только и спасал его от мучительных болей запущенного костного туберкулёза, выходил, когда вечерело, высывался из подворотни, оглядывался и молчаливой тенью появлялся на тротуаре.

Первым из нас присоединился к нему живший по соседству художник Вадим Преловский, рисовавший наши грязные дворы, набережные с перекошенными фонарями, где у подъездов смутно угадывались тени влюблённых, которым некуда было деться.

Выходил и я из бордового семиэтажного дома у Львиного мостика, потом к нам присоединился художник Арёфьев — «Арех»...

А белая ночь смазывала углы заброшенных и малоизвестных набережных Крюкова или Пряжки...

Мы себя называли «Болтайкой», и прожила «Наша Болтайка» довольно долго. После того, как я с Юлей Стефановской «эмигрировал» на Дон, опасаясь посадки, компания продолжала существовать; днём кто-то учился, кто-то сидел в «Публичке», выискивая что-нибудь полузабытое, почти все рисовали и рисовали, а вечерами часто опять собирались у кого-нибудь на Канале...

В начале 56-ого, вернувшись в город, я узнал, что в 54 году повесился Вадик Преловский. Состав «Болтайки» почти полностью сменился, только центром её все равно был Алик...

Он умер в 58-ом. Я думаю, что скорее от безнадежности, чем от самого костного туберкулёза. Дожить до 28 лет позволили ему только стихи.

Разлад мечты и действительности — перепад напряжений — порождал эту яркую, хотя в чём-то и беспомощную поэзию.

Видишь, деревья на крыши
Позднее золото льют,
В Новой Голландии, слышишь,
Карлики листья куют...
.....
...Мы собирали букеты
Тёмных ганзейских монет...

Художник Арефьев — единственный из «Болтайки», с кем я встретился через годы и годы. Он приехал в Париж в середине семидесятых тяжёлым алкоголиком, а месяца через три здесь и умер...

* * *

В то же институтское время я продолжал посещать «центральное ленинградское объединение молодых писателей».

М. С. Довлатова уже отказалась от руководства этой, как она выражалась, «демобилизированно-заводской богадельней», так что руководители объединения непрерывно сменялись. С уходом Довлатовой обстановка резко изменилась в худшую сторону. В объединение приходило немало «литераторов от станка», ни разу станка не видевших и довольно агрессивных. Настроенные они изрядно портили и мне, и Лёве Мочалову и Володе Британишскому, да и старшим: таким, как Наталья Грудинина, или Игорь Ринк.

Нас «воспитывали», то есть натаскивали «в идейном смысле», ставили в пример то Луконина, то какого-нибудь Хаустова, а в руководители однажды назначили (к счастью не надолго!) некоего Сергея Орлова, который был, как поэт, если процитировать Маяковского, «рабочий и крестьянин сразу» да ещё якобы горел в танке...

Он исчез, когда выяснилось, что во время войны, хотя он действительно сначала был танкистом, но потом перешел в интен-

данты, горел уже на складе, спьяну. Мы, естественно, над ним посмеивались. В Питере Орлов прославился стихотворением «Его зарыли в шар земной, / А был он лишь солдат». Кто-то из нас быстро сообразил, что это просто переделка маршачковского перевода из Вордсворта («Люси»)³³. А еще одно его стихотворение «Концерт в лесу» наполовину списано с «Леди Гамильтон» Антокольского³⁴. Подобное «руководство» привело к тому, что многие молодые поэты вообще перестали посещать объединение и предпочли общаться на квартирах у тех, у кого было место.

Начинался «кухонный период русской литературы».

Чтобы закончить с объединением, надо упомянуть, что чуть позже, когда меня в Питере уже не было, руководить им назначили «последнего акмеиста» Всеволода Александровича Рождественского. Хотя Рождественский и был трусоват, и свои собственные стихи не раз портил, по три раза их иногда переделывая в угоду политическому моменту, он все-таки принадлежал к большой и старинной культуре.

Что же касается Сергея Орлова, то он, естественно, довольно быстро получил «повышение»: через пару лет после ухода из объединения стал заведовать отделом поэзии в недавно открытом, новом журнале «Нева».

* * *

Итак — Юля Стефановская. Высокая, каштаново-рыжая с пронзительными рыжими же глазами. Она очень интересно, иногда даже парадоксально, высказывалась о классической литературе. Она хорошо играла на гитаре, пела старинные романсы, часть из которых я смутно помнил с детства, но большинство услышал от неё впервые. А она все эти романсы знала от своей матери, санаторного врача в Кисловодске. По её словам,

³³ «Ей в колыбели гробовой / вовеки суждено / С горами, морем и травой/ вращаться заодно» (Перевод С. Маршака).

³⁴ Обо всех этих микроплагиатах критик С. Трегуб разразился в «Литературке» довольно грубой, хотя и справедливой статьёй «Чужой концерт в чужом лесу», которую закончил иронической хвалой «молодым поэтам, которые, желая влететь в литературу на третьей скорости, нахально дают чужой концерт в чужом лесу». («Третья скорость» — название первой книжки «танкиста» Сергея Орлова).

когда был жив её отец, военный врач, в прошлом польский офицер, позднее расстрелянный, они с матерью часто пели дуэтом и русские романсы, и польские песни.

По знанию старинных романсов только Вика Уманская (меццо, переходивший в контральто) могла с Юлей поспорить...

И попробуйте-ка в 19 лет не влюбиться, если вам в старинной манере XIX века хорошим контральто под переборы, почти цыганские, поют:

Ах оставьте, ах оставьте,
ваша шутка не нова,
Не лукавьте, не лукавьте,
всё слова, слова, слова...

Или ещё более нелепую чушь:

Капризная, упрямая,
Вы сотканы из роз...

И в эту чушь, и в неё саму я и был смешно влюблён, но (вернее именно поэтому!) о близости речи не было — несмотря на весьма вольные её взгляды во всём, что касалось литературы, и даже несмотря на то, что и она вроде бы ко мне привязалась как-то, она была «непреклонна». В основном, как понимал я, удивляясь её наивной старомодности, она «берегла девственность» потому, что жених у неё был в Кисловодске, и она колебалась: «ему слово дала, а с тобой всё как-то интереснее».

Я же «понять её не мог», — ну дофонвизинские какие-то взгляды...

День рождения Юли — 25 лет — праздновали мы с шиком в Астории четвером — (Лена Дрыжакова не смогла пойти) — я, Вика, Люся Князева и сама виновница торжества.

Попали мы в Асторию в первый раз в жизни. Взяли какую-то бутылку вина и что-то с крабами. Удивлялись ещё девочки, что за потраченную сумму мы могли бы в магазине ближайшем купить не менее пяти бутылок таких точно....

Ночью пешком пришли ко мне втроем — Князева куда-то потерялась по дороге, но часом позже пришла-таки. Ворота были заперты, так она под ними пролезла во двор и поднялась по чёрной лестнице.

А через день в Институте скандал, собрания всякие, шум, «ставится вопрос о недостойном поведении студентов...». Коротче, за этот поход в ресторан Юлю лишили аспирантуры, несмотря на энергичнейшие протесты Д. Е. Максимова, меня — долой из комсомола, где я тогда, к сожалению, «состоял» и из института заодно. Остальным двум — выговоры.

Через три дня и меня, и Юли в Питере и след простыл.

А Вику Уманскую таскали в ГБ (или как там тогда именовалась главная реальная власть в стране? Не помню. Она всё время меняла названия, как, впрочем, и теперь...).

Вику расспрашивали обо мне и Порховнике, пугали, что нигде больше учиться ей не позволят. Но она и сама не очень-то настаивала на обязательности для себя высшего образования. Из института она ушла и на этом всё кончилось, про нас забыли. Гену Порховника даже и не побеспокоил никто. А позднее, в шестидесятых, стал он видным питерским адвокатом.

Для всех знакомых мы с Юлей «на Кавказ поехали». Так оно и было, только возвращаться осенью мы не собирались, решив года на два, на три исчезнуть из обращения, авось забудется. Было это вовсе не наивно: ещё в тридцатых годах при массовых посадках люди так поступали, многим именно так удалось уцелеть. Вообще-то я уверен в некоторой неуязвимости людей моего типа — легкомыслие спасает.

Вот Надежда Яковлевна Мандельштам пишет, что «нет таких сумасшедших», чтобы бросить квартиру или даже комнату, и уехать куда-то, однако сама же приводит пример женщины, которая так спаслась от ареста.

А я слышал, что в тридцатых-то годах таких людей было немало, а вот в конце сороковых, как мне кажется, почти все были как замершие кролики перед удавом, и таких легкомысленно спасшихся «сумасшедших» как мы было, и верно, немного. Но это не сумасшествие, а легкомыслие бродяжьего духа. Хлебниковский синдром, что ли...

Понятно, что «дело о ресторане» было только толчком, ведь цель партийной организации института была в том, чтобы разгромить наш литературный кружок, наказать его участников и, главное — отрапортовать куда-то «наверх» о своей бдительности в то время, когда всюду кого-то «разоблачали».

Ведь не мог же наш Институт остаться в стороне! Тут мы и подвернулись со своим «кутежом». Так что и Т. К. Трифонова, и секретарь партбюро, бывший «двадцатипятидесятник»³⁵, были довольны, я думаю, даже втайне благодарны нам, что дали мы им повод отличиться.

СЁЛАМИ, СТАНИЦАМИ...

(1950—1953)

Правильная Юля. Верблюд Гачка. Шахтёрский городок.

Валентин Соколов-Зека. Снова Сальские степи.

Цыганская вольница, циркачка Лена и медведь. Аксай.

Ростовские поэты. «Дом халтуры». Сашка и Фаня.

Опасно быть врачом! «Пааа-дох!»

Сначала мы поехали в Кисловодск (навестить Юлину маму и представиться ей). Впрочем легко сказать поехали — помчались в шесть утра в Думу, на «городскую станцию», и простояв часа четыре в очереди, купили «сидячие» билеты на следующий день. Купили билеты, сложили тощие рюкзачки. Книги, какие были, штук сто, я отдал Порховнику — он один знал, что уезжаем мы с концами.

Мы прожили у юлиной мамы трое суток. Мама как раз только что вышла на пенсию. И всем она была хороша, только вот всерьез спиритизмом занималась.

Юля старалась убедить маму, что Коля, официальный жених, которого мать ей давно прочила, местный председатель комитета физкультуры и спорта, ей и вовсе не нужен, что у неё есть я. И мы решили, что лучше всего ей это удастся в мое отсутствие, так что я уехал в Ростов, в надежде где-нибудь устроиться на какую-нибудь незаметную работу, ну хоть барабанщиком в джаз, или, может, в кукольный театр...

Вечером перед моим отъездом мы пошли с Юлей гулять в горы, стало холодно, мы спрятались в какой-то пещере... Но

³⁵ Так называли коммунистов, посланных в двадцатых годах из города на «укрепление села». Их должно было быть двадцать пять тысяч. Подробнее см. у Шолохова в «Поднятой целине».

того, чего я ожидал, опять не произошло: Юля сказала, что приедет ко мне недели через две, «вот тогда ...», а теперь ей почему-то было важно сначала развязаться со своими «обязательствами» в девственном состоянии!

Ну, поехал я в Ростов. Две недели, которые Юля рассчитывала пробыть в Кисловодске, уже почти прошли, когда кто-то из знакомых предложил мне работу за 50 километров от Ростова, в начале Сальских степей. Станица Кагальник — последняя казачья станица на восток от Ростова, за ней были Целинский и Сальский районы, а за ними — уже Калмыкия.

Меня пригласили в Кагальницкий Районный Дом Культуры художественным руководителем самодеятельности. Приехал. Пришел в Дом Культуры. «Оформился». Снял хату.

А Юля почему-то задерживалась. К тому же в моей телеграмме слово «Кагальник», думая что телеграфисты ошиблись, она прочла как «начальник» и страшно забеспокоилась: «мы же решили понезаметнее работу». Потом, когда она уже ко мне приехала, наконец и сама решив, и маму убедив, что Колю она посылает подальше, мы долго над этим смеялись.

И вот тут постигло меня первое разочарование: что я только не вытворял но. Юля оставалась совершенно безразличной в постели. И не отталкивала меня, но и как бы не участвовала... (слово «Фригидность» ни ей, ни мне было тогда не знакомо).

В Кагальнике мы поселились ненадолго, потому что в местной школе не было учительских мест, так что Юле негде было работать. И все же мы решили немного повременить с отъездом отсюда — в РОНО говорили, что место может и появиться.

А у меня в Кагальнике завёлся знакомый верблюд, звали его Гачка³⁶. Принадлежал он магазину сельпо, и возил в магазин со станции продукты: от станицы до железной дороги было около трех километров. Вокзальчик виднелся за волнами ковыля — между Кагальником и вокзальчиком и посеяно даже ничего не было.

Директор магазина, видя как я к этому верблюду привязался, часто мне давал его покататься, а иногда мы припрягали к Гачке трапециеобразную низкую телегу-площадку на трехмет-

³⁶ Типичное для верблюда имя, происходит от окрика «Гач, гач» которым верблюдов погоняют.

ровых оглоблях, и ехали с Гачкой на вокзал за ящиками, чаще всего ящики были с макаронами и с водкой. Директор после такого путешествия меня пивом угощал, а Гачку печеньем. Причём в магазине не было ни того, ни другого, правда, бочкового пива было в местной «чайной» — хоть залейся. Казаки имели обыкновение играть около чайной в домино — каждый из них при этом выпивал кружек по пятнадцать.

Вопреки легендам, ни в кого верблюдов этот не плевал, только сердито ревел, если к нему подходил кто-нибудь из станичных подростков: надоели они ему страшно со своими рогатками.

А как-то вечером попросил я верблюда опуститься на колени, взнуздан, взгромоздил на него длинную Юлю — между горбов ее посадил, сам перед ней сел, и мы попробовали к общему хохоту казаков, особенно баб, вдвоём на Гачке проехаться. Гачка тут же понял, что его демонстрируют и гордо крупной рысью пробежался пару раз по всей станице.

Но лето кончалось, а работы для Юли всё не было. Стало ясно, что надо что-то подыскивать в другом месте. Мы поехали в Ростов, в Областной Отдел Народного Образования, и там Юле предложили место в старших классах школы в городе Красный Сулин, а мне — руководство театральной самодеятельностью в двух школах этого же городка. Мы и поехали. Красный Сулин был от Ростова уже километрах в трехстах.

Город состоял из десятка шахт и металлургического завода.

Первое, что нас там поразило, это зарплаты: учителю — обычная, то есть восемьсот рублей (полная ставка, восемнадцать часов в неделю), мне, в двух школах, примерно столько же, а вот шахтеру платили 22 тысячи! Вот что такое «плата за страх» — и то сказать, за зиму, что мы там проработали, из десятка шахт в двух случились обвалы, погибло человек пятнадцать, несколько человек стали инвалидами...

Не знаю, сколько платили на заводе, но рабочие шахтёрам завидовали. Однажды в заводском клубе, где я взял руководство ещё одним драматическим кружком, какой-то подвыпивший сталевар, завидуя шахтёрам, громко и матерно сокрушался, что они в десять раз больше его получают. Подошёл парень моих лет, с виду тоже работяга, коренастый, медлительный и стал что-то коллеге объяснять, негромко.

Тот затих. Я удивился вслух тому, как быстро парень утихомирил распутившегося работягу, а он ответил, что в лагерях многому можно научиться. Меня же поразило, что простецкий вид этого парня мало соответствовал его весьма интеллигентной речи.

Мы познакомились. Звали его Валя Соколов. Вскоре он у меня играл в каком-то спектакле.

У меня там было два замечательных актёра: Валя и Гена Сапрыкин, сын директора завода, учившийся тогда в 10 классе, где Юля была классным руководителем. (Впоследствии Гена стал актёром в каком-то театре на Украине).

Стали оба они иногда к нам приходить. Валя читал свои стихи. В основном стихи были на лагерную тему, он уже к тому времени года два оттрубил.

Как-то Гена послушал, послушал стихи, да и сказал, что ведь это и есть настоящая советская поэзия. Валя слегка испуганно оглянулся, но я его успокоил, сказав, что в доме, состоявшем из двух квартир, во второй никто не живёт.

Впервые Валу посадили по делу какой-то «антисоветской студенческой группы» в Москве, и в Красный Сулин он попал, выйдя из лагеря после той первой отсидки. Ему были запрещены сто городов Советского Союза, как он нам объяснил, такое освобождение называлось «минус сто».

...Всё, что написано — проба,
Проба подняться из гроба...

Впоследствии Валя стал бессрочным заключённым, то он выходил ненадолго на волю, то попадал снова в лагерь в качестве «повторника».

Во второй раз его посадили в 56-ом, в 58-ом выпустили, а через год снова посадили «за антипартийную агитацию», после этого ему удалось прожить вне лагеря ещё несколько лет. Тогда и встретился я с ним снова — в Москве, то ли у моих друзей, Яши Коцика и его жены Гали Полонской, одной из знаменитых тогда «учителей-шестидесятников», то ли у другой, ещё более знаменитой учительницы Фриды Вигдоровой. Валу привёл тоже знаменитый «учитель-шестидесятник», Анатолий Якобсон, впоследствии автор прогремевшей на западе книги о Блоке «Конец Трагедии».

И вот через годы после Красного Сулина Валя читал стихи в Черёмушках... Слушали его Коцики, Якобсон, Фрида Вигдорова, её муж, сатирик Саша Раскин, и я. Валя читал тихо, но очень ритмично:

Там в холодных казематах,
там в домах казённых,
Как шары катались в лапах
головы казнённых...

Я сказал, что десять лет назад был он «реалистом», а теперь сплошной гротеск, на эти мои слова Валя ответил тем, что прочёл нам небольшую поэму, которая так и называлась, «Гротески»:

Страшно как и пусто как
Жить под знаком пустяка...
.
Здравствуй, зона! Бесноватей
Песня в узеньком квадрате,
Стен твоих, твоих запреток...
Ты душе глоток озона — здравствуй, зона...
.
Там на вахте мёрзнут трупы,
А в столовой, в миске супа,
Взглядом жадным ищет круп
Человек большой и чёрный,
Скорбной мыслью омрачённый
Полутруп.

Может, всё это и не совсем поэзия, но только — прав был Сапрыкин, это истинная СОВЕТСКАЯ поэзия, только не та, какую хотели бы видеть в ССП...

Как во всяком обществе была и в ГУЛАГе литературная среда, а в ней — свои мастера и свои начинающие, и «реалисты» вроде Вали, и те, чьи стихи никакого отношения к «окружающей действительности» не имели...

Спустя двадцать с лишним лет после того вечера, уже в Париже, я узнал, что опять Соколов сидит, не сосчитать в который уже раз... Так и погиб Валентин Соколов-Зека, спину в каком-то лагере в середине восьмидесятых годов... Уже после того, как вышла в Израиле антология «Поэзия в концлагерях», изданная тоже

многолетним зеком, Авраамом Шифриным. (Может, увидел всё-таки Валя свои стихи напечатанными?).

Я получил в Мюнхене от тогдашнего редактора новостей Эдуарда Кузнецова большую подборку валиных стихов, которые ходили в семидесятых годах в самиздате. Эту подборку мы и напечатали в «Континенте» с предисловием Кузнецова.

* * *

Чертов этот Красный Сулин был всё-таки для житья не приспособлен. Шумно, дышать нечем. Нам очень захотелось в нормальную деревню. И удалось, на следующий учебный год, хотя нормальной эту деревню назвать можно было с натяжкой.

В четырехстах километрах на восток от Ростова, в сальских степях, где росла только пшеница, и то кое-как, вперемешку с польню, где можно было иногда издали увидеть даже сайгаков, где толком никто и не знал, где кончается Ростовская область, а где начинается Калмыкия, есть село Средний Егорлык.

Там была такая нехватка учителей, что мне, тогда заочнику третьего курса Новочеркасского Пединститута, предложили преподавать литературу в старших классах. Кроме литературы, стал я еще преподавать немецкий в пятых-шестых. А когда ушла в декрет географичка, пришлось почти полгода вести еще и географию.

Нас поселили в одном из домиков для учителей. Эти домики находились почему-то километрах в трех от школы. Директор, справившись, умею ли я сидеть на коне, договорился с председателем одного из двух здешних колхозов, и мне выдали отличного пятилетнего жеребчика по имени Серко. (Серко, потому что серый в яблоках). Мне дали его «под стопроцентную ответственность». Это означало, что и к ветеринару и к кузнецу я должен был его водить, и корм сам у колхозного кладовщика для него получать.

Юля же, которая не только опасалась лошадей, но была к тому же беременна, получила от школы в пользование велосипед, которым, впрочем, почти не пользовалась: врачихе местной больницы, один из двух врачей на всё огромное село, уже через месяц после начала учебного года приказал ей ходить пешком до самых родов. В конце ноября Юля родила сына, мы

назвали его Павлом по моему отцу и вызвали на помощь, во- зиться с ним, Юлькину мать из Кисловодска. А когда Павлу ис- полнилось полгода, мы и вообще отправили бабушку с внуком в Кисловодск.

Вокруг села, в котором рос с десятков неприхотливых топо- лей, да с тщанием поливаемые помидоры и лук во дворах жи- телей, простиралась ровная, как стол, степь, только к северу бы- ли небольшие «бугры», разделённые «балками», там росли и ку- старники, и даже какая-то трава, на которую выгоняли порой тощих, измученных полынью, коров. В первый же базарный день мы узнали, что молоко тут горьковатое от полыни.

На это особого внимания никто не обращал, было кое-что и похуже: вода во всех колодцах солёная, питьевую собирали в бе- тонированные подземные цистерны, она стекала туда с крыш после дождей. Крыши были оборудованы специальными бор- тиками, которые вели дождевую воду к водостоку так, чтобы она вся до капли попадала в цистерну. Но этой воды не хватало, коров иногда поили колодезной водой, так что молоко могло быть и солёным. Короче говоря, молоко на базаре надо было не- прервенно пробовать... Масло и ряженку тоже.

Еще на базаре продавали кур, индюков, цесарок, яйца, муку, да помидоры... Вот, кажется, и все. Кое-кто из жителей ценой немислимых трудов выращивал свёклу и даже картошку, но это уже стоило так дорого, что учитель на свою зарплату никогда не мог купить этих драгоценных овощей в каком-то ощутимом ко- личество. Кило картошки, или большая индюшка?

Зато дынь и арбузов было навалом, и они почти ничего не стоили. В связи с этим, позднее, когда Хрущёв обрутал как-то фильм «Кубанские казаки» за то, что там в голодные годы пока- зано редкостное изобилие, я удивился: ведь от чего в этом «ла- кировочном» кино столы ломаются?

Пересмотрите фильм, и увидите: помидоры, арбузы, дыни, абрикосы, да ещё виноград и яблоки, которых в Сальских сте- пях не было, поскольку там они вообще не растут, а на Кубани этого добра всегда полно. (Правда, были периоды в нашей исто- рии, когда на фруктовые деревья в частных садах налог был та- кой, что крестьяне свои сады сами вырубали, но на кубанских землях даже в колхозах яблоки и груши давали вполне сносные урожаи!). А ведь в фильме-то колхозы показаны! Так что пере-

старался тут «наш Никита Сергеевич». В этом в высшей степени голливудском фильме и лакировки-то нет! Зато — Ладынина с поцелуем в диафрагму! А какие птичницы-отличницы и товарищ Ворон! И смотрится он сейчас таким же стёбом, как того же уровня идиотизма голливудские фильмы.

В отличие от центральной России, тут, в Сальских степях, голодно не было. Однообразно, это да.

Хуже было то, что в этом, 1951, году колхозу приказали сколько-то там гектар от пшеницы отобрать, и растить на них лысенковский «суходольный рис». А ведь рис — растение болотное. Нормальные рисовые поля обычно на несколько сантиметров залиты водой, а тут в полынной, солончаковой полупустыне дождей едва хватало, чтобы пшеница не посохла, тут полторы тонны с гектара считалось хорошим урожаем.

От этих нововведений председатель аж запил, неделю его никто не видел, потом он появился и сообщил по начальству, что план по пшенице он в этом году провалит, если его заставят сеять этот «суходонный» рис. Ну, на год его оставили в покое, а потом и рис этот повсюду накрылся...

А школа была самая обычная. Старшеклассники, правда, были всего на два-три года младше меня. Они попытались, было, побезобразничать, но я, вспомнив детдомовский опыт, да и свой детский опыт ленинградского двора, быстро превратился в натурального пахана. Я командовал этой сельской полушпанной, а в учительской среде сам себя называл «классный руководитель в законе».

Так что десятиклассники уважали меня не столько за кругозор, за справедливость или интересность изложения, сколько за то, что «свой парень, при случае и по шее может». Пару раз, когда ученики моего десятого «Б» доводили какую-нибудь робкую молодую «учи-тёлку», директор посылал за мной кого-нибудь с приказом «немедленно прискакать и унять своих крокодилов». Я садился на Серко, и через десять минут класс был вполне «обучабельным».

А среди «крокодилов» попадались весьма интересные личности.

Например, два приятеля, Егор и Олег, цыганские парни. Их родители летом кочевали, а с холодами пристраивались кварти-

рантами в здешнем колхозе, или в соседнем совхозе «Гигант» («соседний» там означало километров за сорок).

Отец одного из этих ребят был слесарь на все руки и даже котельщик. Однажды он отремонтировал колхозу котлы, и бухгалтерия, чтобы иметь возможность заплатить, потребовала от него счёт. Дядя Петя почесал в затылке и написал: «щёет от Дамонтова Петра за чинку котлов». — А адрес? — спросил счетовод. Не замешкавшись ни на секунду, старый цыган добавил следующий текст: «Средний Егорлык, степь, в балке за третьим бугром».

За третьим бугром и в самом деле располагался табор, который сильно разрастался летом: многие городские люди, помнившие своё цыганское происхождение и имевшие в таборе родственников, повадились сюда в отпуск, «на волю».

А у меня было четверо учеников из этого табора, ребята, с которыми я подружился за учебный год. Они как раз получили аттестаты зрелости и пригласили меня обмыть это событие у них в таборе.

К концу застолья меня пригласили и отпуск провести с ними. Я согласился, тем более, что Юлька поехала на лето в Кисловодск к сыну и к маме.

В таборе через несколько дней сложилась отличная компания: тут оказались три ростовских врача, один инженер-железнодорожник, да несколько артистов и артисток Ростовского Цирка, в том числе гимнастка Лена, с которой мы быстро и без всяких церемоний «нашли общий язык».

Ещё там был неизвестно откуда взятый медведь-годовичок, с которым мы с Леной непрестанно возились, и обучив зверя кланяться и протягивать шляпу, давали с ним концерты по селам и станциям. Так что роль Алеко я исполнял отлично и, главное, без трагедий...

...Так зажимала коня в колена
В степи под Сальском
Цыганка Лена,
Она такая была задира!
Как мы скакали —
Дороге жарко,
Согнав к обочине бригадира
С каурым мерином и бедаркой —
Есть бесшабашная удаль женщин...
(из стихов начала 60-х годов)

Председатель позволил мне взять с собой в табор Серко, так что мы с Ленкой носились по степи каждый день по нескольку часов: зимой ведь она работала в цирке, где была гимнасткой, а не наездницей, так что ей нечасто удавалось вдоволь покататься!

Так вот и жили: ночью мы с Ленкой — в телеге, на которой хитро пристроена была старая армейская палатка, Серко и ленкина вороная кобыла Машка на длинном поводе привязаны к телеге сзади, Мишка под телегой ворчит на цепочке, а пара мерин, которые эту телегу возили, паслись неподалеку стреноженные. На соседней телеге, пыхая трубкой всю ночь, восседала королевой ленкина бабушка, спала она целыми днями...

Как-то утром старуха эта, по-русски почти совсем не говорившая, минут десять за что-то выговаривала Ленке. Меня поразило, как она умудряется произносить звучные цыганские слова таким свистящим шёпотом. Когда я спросил Лену, чем бабушка недовольна, моя подружка расхохоталась и сказала одно слово: «телегой...».

Я тоже заржал: дело было в том, что Ленка этой ночью, на редкость расшалившись, сказала мне, что вот сейчас она меня «ой как побалует» и встала «на мостик». Это оказалось восхитительно. Но старая телега ритмично и довольно визгливо скрипела...

В общем, конца не было нашему веселью, и табор казался огромным — летом там было не меньше ста человек, это не считая сопливых малышей и грудничков, которые вполне отвечали цыганскому анекдоту: «этих помыть, или новых сделать?».

* * *

В самом конце лета в Ростове, в редакции альманаха «Дон», я познакомился с инспектором РОНО станицы Аксайской (той самой станицы, находящейся всего в шести километрах от Ростова, где когда-то дядя Гриша меня учил ездить верхом). Звали инспектора Юлий Николаевич, фамилии не помню. Он славился на всю область, как методист по литературе, а ещё писал какие-то рассказы и стихи. При этом был почти глух.

Юлий Николаевич предложил нам перебраться в Аксай. «Во-первых — убеждал он меня — Аксай всего в трех остановках

на пригородном поезде до центра Ростова, а до кварталов Ростсельмаша (там жила моя кузина Ира с мужем Костей, мастером спорта по яхте и начальником заводской Водной станции) и во все две остановки. Во-вторых — в литературной редакции «Ростиздата» собираются каждый вторник по вечерам все ростовские поэты, а прозаики — по средам. В-третьих, зачем мне эта дикая степь?».

Я, понятно, сразу согласился, но переехав, проработал в школе только до Нового года. Директор Дома культуры, приятель Юлия Николаевича ростовский краевед и историк Александр Николаевич Скрипов сманил меня в свой Дом культуры на должность режиссёра.

Разговор о возможности для меня такой работы возник за пулькой преферанса у него дома, когда мы допивали энную бутылку местного белого вина.

На следующий день, он меня повёл в Дом культуры, а заодно показал на соседнем с Домом пустыре полуразвалившийся длинный каменный сарай. «Вот, — торжественно сказал Скрипов, постукивая палкой, — вот что осталось от почтовой станции, на которой Пушкин по пути из Арзрума ночевал и, между прочим, написал тут «Блеща средь полей широких, вот он льётся, Здравствуй: Дон...», а «сока искромётного» вы вечером, кажется, напробовались?»

Мне не хотелось расстраивать старика, и я скрыл от него, что и Аксай знал с детства, и вино здешнее тоже.

Естественно, у Иры с Костей Лимаревым я стал часто бывать. Из трёх детей их больше всех привязалась ко мне Машка, тогда шестилетняя, которую и прозвал я «обезьянкой».

У них было весело, хотя гости интеллектуально и не блистали — это были, в основном, костины коллеги, яхтсмены, а по заводской иерархии — от чернорабочего до начальника цеха комбайнов. Меня в этот спорт тоже втянули, а на следующее лето даже обмывали мой успех — первое место в гонке поперёк Азовского моря «Азов — Таганрог — Азов» по классу яхты «Л-45», тогда довольно новой, и показавшей прекрасные ходовые качества.

Так что и бумажку я получил о том, что сдал экзамен на рулевого второго класса.

Ну, а в областном издательстве действительно раз в неделю собирались поэты, причём, как «солиднейшие», так и вовсе начинающие. Все вместе. Тогда в Ростове их было совсем немного.



Приз (вымпел) за гонку «Азов-Таганрог-Азов», 1952 год.
Юля, я, тетя Мура с внуками. Фото Иры Золинской-Лимаревой

«Старик» Оленич-Гнененко прославился тем, что ещё до войны впервые полностью перевёл «Алису в стране Чудес». И даже переводы Демуровой и Щербакова не отменили ценности оленичевского Кэрролла, на котором, кстати, вырос и я, и мои ровесники...

Он перевел три великих стихотворения Эдгара По. И всякий, кто прочтет, увидит, что его переводы сильно лучше всех предшествующих, да и большинства более поздних, включая переводы Брюсова или Бальмонта. А его «Аннабель Ли» уступает, я думаю, разве что переводу Георгия Бена, и то не наверняка...

Но централизация литературы, её «омосквичивание», привело к тому, что Оленича записали на полку «провинциальных авторов». Не то что в восемнадцатом веке, когда провинция имела свои культурные центры, смело спорившие с Петербургом, и русская литература от этого только обогащалась...

Но в мое время Оленич-Гнененко сочинял только скучные пейзажно-степные стишата...

Ещё был в Ростове халтурщик Ашот Гарнокерьян (мы его прозвали «празднописец Гавно-херьян»), заполнявший по праздникам своей стихопродукцией немало места на первой полосе ростовской партийной (да и вообще тогда единственной в городе) газеты «Молот».

Был неплохой³⁷ детский поэт и ужасный лирик Венямин Константинович Жак, пожилой, симпатичный, лысый «классик». Он уделял много внимания «работе с молодыми». Что же касается самих этих «молодых», то я почти всех забыл.

С тех времен сохранилось у меня общение с поэтами Даниилом Долинским и Эдуардом Барсуковым, мы и поныне иногда обмениваемся «емелями».

В Аксайском Доме Культуры появился у меня новый приятель, старше меня лет на пятнадцать, Николай Фаворский родственник великого книжного иллюстратора. Он повоевал, побывал в плену, из плена, с головокружительной наглостью бежал, «сняв двух часовых», потом сколько-то лет «за плен» отсидел.

Когда-то аспирант московской консерватории по классу композиции, а теперь аксайский баянист. Был у него прекрасный трофейный аккордеон, но играть на нём в Доме Культуры было нельзя — русский баян, это пожалуйста, а иностранный аккордеон был тогда, как почему-то и гитара, вещью запретной. «Народный оркестр», которым руководил Николай, был, как

³⁷ Засели с чего-то в памяти лихие строчки В. Жака из какого-то детского стишка:

...Не пойду я лучше в класс,
Потому что там собака,
Настоящая собака,
Правда, спящая собака,
Ну а всё-таки собака
На пороге разлеглась...

тогда строго полагалось, «домбро-балалаечным», хотя совершенно непонятно, как затесалась в такой русопятский, единственно дозволенный оркестр, казахская домбра, напоминавшая мне о Джамбуле.



В Аксае

Работала с нами бывшая балерина по прозвищу «очковая Саша». Близорукая, тихая, кукольно-изящная. Она вынуждена была уйти из харьковского театра после перелома ноги. У нас довольно быстро возникло что-то вроде легкого романа, с ней было легко и тепло, я часто оставался у неё на ночь, Юльке это было практически безразлично по её природной холодности. А вскоре и вообще мы с Юлей тихо, почти незаметно для нас самих разошлись.

Саше очень хотелось совместной жизни, да и я совсем не любил жить один. У меня сочеталась потребность иметь много разных романов одновременно и нежелание жить одному.

Мы с Сашкой ставили вместе многие номера, например, танцевальные сценки из оперетт делали на сцене в партнёрстве, и в результате «общественное мнение» нас поженило. Самое ди-

кое, что это было связано отчасти с тем, что все знали о том, что с Юлей мы не были официально женаты. В те времена, особенно среди казаков, это был очень важный фактор, и Сашу никто не осуждал за эту связь, что называется, у всех на виду.

Мы с Сашкой устроили в ДК еще и кукольный театр, в котором ей досталась вся швейная работа. Шила она мастерски, одевала и себя и всех своих подруг. Я занимался скульптурой кукол, режиссурой и декорациями. Актёров, кроме нас, было еще семь человек: четверо местных школьников, один учитель, один коневод и главный хирург аксайской больницы Фаня Магидсон, крупная жгучая брюнетка, лет на пять постарше меня. Вот уж она водила кукол с блеском: пальцы хирурга кое-что значат! И до чего же они красивые были эти пальцы...

Вскорости я стал довольно часто гостить и у Фани. Сашка об этом тут же узнала, но сцен не устраивала. Примирилась, тем более, что я и её вниманием не оставлял. А Фаня и не думала ревновать. Она смотрела на эту сторону жизни так же вольно, как я, а в резерве у неё был ещё главврач.

Занят я был выше головы. Кроме работы в ДК, я писал «что-то художественное» для газетки завода «Ростсельмаш», там в редакции работал мой близкий друг Даниил Долинский. Вот я и «мастерил» что-нибудь для этой газетки. Кроме того, весной я сдал госэкзамен и получил диплом Новочеркасского педагогического (по отделению психологии и методики), хотя нужен он мне теперь был как щуче брюки. И всё же «диплом, он и в Африке диплом», как говорил Фаворский, играя в подкидного и выкладывая туза.

Юлька на лето уехала в Кисловодск к маме и нашему сыну, вскоре она оттуда написала, что нашла работу и возвращаться смысла не видит. Я ответил телеграммой из одного слова: «Согласен». Потом, когда Павлу было года три, я, не спросив Юльки, которая была в это время, кажется, в Питере, съездил в Кисловодск и увёз его на месяц от бабушки в Ростов к моим родственникам погостить. После этого Юлька со мной поссорилась навсегда.

Зимой мы поставили два спектакля: «Горе от ума» и «Запорожец за Дунаем» Гулак-Артемовского. Текст этого, как теперь бы сказали, «мюзикла» мы со Скриповым с чистого украинского для большей весёлости перекатали на «донской казачий»

диалект, А. Н. первоклассно этим диалектом владел, даже какую-то лингвистическую работу о казачем «языке» в юности написал.

«Ох, поганы такы жарты,
выпив, мабудь, я с дви кварталы.
Грэтя... (Да дэ ж вона, бисова трэтя?.....)
/ находит в необъятных шароварах/
Грэтя ось де пригодыца,
Щоб було чим похмэлыца!

Я, конечно, не пел, а «баритонально» ревел во всю глотку ритмическим речитативом!

Спектакль в нашем ДК прошёл пять раз при полном двухсотместном зале! Фаворский с оркестром себя превзошли, он даже какие-то джазовые трюки на балалайках сумел устроить!

А Первого марта 1953 года ко мне (я снимал комнату в доме у местного фотографа Гранта Арамовича) в семь часов утра прибежал Фаворский и сказал, что Фаню, ещё двух врачей, трех учителей, конюха и бухгалтера Райисполкома ночью арестовали.

Я спросонья ни черта не понял, тогда Николай растряс меня как следует, ткнув меня носом в то, что я уже и сам начал медленно соображать: все арестованные — евреи.

Кампания по поводу «убийц в белых халатах» уже давно шла полным ходом. Было это, хоть и жутко, но ведь в Москве, далеко, а Ростов, как нам казалось, а тем более его пригороды, до сих пор оставались незатронутыми... Я тут же позвонил в редакцию Даньке Долинскому, и когда он снял трубку, потрепался с ним о какой-то чепухе. Убедился, что его пока не тронули...

Николай повёл меня на гору, с которой была видна станция «Ростов—товарная», и мы увидели сверху множество поездов. Обычно на товарной их бывало вполовину меньше.

Были это эшелоны из «теплушек», то есть из вагонов «сорок человек, восемь лошадей», которые уже полвека служили для перевозки грузов, а с тридцатых годов и не только грузов. Это-то я знал.

Николай сообщил, что вчера вечером один эшелон уже куда-то отправился. Видимо, Фаню и других аксайцев, да и часть ростовчан в нём и увезли...

Прошло три дня. Утром слышу: Шопен по радио негромко, а включено радио было у Гранта Арамовича постоянно: он всё слушал, почёсывая лысину, мудрый человек, ждал, когда очередь до армян дойдёт!

А тут, только я глаза протёр, этот громадный мужик ко мне в комнату ворвался, не стукнув даже в дверь, и радостно прошипел только одно слово: «Паа-дох!!!»

Шепотом!

И вот через два дня сидели мы вечером у Гранта Арамовича в столовой с Фаворским, Скриповыми, Сашкой и племянницей нашего «капитана Гранта» «длинной Сандрой», подружкой Фаворского. Старик открыл бутылку, и тут в дверь постучали. На секунду мы все, наверно, испугались — а это вернулась Фаня, которую мы не ждали, думали, что не увидим ее больше никогда!

Из эшелона, направлявшегося неизвестно куда, отпустили чуть ли не сотню ростовских евреев, больше суток они добирались, кто как мог, до дому. При этом им всем выдали бумажки о том, что свой паспорт следует получить обратно в районном отделении милиции. Фаня в милицию за паспортом не пошла, поздно уже было, а забежав к себе и не прибрав даже перевёрнутую во время обыска комнату, примчалась к Арамычу, — точно ведь знала, где всех нас найти.

И вот собралась вся компания, все свои. Пускай себе «Страна и весь советский народ» предаются горю, а мы устроили веселейшую пьянку, аж до самого утра. Арамыч из подвала приволок несколько бутылок настоящего армянского коньяка, и — загудели!

«Выпьем за то, чтоб и соратники за ним пошли» — сказал Николай, на что Грант Арамович рассказал очень старый армянский анекдот о том, как Ленин, умирая, говорит Сталину: «Ведь не пойдёт за тобой народ, Коба!» «За мной не пойдёт, тогда весь за тобой пойдёт!»...

Вера Никитична Скрипова, молчаливая аккуратная учительница, типичная дотошная казачка, осушив энную рюмку, смяла окурок и хрипло заметила, что анекдот, как она слышала, грузинский, — наш фотограф ужасно осерчал, услышав такие кощунственные слова, и стал, размахивая длинными руками, приводить аргументы за то, что «таааакой армянский анекдот грузинским и быть нииииккак не может!».

ЛИТИНСТИТУТ И БЕЛОМОРЬЕ

(1953—1960)

*Поступление. Танки на Арбате. Беломорье. В институте.
Профессора. Сергей Наровчатов и «бывший Тихонов»
«Коварство и любовь». Будущий Айги.
Буало — соцреалист. Пашозеро.*

Ростовское отделение Союза писателей дало мне и Дане Долинскому рекомендации для поступления в московский Литературный институт. Разрядка на такие рекомендации ежегодно рассылалась по всем областным писательским организациями, и в этом, 1953, году Ростов удостоился двух мест.

Надо было сначала пройти «творческий конкурс» (в том году 50 человек на место), а потом уже сдавать экзамены.

Мои стихи отрецензировали два «маститых» поэта.

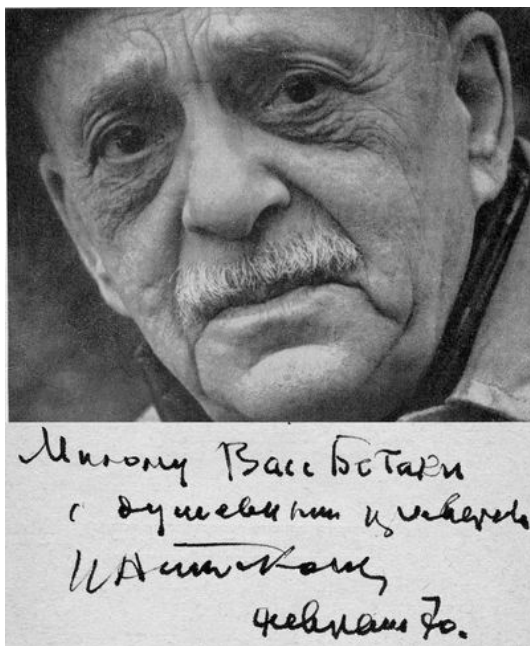
Сверхсоветский Долматовский написал нечто невнятное, получалось, что можно, мол, этого молодого поэта принять, а можно и не принять.

А вот второй рецензент, П. Г. Антокольский со всем присутствующим ему темпераментом категорически требовал «принять безусловно». Я страшно обрадовался, и не столько тому, что по сути дела меня приняли, ведь предстоявшие экзамены были простой формальностью, но прежде всего тому, что в меня поверил не кто-нибудь, а мой любимый поэт.

Потом, приезжая в Москву, я ходил на все его домашние и недомашние семинары. И когда мы получше познакомились, году в 57-ом, он мне сказал: «Честно говоря, вы никакой ещё не поэт, но я буду с вами возиться, потому что вы гадкий утёнок, Вася, и если всерьёз работать — увидим». Помолчал, посмотрел на стену, потом добавил медленно-медленно: «Если, доживу, Вася, если доживу — весьма вы поздний». И тут он оказался более чем прав.

Первое, что сделал Антокольский, не относилось, однако, прямо к поэзии. Он, как опытный режиссер, поставил мне голос, что позднее дало мне возможность не пользоваться микрофоном при чтении стихов в самых больших залах, например, в «Октябрьском» в Питере (Около 4 тыс мест!). Я, конечно, каждый раз хвастался: выходя на сцену, картинно отодвигал микро-

фон и, ничуть не надрываясь, читал стихи... Но вот мои парижские друзья, и в первую очередь физик Боря Великсон, у которого уши по причине музыкальности особенно нежные, беднягу Антокольского за этот мой голос и поныне проклинаят...



П. Г. Антокольский. Надпись его на книге «Повесть временных лет».

Нет, не случайно я выбрал Павла Григорьевича себе в учителя! Его импульсивность была сродни моей, он не хотел отделять поэзию от театра, разрывался между ними двумя и с весьма малой высоты своего роста ревел стихи. Я, наверное, лучшего чтеца никогда не слышал, а кто-то прозвал его «громоподобным грибом».

Но вернусь назад: итак, мы с Данькой Долинским покатали в Москву...

Я, естественно, тут же к моей Лиде, Долинский к знакомым, а завтра в институт, на Тверской бульвар. Среди наших будущих однокурсников тут были джазист Юрий Казаков, тогда только автор двух одноактных пьес, Гена Лисин (впоследствии Геннадий Айги) и Анатолий Приставкин, автор трёх или четырёх уже опубликованных рассказов. Мы с Данькой смотрели на

Юру и Толю, как на «старших», ведь мы оба поступали только по рукописям, да публикациям каких-то стишат в провинциальном Ростове.

Но главная разница была в том, что ребята поступали в институт как полноправные студенты, а мы с Долинским на заочное — нам обоим надо было зарабатывать, и мы, в отличие от москвичей, не могли позволить себе вести студенческую жизнь.

Данька и Юра ужасно боялись иностранного языка, хоть экзамены были не такие уж строгие. Я тогда немецкий знал ещё вполне пристойно, а сдавать должен был на день позже ребят. Так что узнав, что в эти два дня экзамены принимают разные преподаватели, мы с Казаковым мылом переклеили мою фотографию на его экзаменационный листок, и я благополучно сдал за него, а на следующий день и за себя...

А Данька сел на экзамене у окна, опустил свои вопросы на верёвочке в садик (тот самый булгаковский сад-ресторан «Мас-солита»), а я написал ему все ответы и текст перевода, так что он благополучно сдал на четвёрку.

К счастью, всех нас в институт приняли.

* * *

Серебряный переулок, где жила Лида, был тихим местом. От дома, старинного типично московского одноэтажного особняка, но разделённого на три квартиры, до Арбата, куда выходил переулок, было метров полтора. И вот однажды, где-то часа в два ночи, меня разбудил лязг и грохот. Я ночевал в квартире один, Лида с сыном Игорем и рыжим скай-терьером Рикки были на даче, Шаховской, как всегда, где-то в командировке.

Любопытство погнало меня на угол, к Арбату. Выход с переулка был около углового магазина «Оптика» перегорожен грузовиком, там стояло несколько милиционеров, а по Арбату в сторону центра шли лёгкие танки и бронетранспортёры с солдатами.

На мой вопрос, что происходит, ни один из милиционеров даже не обернулся, а кто-то в штатском, стоявший рядом с милиционерами, потребовал шипя, чтобы я немедленно «ушел, откуда пришел».

Наутро стало известно, что вся эта армада шла арестовывать Берию.

Надо было решать, что дальше делать с работой. Несмотря на некоторую неопределенность наших отношений, в Москву приехала Сашка, и мы с ней тут же поехали в Питер, где я надеялся как-то зацепиться, но и комната, и прописка за эти годы пропали, так что у меня, понятно, ничего не получилось.

В результате, проболтались мы дня три у Тамары Никитиной, с которой мы по старой памяти развлекались, как только Сашка выходила из дома — она впервые попала в Питер и ей было что посмотреть! Но с работой не везло: я ухватился за первую же возможность работы — учителем в среднюю школу железнодорожного ведомства (на всех больших станциях были тогда такие школы для детей железнодорожников. Как правило они были лучше сельских и, как я слышал, работать там было интереснее). Недостаток один: находилась эта школа на станции Малошуйка, и ехать туда от Питера надо было сначала через Карелию аж до Беломорска (до станции Сорока), там пересесть, а после пересадки ещё сотню километров по дороге, шедшей вдоль всего южного берега Белого моря. В общем, взял я с собой Сашку и покатали мы за казённый счёт.

Тут хочется процитировать Гринёва: «я приближался к месту моего назначения», когда вдруг слева от поезда открылось Белое море, на берегу деревенька с невероятной, совершенно сказочной рубленой церковью³⁸, а справа тянулись сосновые боры...

Я понял, что не пожалею, если годик поработаю в таких местах, а там видно будет...

Кстати, каждому учителю железнодорожной школы полагался к отпуску бесплатный билет до любой точки СССР, и сколько угодно поездок по «своей» дороге. «Своя» дорога позволяла мне скататься в Петрозаводск, в Онегу, в Архангельск... А годовой билет я решил использовать на всю катушку. И использовал: в начале следующего лета мы прокатились по всей Средней Азии, побывали на Байкале, и ко времени экзаменаци-

³⁸ Деревня эта называлась «Куша-река» или «Кушелевка» (?), а церковка теперь в Архангельске в музее на открытом воздухе «Деревянное зодчество», я видел её там в 1990 году.

онной сессии я был уже в Москве, а Сашка отправилась к родителям на Украину.

Деревня Малошуйка располагалась «у самого Белого моря», в двух километрах от станции. На самой же станции, кроме железнодорожных служб, школы, магазина, да воинской части не было ничего. Часть была «стройбатом», ниже стройбата в тогдашней, да и в сегодняшней военной иерархии, ничего не было. Солдаты там служили только такие, «которым Родина не может доверить оружие», то есть бывшие заключённые, или дети каких-то подозрительных интеллигентов, да ещё — таких тоже было несколько — то ли отчисленные, то ли просто «призванные», из духовной семинарии. Многие из этих ребят ходили в вечернюю школу, где я тоже взял несколько часов литературы.

А Сашка стала вести танцевальные кружки в школе и в уютном клубе Лесокомбината, наспех переделанном из лагерного КВЧ³⁹.

За пару недель до нашего приезда этот Комбинат ещё был просто «лагерем общего режима».

Он находился по другую от станции сторону железной дороги (метров за двести от путей, и назывался «Малошуйский Леспромкомбинат Мин. Лес. Прома». Так гласила наспех и криво написанная на фанерке надпись. Видно было, что её только на днях повесили.

Большинство бывших зеков стали теперь «рабочими леспромкомбината». Жизнь их изменилась очень слабо: ведь они продолжали и работать и жить там же, где еще пару недель тому назад «сидели». Они сами наскоро разгородили бараки досками на комнатенки по обеим сторонам длинного коридора, который шел вдоль всего барака и вел на расположенную в торце общую кухню, поналепили печек из давно валявшегося около станции бесхозного кирпича, и мгновенно завели семьи.

Два раза в месяц в станционный магазин завозили несчётное число ящичков водки, и в дни получки весь бывший лагерь гудел. Драки бывали, понятно, каждую субботу. Только вот вертухаев не было, а привычные для аборигенов вышки даже не снесли. На них только понамотали во много слоёв «колючку» с оград

³⁹ КВЧ — культурно-воспитательная часть, была и, наверно, есть в каждом лагере.

бывших зон. «Колючку» эту некуда было девать, и вышки смотрелись эдакими фантастическими вставшими на дыбы ежиками. Так было по крайней мере до весны. Дальше — не знаю, по окончании учебного года мы уехали.

При мне два десятка собак, красивых откормленных овчарок, погрузили в вагон и увезли в сторону Архангельска. Мне же достался большелопатый щенок с ещё болтавшимися ушами. Он был «внеплановый», так что довольствия на него не полагалось, и капитан, увозивший собак, предложил мне его забрать. Щенку шел третий месяц.

Нас с Сашкой поселили в двухквартирном бревенчатом доме, сработанном на славу. И печь не дымилась, и запас сухих дров был года на три. В нашей квартирке было два больших помещения: кухня метров 30, где стояла плита, и смежная с ней спальня чуть меньшего размера. И никаких тебе обоев, которыми бабы криво и косо оклеивали свои бараки, наспех создавая уют, — нет, честные желтые брёвна и серый сухой мох в пазах.

Еще недавно тут жил лагерный «кум», а за стеной была такая же квартирка начальника лагеря. Теперь в неё поселили присланного по распределению из Киева «главного инженера по транспортной технике», моего ровесника, двадцатитрехлетнего Мирона Каца, только что окончившего Киевский автодорожный институт. По его собственным словам, он «трелёвочные трактора видел только на картинках».

Как-то один работяга из бывших зеков подошел к нему и с наигранной осторожностью, оглядываясь по сторонам, посоветовал молодому инженеру, чтобы тот, когда будет принимать хозяйство, «локомобиль без заводной ручки не принимал ни почём, а то потом материальная ответственность...». Мирон, сразу не сообразив, что локомобиль, «это же ж просто паровоз без колёс», два дня ко всеобщему веселью требовал оную ручку, пока в конце концов кто-то ему не объяснил. Тут главный инженер хлопнул себя по лбу и заржал, показав тем самым, что он не обидчив и что у него есть-таки чувство юмора.

После уроков я возвращался из школы лесом, и было так радостно идти под огромными древними берёзами мимо прозрачного шумливого ручейка, а потом щен Бобка вылетал навстречу... тут, я думаю, и появились первые стихи, которые я и до сих пор считаю стихами. Несмотря на слишком традиционный строй, их точность меня вполне удовлетворяет.

... Ещё не тронул первый луч
Излучину реки у брода,
Где выбивающийся ключ
На мелком месте морщит воду...

Или вот это, которое приведу тут целиком, поскольку оно и есть моё настоящее начало.

Три дня по станции не ходят патрули,
Позавчера собак куда-то увезли,
Одни стройбатовцы, мои ученики,
Долбят бахилами промёрзлые мостки...
А мир всё тот же: неразменная зима,
К земле приплюснутые, низкие дома,
Сугробы, елки, да фонарные столбы,
Да дым, торчащий на морозе из трубы,
Да штабеля стволов сосновых в стороне,
Да застывающий на рельсах блеск огней,
Да звонко слышится, как сквозь ночной мороз
Расконвоированно взвизгнет мотовоз...

Это стихотворение было написано в начале зимы.

А почти всё написанное раньше, до этой беломорской осени, в том числе десяток стихотворений, по которым меня приняли в Литинститут, я в эту осень просто выкинул и забыл.

Я мог это себе позволить. Мне было 23 года.

* * *

В школе со мной работал Пётр Созонович Порядин. Математик, местный человек, настоящий помор, квадратный и мощный, медлительный и обстоятельный, как большинство поморов. Через несколько дней после нашего знакомства, присмотревшись ко мне, он пригласил нас с Сашкой к себе в гости.

Жил он в деревне, на самом берегу, где в отлив на песке всегда валялось несколько мелких парусников и моторок, а на хитроумно расположенных столбиках сушились сети.

Жена его — тоже слегка квадратная и тоже обстоятельная, преподавала географию и пекла удивительные пироги-рыбники с хариусом и луком. Две дочери учились в Петрозаводском Педагогическом институте. А дома «семейство состояло», как выразился Пётр Созонович, из мелкого дворового Шарика и по-

лосатого кота, «самого важного человека в доме». Кот был тоже помор: квадратный, широкий, сам невелик, башка огромная. Он по отливу ходил на охоту, выкапывал из песка всяких морских тварей.

До горизонта в Белом море
Уходит серая вода,
Между кустов, как в коридоре,
Лежат рыбацкие суда...
А полосатый кот, который
Идёт, ища креветок, в даль...
И хвост трубой, над всем простором —
Единственная вертикаль.

Когда кот подходил к столу и, хрипло требуя трески, подымал трубой толстый хвост, Порядин, внимательно оглядывая нагло торчавшие сзади под хвостом шары и, мельком глянув на жену, застенчиво, но с виду сердито говорил коту: «Опусти хвост, непорядок!» При этом особо нажимал на безударный звук «о», который у поморов и без того чёткий.

Порядиным я, уезжая, и оставил одиннадцатимесячного Бобку, которого мне никак нельзя было везти с собой неведомо куда. А они очень рады были занять настоящего породистого овчара!

* * *

Я решил попробовать перейти на втором курсе института на дневное отделение. Игорь, сын тёти Лиды, фоторепортёр, как и его отчим, человек, знавший пол-Москвы, приискал мне работу — учить подростков верховой езде.

Жил я, естественно, у Лиды. Игорь как раз женился и переехал к жене, так что я был водворён в его комнату. Сашку я отправил к родителям на Украину на весь этот учебный год. Она поморщилась, но поехала, понимая, что в этом доме её не очень-то жалуют. Да и делать в Москве ей уж вовсе было нечего. Так что нам с Лидой в этом году не мешал никто...

Год этот был забавным. Мы унаследовали от старшекурсников манеру вешать в коридоре эпиграммы друг на друга, которые назывались модным словом «Да-цзы-Бао». Обычно были вежливые в меру, но появлялись и такие — «Загадка»:

Сидят на подоконнике
Белкины поклонники,
Женькины потомки,
Страшные подонки.

Тут же и перевёрнутый ответ: Харабаров и Панкратов.

Эпиграмм на меня было несколько, но я их все перезабыл.

И вдруг, сорок с лишним лет спустя, кто-то из студентов тогдашних в каких-то мемуарных клочках в Интернете одну из них мне напомнил. Эти клочки я тут и воспроизвожу:

«На заочном есть студент по фамилии Бетаки, худой, лупоглазый и очень странный. Похож на Паганини. Работает гидом в Петродворце⁴⁰, и сам по себе — экспонат, на него можно смотреть и не соскучишься. Однажды в студенческий автобус вошла девушка, ребята ей не уступили места, Бетаки подскочил и съездил одному и другому по физиономии... Не пошел на воскресник строить общежитие Литинститута на ул. Руставелли, и его разделали в „Молнии“ <т. е. в том же настенном листке с картинкой>:

*„Он всем грозитя боем, дракой,
ругает женькины стихи,⁴¹
так за какие же грехи
Бог наградил такой Бетакой?“*

Ходит в брюках-гольф, сделал сам из обычных брюк, обтрепались манжеты, он подрезал их до колен и завязал тесемками⁴². На курсе у них есть творческий метод: бетакизм».

В студенческом автобусе однажды запели наши первокурсники, старшие тут же окрестили их «хор имени Бетаки».

Программа литинститута практически целиком совпадала с программой факультета журналистики МГУ, даже многие профессора работали и там, и тут.

⁴⁰ Напутал неизвестный писатель: в Павловске я работал, да и не «гидом» а «шефом гидов», если говорить на недорусском жаргоне, коим написаны его строки...

⁴¹ Т. е. Евтушенковые сочинения.

⁴² Враньё: это Сашка мне настоящий костюм-гольф сшила!

Некоторые преподаватели были немислимо скучны. Скучнее всех был бывший акмеист Сергей Городецкий, автор когда-то осовеченного либретто оперы Глинки, которая до переработки Городецкого называлась «Жизнь за царя». Городецкий дал ей название «Иван Сусанин», выкинул молитвы, еще что-то переделал, и в таком вот новом виде и под псевдонимом эта опера шла до последних, кажется, лет. Городецкий вёл «творческий семинар», который очень мало посещали, разве что из «исторического» интереса кто-нибудь заглянет, как в музей, с единственным, впрочем, экспонатом: тощим, угловатым, седым, слегка сутулым... но громким. И всех поучавшим, как жить и как быть патриотом...

Были и совсем другие преподаватели. На втором курсе, перейдя на дневное отделение, я оказался приписанным на год к семинару Сергея Наровчатова. Поначалу моё крайнее недоверие к большинству поэтов «военного поколения», о котором я уже писал, не давало мне с ним сблизиться. Я очень удивился, когда узнал, что он бывший ифлиец, привыкнув считать, что преуспевающие поэты *этого* поколения все «от сохи и станка».

А он сам почему-то меня в семинаре как-то выделял. Пару раз мы беседовали на бульваре за воротами института, потом он пригласил меня к себе на Трубную, и я стал у него часто бывать. Наровчатов очень ярко высветил мне Гумилёва, которого я тогда и полюбил, обратил мое внимание на лучшего раннего Тихонова, и как-то раз повёл меня к этому старому поэту в гости, предупредив, чтобы я разговаривал, если придётся говорить о тихоновских стихах, только о тех стихах старика, которые мне и вправду нравятся. Я из любопытства пошёл, но того Тихонова не увидел, как ни старался. Передо мной был прилизанный и розовый советский чиновник в отставке.

Единственное, что косвенно напоминало о том, что передо мной гумилёвский ученик, было присутствие крупной серой совы. Она неслышно и даже глаз не раскрывая, перелетала то с чернильного прибора на плечо хозяина, вцепляясь коготками в толстый свитер, то обратно с плеча на прибор.

Я по просьбе Сергея что-то прочёл, Тихонов вежливо что-то сказал. Потом принёс коньяк и налил нам и себе... О чём мы эти два часа говорили, даже не запомнилось... Осталась в памяти только сова — она почему-то все-таки напоминала о строках «Я одержимый, дикарь, я гол,/ Скалой меловою блестит балкон/ К Туч-

кову мосту шхуну привёл/ Седой чудак Стивенсон...» А поэт, тоже седой, но уже давно не чудак — с погасшим взглядом — навёл на меня только скуку. Когда мы вышли, я всё это высказал Сергею. Он в ответ предложил зайти к нему и выпить как следует. А прощаясь, уже весьма нетвёрдым языком, тревожно пробормотал, что не знает, не станем ли и мы оба такими же. Я ответил, что уж лучше тогда сдохнуть. Он промолчал и ни к селу ни к городу сказал, что вот скоро женится и пить бросит, что дал слово «ей», а оттого ему возможно и верно грозит участь Тихонова...

На семинарах этого «последнего романтика», да и у него в гостях я бывал до конца учебного года, то есть до июня 1955. На третьем же курсе, когда я снова перешёл на заочное отделение, его уже вообще не было в институте. Ходили слухи, что он и верно больше не пьёт, а вместо этого в диком темпе делает в писательских кругах партийную карьеру.

Его новую жену, красавицу и художницу, я один раз у него видел. Её заботами прежняя богемная холостая квартира исчезла мгновенно, а в новую, ставшую по мановению её волшебной ручки, номенклатурно-мещанской, мне ходить не хотелось. Поэта Сергея здесь уже не было. Он, конечно, и раньше сочинял не бог весть что, но всё же был поэт, а превратился просто в некоего бывшего красавчика, вроде спившегося пятидесятилетнего Есенина... Тот прежний, только начинавший лысеть, остался в памяти, как остаются покойники, а с новым я был вроде знаком, да вот...

* * *

В числе институтских преподавателей был профессор Сидельников, фольклорист, которого прозвали «Окарач», поскольку это слово из былины об Илье Муромце (князь Владимир со страху от свиста Соловья-разбойника «окарачь ползёт⁴³») профессор произносил с особенным смаком.

Сидельников был непроходимо патриотичен и глуп, в отличие от «бабушки» — профессора Астаховой, которая тоже читала фольклор, но весело и как-то очень по-домашнему. Она

⁴³ Профессор Окарач пишется без мягкого знака, иначе бы он был наречие, а не профессор.

даже на лекции приходила с большой хозяйственной сумкой. Мы ее любили и прозвали «Общей Ариной Родионовной». Сокращённо — ОАР⁴⁴.

Был ещё гениальный Асмус, нервный, худой и в чёрном всегда, как пастор, читавший «марксистскую» эстетику, как поэму.

Был грузный, в неопределённого цвета пиджаке, вечно обманном мелом, профессор Яков Металлов, читавший скучно и в меру ортодоксально то, что тогда именовалось «зарубежной литературой».

Именно он послужил третьекурснику Евгению Евтушенко прототипом образа профессора в одном из лучших его стихотворений тех лет, да, наверное, и вообще из лучших: «Окно выходит в белые деревья». Эти стихи обсуждались на семинаре некоего болвана, «поэта» Василия Захарченко. В этом стихотворении есть, конечно, одна странность: до сих пор не могу понять, почему это профессор «забыл... правила деления»? Вроде бы ни на каких факультетах начальную арифметику не читают, а в начальной школе профессора обычно не преподают...

Но тут, думаю, для Евтушенко важнее всего была рифма «деревья — деления», именно она вела поэта, как впрочем, до сих пор всё водит и водит...

Ещё была у нас полненькая, очень спелая, в кудряшках и вечно поигрывавшая телесами, преподавательница русского языка М. У., одинокая, примерно сорокалетняя, с которой уж никак нельзя было не завести лёгкого романчика, так плотноядно она поглядывала на многих студентов. Я как-то занёс ей домой сдать опоздавшую к сроку письменную работу, ну а ушел уже утром. Говорили, что это её обычная манера обращения со студентами. Во всяком случае, она многим нравилась, но главное — ей многие нравились. Было с ней и уютно и весело одновременно.

* * *

Рядом с Литинститутом на Тверском Бульваре находился театр (бывший «Камерный»). Оттуда происходил актёр и режис-

⁴⁴ Объединённая Арабская Республика — просуществовавшее несколько лет объединение Сирии и Египта. Потом некоторое время так назывался оставшийся в одиночку Египет.

сёр Колин, артист некогда закрытого и разогнанного Еврейского театра, руководивший в Литинституте драмкружком.

В этот сезон он решил ставить со студентами «Коварство и любовь» Шиллера. На самую трудную роль, секретаря Вурма, он взял поэта Леонида Завальнюка, в достуденческое время — актёра-профессионала из Благовещенского театра на Дальнем Востоке. А сейчас, на старости лет, Завальнюк стал, кажется, художником.

Пышная, с пепельными волосами, восемнадцатилетняя Тамара Жирмунская получила роль Луизы, а мне досталась роль Фердинанда. Имея некоторый актёрский опыт, я понял, что Колин мне, резкому и быстрому, дал «роль на сопротивление»: Фердинанд по его замыслу был очень мягок, сентиментален и нерешителен.

Не знаю уж почему, ведь играл я во многих спектаклях и в разные времена, но эта роль осталась в памяти. Наверное, потому, что ни Чацкий, ни Бержерак, а, ни одна из моих прежних ролей кроме Фамусова меня так не радовала, видимо, тут действительно получалось тоже всё как надо.

Студенты наши были, естественно, очень разные. Запомнились мне, в основном, либо друзья, либо враги. Весёлый пьяница и детский писатель Витя Третьяков, поэты Кирилл Ковальджи и Гена Лисин (Айги), албанец Вангел Гьечи, падчерица Паустовского — критик Галя Арбузова, поэтессы Ирина Озерова, Лариса Никольская, Лора Румарчук и Тамара Жирмунская, а также новеллист, восторженный ученик Паустовского, Рим Ахмедов, башкир, писавший по-русски, — были из друзей. К Ю. Панкратову, старавшемуся напустить на себя флёр запретности⁴⁵, я тогда относился ещё нейтрально. А вот Евтушенко, который был курсом старше, я иначе как цензурованным бунтарём тогда и не называл. Ну, был ещё и его близкий приятель, всегда невыносимо серьёзный «Робот Тождественский», тоже «цензурой хваленый бунтарь», который неизменно вызывал у меня своим комсомольским сервиллизмом рвотную реакцию такой силы, что когда на чьем-то семинаре он читал какие-то «заполярные» стихи, я открыто морщился и от самих стихов, и от

⁴⁵ Его стихотворение «Страна Керосиния» было весьма популярно в институте... Позднее он, кажется, в «патриоты» подался. Шовинизм всегда есть результат комплекса неполноценности.

его неприятного заикания. Ну зачем же, если два слова произнести не можешь, вслух-то читать? Всё равно, что танцевать на костылях: и не виноват, а противно.

Но к нему я испытывал только презрение. Настоящими врагами, «классовыми», были «рабоче-крестьянские» пииты, вроде полуфашиста Егора Исаева с его безграмотным русопятством. Самым ругательным словом для него (куда хуже мата по его шкале), было слово «литературщина». Кроме Исаева, был еще поэт Цыбин (сейчас даже забыл, как его звали) — тоже весьма «народно-агрессивный», и тоже заслуженно забытый. Недавно я от кого-то слышал, что у Цыбина огромная библиотека, а тогда среди студентов он прославился фразой: «если я читать буду, то самобытность потеряю».

Ещё была такая Люда Щипахина (произносимая, конечно, как *Щупахина*), писавшая политические вирши в эдакой задумшевной манере, смазливая девчоночка, одевавшаяся на манер пионервожатой. Не знаю, так я и не понял, во что тут влюбился мой тогдашний ближайший друг Гена Лисин (впоследствии Айги)...

* * *

Мы с ним очень подружились на втором курсе. В то время его стихи никто не хотел печатать, всё говорили, что «на Пастернака похоже», или что «далеко от генеральной линии нашей литературы», ну и прочую подобную чушь. Так всё паршиво и шло, пока милый хитроумный Михаил Светлов, руководивший семинаром, в котором Гена числился, не посоветовал Гене писать по-чувашски.

«Послушайте меня, Лисин, я человек мудрый, только вчера телевизор пропил» — говорил Светлов, спускаясь с лестницы после семинара вовсе не с той задиристостью, с какой некогда на своём диванчике скакал в Гранаду («по-евоному» в Гре-наду?).

Гена его послушался.

Наши институтские подстрочничкоеды стали его потихоньку переводить на русский. А когда он сам перевёл на чувашский язык «Гайавату» (не с английского, которого вовсе не знал, а с буинского перевода), Гена сразу стал широко известен, по крайней мере в Чувашии, хотя жил, разумеется, в Москве.

Работал он после института, как мне рассказывали, в музее Маяковского. Переводил на чувашский почему-то французов. Мне кажется, что французского Гена тоже не знал, но тут я могу и ошибаться. А собственные русские стихи его так и не печатали. Первая книга — сразу очень толстая, «полная», — вышла только в восьмидесятых годах в Париже. Книга эта, набитая одними короткими верлибрами, явно написана с расчётом на самую лёгкую переводческую работу для французов или англичан. Составила её профессор Вероника Лосская, человек знающий, но, как и большая часть второго поколения первой эмиграции, насмерть лишённая какого-либо чувства юмора, до отвратности серьёзная (ещё серьёзнее сверхбогомольного Никиты Струве, если такое можно вообразить!). После того, как Лосская получила отказ в издании «непонятной», а по сути просто абсурдистской, книги Айги от Имкипресс (тот же Никита), и последовал отказ от более серьёзного и никак не религиозного «Посева», книгу эту в конце концов выпустила Марья Синявская в своём издательстве «Синтаксис», типография коего со всеми машинами располагалась просто в обширном подвале дома Синявских в парижском пригороде Фонтене-о-Роз.

А тогда, в 1955 году, Лисин жил в общежитии, размещавшемся в Переделкине в пустых литфондовских дачах, ежедневно ездил в Москву на Тверской бульвар и очень стеснялся своего голодного положения, хотя тогда почти все студенты жили не лучше.

Через год, когда я снова был заочником, поскольку работал уже в Павловске, в солидной должности старшего научного сотрудника-методиста, Гена, только что опубликовавший свой перевод «Тёркина» на чувашский, и тоже слегка «разбогатевший», за столиком в «нашем» кафе, на углу Тверского бульвара и улицы Горького, сказал мне: «а знаешь, так приятно быть классиком хотя бы и в своей Тмутаракани!». «Классиком», строго говоря, был, конечно, не он, а переведённый им на чувашский язык Твардовский. Я тогда как раз начал переводить Байрона в семинаре Т. Г. Гнедич, так что фразу о классике Лисину тут же и вернул, только вместо Тмутаракани вставил Питер и добавил, что «мой-то классик покрупнее твоего будет!» Мы долго хохотали по этому поводу.

В 1959 году после вполне приятной защиты дипломной работы (оппонировала, точнее хвалила мои стихи и особенно переводы из Л. Хьюза, «прекрасная дама» нашего института — Вероника Тушнова), я учинил на госэкзамене крупное литературное хулиганство, (об этом — чуть позднее) за что и госэкзамен, и выдача мне диплома были отложены на год. Генка меня изругал, сказав, что «сладостный миг укоризны» не стоит года... «А что мне год? Ну сдам паинькой в следующем, — возразил я, — ты-то чего расстраиваешься?».

Но Гена уже не хотел понимать моего легкомыслия. Он начал мыслить более, с его точки зрения, солидными, а с моей — скучными, «положительными категориями». Именно тогда я и почувствовал в нем первые ростки того прагматизма, который пробежал, как пресловутый кот между нами, и процитировал ему (не коту, а Лисину) Маяковского: *«надеюсь, верую: вовеки не придёт / ко мне позорное благоразумие»*.

После окончания института мы не виделись с Геней около четверти века... А в восьмидесятых годах он приехал в Париж и остановился у поэта Леона Робеля. Репутация у Робеля среди эмигрантов, да и среди французских профессоров-славистов, была хуже некуда — видный коммунист, «лучший друг Советского Союза», переводчик самых что ни на есть официальных советских поэтов и недопоэтков. Я все-таки решился позвонить⁴⁶.

И вот мой когдатошний близкий друг Гена, не дав мне и слова произнести, протрещал скороговоркой, что он, мол, помнит, как мы дружили, всё помнит, всё, но времени у него нет, чтобы повидаться.

Я выслушал эту пулемётную тираду и, сказав: «Ну, извини», повесил трубку.

Недавно я рассказал об этом эпизоде «Луизе», нашей бывшей однокурснице Тамаре Жирмунской, живущей теперь в Мюнхене. Мне хотелось понять, Робель ли повинен в том, что Гена так от меня отделялся. Он ведь знал, что я работаю на радио «Свобода», да ещё и в «Континенте» — может быть, не хотел обнаружить своё знакомство с таким нехорошим, дважды антисоветским человеком перед ФКП в лице Робеля. А может,

⁴⁶ Ведь звонил же я туда однажды, когда у Робеля останавливался Андрей Вознесенский, который, кстати, и дал мне его телефон вполне спокойно!

просто испугался, зная, что по возвращении домой его спросят, с кем из эмигрантов он встречался в Париже. Знакомство с кругами писателей третьей эмиграции безусловно было криминалом, знакомство же с Вероникой Лосской, компроматом не являлось. Лосская — дочь «первых», то есть белых эмигрантов, а они уже давно врагами не считались.

Однако, Тамара, выслушав мою историю, высказала предположение, переходившее в уверенность, что Геннадий Айги просто хочет держаться как можно дальше от всех, «кто знал Гену Лисина и помнит, что у него не было костюма, и ходил он весь год в лыжных штанах»⁴⁷. Может, и вправду так... Тогда особенно жаль — такого жлобства я никак не мог от него ожидать... Жаль... Потому что он и поныне мне симпатичен...

А вот — для контраста — другие — два человека, с которыми я никогда не был так близок, как с Лисиним, но которые считали трусливым и непристойным не встречаться за границей со старыми знакомыми.

Речь идет о Булате Окуджаве и об Андрее Вознесенском. За Окуджавой я подъезжал в центр Парижа на машине почти к самой гостинице, где он останавливался, и мы ехали ко мне или в кабак, где подавали устриц и прочих «морских гадов». И Окуджава, и Вознесенский встречались в Париже с очень многими «опасными» людьми — с Синявскими, с Галичем, а Вознесенский заходил даже в «Русскую Мысль» к старику-буддисту Кириллу Дмитриевичу Померанцеву. Не заходил он только в редакцию «Континента», да и то потому, что Максимов относился к нему лично далеко не лучшим образом.

Кстати, за это вот «одинаковое отношение ко всем советским» и в частности к Вознесенскому, главный редактор «Континента» и автор часто злых и несправедливых «колонок редактора» как-то был подвергнут печатному «избиению» в староэмигрантской Нью-Йоркской газете «Новое Русское Слово» весьма рыцарственным, хотя и вздорным, Наумом Коржавиным, членом редколлегии нашего «Континента». Впрочем, к чести обо-

⁴⁷ А впрочем, кроме Евтушенко и Рождественского, кажется, никто из студентов тогда в костюме не ходил. Разве что зоолог, известный популяризатор Игорь Акимускин, который был уже канд. биологических наук и значительно старше нас всех.

их, дружба Максимова с Коржавиным после этой резкой статьи не отощала.

* * *

Но надо вернуться к Литинституту и рассказать об упомянутом выше хулиганстве, стоившем мне года. Сама история выеденного яйца не стоит, но здорово характеризует кругозор сразу пяти наших профессоров и доцентов, членов Государственной экзаменационной комиссии на выпускных экзаменах 1959 года.

Итак, я взял со стола комиссии экзаменационный билет и сел на своё место для подготовки. Первый вопрос был «Чапаев, Фурманова, как выдающееся произведение социалистического реализма». Второго вопроса не помню, поскольку до него дело не дошло.

Я вышел отвечать и начал что-то бойко говорить о тут же на месте выдуманном «жанре документального романа, романа ближайшего будущего», о Чапаеве и Фурманове, и себе на горе упомянул про сцену с картошками, которыми Чапаев «моделировал диспозицию войск». Тут меня прервал один из членов комиссии, некий Апресян, не то марксист, не то литературовед (хочется добавить «в штатском»). Впрочем, Апресяна тут же оттеснил профессор Кирпотин — они в два голоса сказали, что картошек в романе нет, они только в фильме, так что получается, что романа-то я и не читал! А раз я не читал одно из самых «основополагающих произведений социалистического реализма», значит я и «о единственном настоящем методе литературы не имею понятия...»

Тут я перебил Кирпотина, сказав, что не только знаю всё (так вот и сказал «всё») о соцреализме, но даже сам изложил теорию этого метода в стихах!

«Да ну! — иронически изумился председатель Гос. экзаменационной комиссии, критик (этот уж точно в штатском) Валерий Друзин, бывший редактор, кажется, «Звезды» и будущий «главный» «Литературки», («Литера от урки» как мы её называли) — не прочтёте ли кусочек?».

Я только этого и ждал, и медленно, нараспев, стал читать очень нравившийся мне и особо подходящий к случаю отрывок из только что вышедшего в переводе Э. Линецкой «Поэтического искусства» Буало. Как известно, произведение это излагает

теорию классицизма, в нем Буало подытоживает опыт своих современников — Корнеля, Расина и прочих китов французского семнадцатого столетия.

Смотрю — и Кирпотин, и Апресян, и Друзин, и «специалистка по современной западной» Мотылёва, и кто-то пятый, все головами кивают. Очень им нравится соцреализм, так верно и подробно изложенный стихами! Ну, думаю, наглость спасла!

И надо же, чтобы в этот момент дверь открылась и в аудиторию заглянула французская переводчица, доцент Валентина Дынник, та самая, которой Есенин когда-то посвятил стихотворение «Письмо к женщине»: «Вы помните, вы всё, конечно, помните...» Дынник-то уж и верно «всё помнила». Так что помявшись секунду на пороге и пробормотав «Ах, простите, мне не сюда...», собралась уже уйти.

«Как не сюда? — удивился в свою очередь Друзин, который был председателем комиссии, — садитесь, садитесь!»

«Да нет, я же на госэкзамен по советской литературе, а тут сдают, как я слышу, западноевропейскую», — растерянно продолжала Дынник.

Друзин аж подскочил: «Какую ещё европейскую? Советскую, советскую сдают!»

«А почему — Буало?» — Совсем уже растерянно спросила Дынник.

«Какой Буало???»

«Ну, я слышу, цитирует этот студент «Поэтическое искусство» Буало, — только недавно вышел полный перевод...»

В общем, немая сцена похлеще, чем в «Ревизоре»! Пять советских литературных (и как им думалось, культурных) чиновников застыли в таких позах, которые поставить на сцене под силу было бы только Акимову, ну, на худой конец — Товстоногову...

Дынник, так ничего и не поняв, села и, хлопая глазами, воззрилась на Друзина, который наконец всё понял и, торжественно вытянувшись во весь рост, произнёс: «Бетаки, Вы — типичный ревизионист, придёте на следующий год!»

И сел с самодовольным сознанием выполненного партийного долга. В 1959 году слово «ревизионист» было самым употребимым политическим ярлыком, так что смысла искать не надо. А на следующий год, когда я благополучно сдал экзамен, уже не

было ни самого ярлыка, ни того, кто его на меня навесил: Друзин ушел кажется в «Литературку», конечно же, «Главным», а прежний ярлык сменился другим, столь же дурацким, но каким — не помню.

* * *

Однако вернемся из 1959 назад в 1955 год.

Мы с Сашкой перебрались тогда в Ленинградскую область, где я стал работать в средней школе села Пашозеро. От Тихвина, ближайшей железнодорожной станции, до Пашозера было примерно 150 километров. Половину этого расстояния до села Шугозеро, проезжали на автобусе, а вторую половину — кто как может. Машину можно было встретить не чаще раза в неделю на узкой лесной дорожке, раздолбанной трелёвочными тракторами... Второй, относительно близкой к Пашозеру, станцией было Лодейное Поле на севере, но до него было, наверно, все 170 километров. И оттуда уж вообще никакого транспорта — разве что тоже случайная попутка, если дождей нет...

Село стояло на озере — разливе реки Паши, крутом были тетерева и грибы, чуть подалее в лес — медведи на которых я и не умел охотиться и побаивался, а в единственном местном магазине — шпроты, мука, подсолнечное масло и грецкие орехи.

Короче говоря, жить надо было на подножном корме. Молодой учитель ботаники из местных жителей сразу научил меня ставить силки на рябчиков, тетеревов и глухарей. Их приманивали рябиной, которой было вокруг видимо-невидимо. Через несколько дней в Тихвин пришли и два моих чемодана с багажом, отправленные малой скоростью. В одном чемодане, среди прочего хлама, лежало и моё старинное ружьецо. В Пашозере я охотился последний раз в жизни, и там без охоты непонятно было, как кормиться...

Ботаник, белокурый вепс, увалень, по-моему, лет двадцати с хвостиком решил надо мной подшутить. Перед моей поездкой за багажом он подвёл меня к табуно и выбрал мне для поездки лошадку. Я сразу заметил, что она была совсем молоденькая, явно необъезженная, однако, ничего не сказал. Но с лошадкой, понятно, стал обращаться соответственно ее молодости и необъезженности. Первым делом я зашел в избу за сахаром, а уже

потом, на глазах у несостоявшегося насмешника, к его немалой досаде довольно быстро привел кобылку, что называется, в христианский вид. Она от природы была достаточно смиренная и не упрямая, так что объездить её не составляло большого труда.

У вепсов не было настоящих кожаных седел, они употребляли грубо вытесанные топором деревянные, не очень надёжные. Такое седло мне и досталось, правда, подпруга была из хорошей кожи.

Потрюхал я на моей молоденькой лошадке в райцентр Шутозеро, оставил ее в первом попавшемся доме и поехал на станцию на автобусе. Вернувшись к моей лошадке, я приторочил чемоданы за седлом вперемет (по бокам), и пустились мы в обратный путь. И вот уже почти на спуске к озеру дорогу неожиданно перебежали нестрашные августовские сытые волки. Юная кобылка понесла, я ее как-то удержал, но чемоданы свалились, раскрылись, барахло рассыпалось по дороге. Обернувшись на скаку, как только дорога повернула, я увидел, что волки с интересом нюхают сашкины тряпки. За поворотом дорога резко спускалась к озеру, и лошадка, не останавливаясь, заскочила на паром. Я спрыгнул, взялся за веревку и перетянул паром на другой берег. За вещами пришлось потом вернуться — волки не украли даже ружье, и тряпок не съели.

Итак, теперь я преподавал литературу в такой «глубинке», о существовании которой раньше не мог и подозревать. Жить здесь было можно, только все же тоскливо.

Тут-то в Пашозере и застал меня «секретный» доклад Хрущева. Парторг школы вслух зачитал его на общем учительском собрании. Почти вся школа слушала, вроде бы молча, но до меня доходило шушуканье, учителям хотелось встать на защиту оскорблённого «предателем и троцкистом Хрущевым товарища Сталина». Кажется, только я да учительница рисования не разделяли общего недоуменного возмущения.

А парторг, закончив свой доклад уже в коридоре сказал директору, что он, конечно, «по приказу из райкома прочёл всё это, но не следовало бы, ох не следовало бы... Ну, даже если допустить, что это правда, разве можно, чтобы не члены партии слушали такие вещи!»

После доклада обстановка в школе как-то ухудшилась, и зимой мои отношения почти со всей школой стали глухо враж-

дебными. Так что ближе к весне я позвонил в РОНО и попросил, не объясняя причин, перевести меня в какую-нибудь другую школу. Зав. РОНО, относившийся ко мне с самого начала неплохо, обещал это сделать. По-моему, он что-то понял. Но другая школа мне, к счастью, не понадобилась. Когда в Шугозере в районном Доме культуры вдруг худрук вышла замуж и уехала в Питер, я без сложностей оказался на её должности и со школой распростился (как потом оказалось — навсегда).

Ранней весной, узнав о том, что вскоре состоится в Питере очередная «конференция молодых писателей Северо-Запада», я послал в Питер стихи и свою краткую биографию, и получил приглашение на эту конференцию. Вместе с приглашением пришла короткая записка от Глеба Сергеевича Семёнова о том, что он и М. С. Довлатова «очень рады, что исчезнувший из Питера непонятным образом шесть лет тому назад Василий Бетаки снова обнаружился».

ПАВЛОВСК

(1956—1962)

Павловск. А. И. Зеленова. Главный методист.

«Кузьминский, Герман и все все, все» (кроме Винни Пуха).

Из ненаписанного дневника. «На койке Павла Первого».

Сага о Кучумове. Звери в парке. Коты сторожевые.

Высокое начальство в кустах. Бельгийский посол и

княжна Шаховская. Связи с Парижем и с НТС. Люди-вехи?

С этой конференции начался новый период моей жизни. Я встретил на ней Колю Мареева из Павловска. Мы вместе когда-то посещали литобъединение Довлатовой при «Молодой гвардии».

Услышав от меня, что я работаю в школе у чёрта на рогах, он тут же предложил мне попробовать устроиться экскурсоводом в Павловск: «поначалу на сезон, а там увидим». Коля был хорошо знаком с директором, а я с детства хорошо знал Павловский парк.

И вот на следующий день после этого разговора мы с Колей встретились около Павловского дворца.

В директорском кабинете сидела женщина абсолютно неясного возраста: то ли ей все пятьдесят, то ли тридцать. Толстые очки, беретик, да какая-то зимняя кацавейка. А на столе — кучки книг, бумаг, ну, просто классический «синий чулок». «Садитесь, Коля и Вы... Как Вас зовут? Вы, наверное, тоже что-то пишете?».

Через несколько минут Анна Ивановна Зеленова знала про меня почти всё, что ей было нужно. Отодвинув бумаги и сняв очки, она предложила мне почитать стихи. Я прочёл пару новых. Она кивнула, что мол ясно, и стала неназойливо, но задавая точные вопросы, направлять разговор об искусстве осмнадцатого века, всё больше и больше сворачивая на Павловск. Я с радостью заметил, что она осталась довольна моим знанием Парка и отчасти дворца (весьма в то время приблизительным). Как я понял позже, главным образом ей понравилась моя манера говорить. Потом она как-то отпустила мне комплимент: «сочетание двух несовместимых вещей: речь тщательно книжная и вместе с тем живая, и даже очень».

В общем, я тут же получил предложение каждый день ходить во дворец заниматься «по объекту» с научными сотрудниками для того, чтобы летом водить экскурсии по выставке «История создания и реставрация Павловского дворца и Парка».

* * *

Эта выставка открывалась в полуциркульной анфиладе Фрейлинского корпуса через месяц. Кроме меня, по ней готовились водить две девочки, окончившие искусствоведческий факультет Академии Художеств. Всего экскурсоводов, считая со мной, было восемь: четверо уже водили по парку в прошлом летнем сезоне, да трое новых.

Дворец к тому времени уже два года как реставрировался, и все научные сотрудники, включая директора, только реставрацией и занимались. Было их тогда четверо.

На лето нас с Сашкой поселили в мансарде небольшого, чудом не развалившегося еще здания, за цветником. Зимой там выдавали напрокат лыжи, а летом эти помещения пустовали. Так вот обзавелся я дачей, и какой! Прямо в центре Парка! А вот ни квартиры после сезона, ни прописки не было, и повернись

всё худшим образом, пришлось бы мне снова катить в «солнечную Вепсарию» за 400 км от Питера, или куда ещё, как в то время многочисленным «кочевым учителям». Но обернулось все не хуже, чем у Золушки.

Научными сотрудниками Дворца-музея были три дамы выше средних лет. Самой энергичной из них была Наталья Ивановна Громова. Ей было за шестьдесят, но энергии ей было не занимать. Больше всего времени она проводила с реставраторами, разбиралась и в обычном строительстве, и в тонкостях реставрационных работ. Она же заведовала «свалкой». Так она называла кладовые, в которых были разложены и расклассифицированы обломки лепного декора, чудом уцелевшие деревянные обломки убранства и куски мраморных статуй, собранные ею и Зеленовой на руинах дворца после пожара. Они обе пешком пришли из города через пару недель после освобождения Павловска, поселились в пустом домике лесника и принялись готовить будущую реставрацию: лазить по руинам с несколькими бывшими парковыми рабочими и собирать всё, что только могло пригодиться для восстановления.

Кстати, официально в экскурсиях следовало рассказывать, что дворец сожгли, отступая, немецкие войска, но на самом деле загорелся он через неделю после того, как ни одного немца и за сотню километров не было⁴⁸, а во дворце стояла советская воинская часть. Дворец сгорел случайно, по растяпству, видимо, загоревшись от солдатской «козьей ножки» (так назывались трубки из газеты, скрученные «фунтиком» и набитые махоркой).

Только что демобилизовавшийся архитектор Олейник, который уже заканчивал общий проект восстановления дворца, подозревал, что дворец разграбил, а потом поджег кто-то из советских офицеров. На это А. И. Зеленова резонно возражала, что ее назначили директором в первые же дни войны⁴⁹, что она командовала эвакуацией всех музейных ценностей, и уж она-то знает, что во дворце оставалось только немного мебели. Нечего там было грабить.

Эвакуировали содержимое дворца вот по какому принципу: образцы мебели, по три-четыре предмета из каждого мебельно-

⁴⁸ В Павловске стояла испанская «Голубая дивизия» так что немцев тут и вообще-то почти не было.

⁴⁹ Было ей тогда 27 лет!

го гарнитура, а фарфор весь, до последней чашки, и до последнего канделябра вся бронза. Причём, мебель и скульптуру свезли в подвалы Исаакия, а мелкие предметы и картины отправили в Новосибирск, откуда они только что прибыли в специально созданное в середине пятидесятых годов «Центральное Хранилище Музейных Фондов».

Хранилищем руководил Анатолий Михайлович Кучумов, он же и привёз всё это из эвакуации. О Кучумове будет особый разговор.

Мебелью, фарфором и вообще всем прикладным искусством занималась с нами Зеленова.

Но вернёмся к Громовой. Наталья Ивановна занималась с нами парком. И кроме его истории, она знала столько о лесном хозяйстве и садоводстве, что главный лесник, до войны окончивший Лесную Академию, часто с ней советовался. Нам пятерым она выдала невесть откуда взятые старые велосипеды и поехала с нами по экскурсионному маршруту, то и дело останавливаясь, чтобы что-нибудь рассказать или проверить, как усвоен прошлый урок.

Вторая дама, тоже старший научный сотрудник, была хранителем парка. Звали её Ксения Ивановна Куровская и была она повыше средних лет. Кто-то, пару лет спустя, кажется Миша Герман, прозвал её «Зав. дубами». Куровская числилась партторгом и Зеленова говорила мне потом о ней так: «Ксения меня подневольную давит, чтобы я с райкомом не поругалась, ведь кроме меня и двух лесников, все прочие беспартийные. Она научила меня нехитрой штуке, как вообще интеллигенция с партией должна работать — поддакивать с важным видом, только как можно многословнее, ну, а как до дела доходит, тут уж поступать по-своему, только не попадаться».

Эта максима стала для нас «не догмой, а руководством к действию»⁵⁰.

Четвертая дама из научных сотрудников единственная не была Ивановной — ее звали Маргарита Васильевна Дергачева, и занимала она должность методиста экскурсионной работы. Она занималась с нами живописью, скульптурой и, главное, «общим веденьем экскурсий», причем была невероятна строга: того, кто

⁵⁰ Высказывание Сталина о марксизме.

невыразительно молотил наизусть заученный текст, она терпела недолго. Она «отправила подальше» двух девочек и одного парня, несмотря на то, что они были историками искусств с университетскими дипломами.

Её научная работа, которую она уже два года писала, называлась «Литературный Павловск» и рассказывала обо всех литераторах восемнадцатого и девятнадцатого столетий, как-либо связанных с Павловском. Что касается века двадцатого, то она предложила мне продолжить эту работу, мотивируя свое предложение следующим образом: «раз вы знакомы с некоторыми писателями лично, так и писать о них вам куда проще».

Дело в том, что в июне я уже был принят в штат в должности младшего научного сотрудника, и какую-то работу мне полагалось писать. И вот Маргарита Васильевна сделала меня своим продолжателем. Мы тогда вместе посетили Ольгу Форш, жившую на даче в Тярлеве или в Глазове, совсем рядом с парком.

А в середине летнего сезона Маргарита Васильевна вдруг вообще перестала появляться в музее. Под секретом (почему такое всегда под секретом?) Анна Ивановна сообщила мне: «у Маргариты опухоль, и едва ли она доживёт до зимы».

Я спросил, знает ли об этом сама больная, и получил вот какой ответ: «С прошлого года знает, а мы только в мае от неё узнали. И ещё она просит, чтобы Вас назначили главным методистом. Я ей обещала. Так что с августа извольте», — и повернувшись, пошла по лестнице вверх, в свою квартиру.

Квартирка Зеленовой была на антресольном этаже всё того же фрейлинского корпуса. Она жила с матерью, Анной Тимофеевной, которая была удивительно молчалива, не вмешивалась ни в один разговор за чаем, но постоянно подкладывала гостям свои великолепные пирожки.

Так вот я и стал работать методистом экскурсионной работы, а заодно был тут же произведён и в старшие научные сотрудники.

...В день, когда меня возвели в этот сан я был занят перетаскиванием папок и прочего барахла в выделенный мне кабинет. И тут меня позвали к телефону.

«Вася... Это Довлатова говорит... Вышел «Молодой Ленинград»... Можете зайти... Получить свой экземпляр...».

Говорила она так, словно капли металла падали...

Но лучше по порядку.

Маргарита Степановна Довлатова, тогда была редактором ленинградского отделения издательства «Молодой Гвардии» (подробнее о ней рассказано в книжке её племянника и воспитанника Сергея Довлатова «Наши»). И ещё она была руководителем «центрального городского литобъединения молодых поэтов», о котором я тут уже подробно рассказывал. Она же задумала (и главное осуществила!!!) «пробила» издание нового альманаха «Молодой Ленинград». Вот это и был его первый выпуск.

Я тут же, бросив на столе кучу папок, поехал в «Дом книги». Поднявшись на шестой этаж, перед дверью в кабинет М. С. столкнулся буквально носом к носу с молодым человеком примерно моих лет, в тщательно (а не как у меня!!!) отглаженном костюме и в больших очках. Мы оба сделали шаг назад. «Ну как Чичиков с Маниловым!» сказал он. Мы оба расхохотались и постучали в дверь. Вошли. Увидев наши смеющиеся рожи, Довлатова удивлённо спросила: «Так вы знакомы?»

«Нет...»

Мы снова рассмеялись.

«Садитесь, мальчики! С первой публикацией вас! Вот вам по экземпляру. Ну и надо же вас познакомить! Это Саша Кушнер. А это Вася Бетаки...»

Не помню, первая ли публикация это была для Кушнера. Для меня точно первая. Было там в этом номере альманаха два его стихотворения, не помню какие, и одно моё, из которого помню только две строчки:

...И челнок спихнув по траве,
На тугое весло нажать...

Сейчас, полвека спустя, я не стану вспоминать, что там за стишки были. А лучше просто вывешу тут совсем другие. Недавние, написанные сорок лет спустя после нашего знакомства...

СТИХИ о ПРОЗЕ

А. Кушнеру

«Ум ищет божества, а сердце не находит»

Пушкин

А была ли она — благодать?
Та, простая, которую только
Можно бунинским часом назвать?
Без сомнений, без смысла, без толка
Устоялась уездная мгла.
Как щедра ты, небесная милость —
На перине купчиха томилась,
Не иначе — студента ждала.
То ли «Нивы» измятый листок,
То ли скука апухтинской блажи,
Всё впечатано в память, и даже
Из-за леса дымок да свисток...
Эту глушь станционных платформ
Бунин как-то сумел — без описки:
Ямщики, паровоз, гимназистки,
Лошадиный рассыпанный корм...
И закат перед криком совы.
Эти сумерки, сад... и вопросы.
И медовы тяжелые косы
Что обёрнуты вкруг головы.
Эти пухлые, душные руки
Под сосной разливавшие чай...
Грань веков, ты прекрасна — прощай
Только память — зубастее шуки.
И на год взгромождается год...
Не по щучьему, что ли веленью,
Всё давно похоронено под
Лепестками вишнёвых деревьев.
Расплылись, растворились в дали
Монастырские синие главы,
И поля не сберечь от погравы,
Да и книги в усадьбах пожгли?
Видно впору твердить наизусть
Разбегающиеся приметы:
Это ровная жёлтая грусть,
Это гроздь черёмухи, это —
Одичалая, злая сирень,
И в рассветах тяжёлая мята
И забытая где-то, когда-то

Вековая кленовая лень.
Хоть бы набережную в Крыму
Отличить от церковной ограды.
Прав Толстой: ни к чему никому
Колокольни, молитвы, обряды...
Что молиться? Уж лучше письмо
(не забыть только марку наклеить!)
И дойдёт оно к Богу само
Покаяньем о тёмных аллеях...

1996

Но вернёмся в Павловск 1956 года. Зимой штатных экскурсоводов у нас было только трое, так что, когда народу было побольше, я часто водил экскурсии, а при необходимости по воскресеньям водили все научные сотрудники. А вот летом — экскурсоводов работало до двух десятков! Я должен был всех, хотя бы по два раза за сезон, присоединившись к группе, прослушать и отрецензировать.

Как правило, экскурсоводами были девочки, недавно окончившие искусствоведческие факультеты Академии Художеств или Университета. Были среди них вполне добросовестные, которых удавалось многому научить, были яркие, которых и учить было не надо, всякие были...



Моя экскурсия в Павловском Парке. 1958 г.

За все годы, что я проработал в Павловске, мне встретилось только четверо экскурсоводов-мужчин. Одного из них я совершенно не запомнил, помню разве что тубетейку, в которой он постоянно ходил, пряча свою юную лысину.

Вторым был Роман Каплан, проработавший один сезон, году в 61. Когда надо было провести экскурсию на хорошем английском, звали его. Впоследствии Роман Каплан приобрел некоторую известность в Нью-Йорке — он основал русский ресторан «Самовар», завсегдатаем которого многие годы был Иосиф Бродский.

Третий — Константин Кузьминский. С рыжей бородой и озорным взглядом — поэт, болтун, сплетник, и, честно говоря, редкостный бездельник, но обаятельный и весёлый. День Кузьминского, когда он не был занят на экскурсиях, проходил в очень спешных делах. Он шел куда-то, по дороге кого-нибудь встречал, менял направление и шёл дальше с этим встреченным, но опять не доходил до места, если встречался кто-то ещё, тогда он шел уже с этим новым кем-то, оставив первого кого-то, потом встречался ещё кто-то, Костя шел с ним, но... Так за весь день он, случалось, никуда и не приходил.

Он, весьма не глупый, отлично понимал, что возможности его, как поэта, невелики, и, как чаще всего в таких случаях бывает, выпендривался изо всех сил и придумывал довольно изобретательно новые и новые виды эпатажа.

Экскурсии он водил бойко, знания у него были предельно поверхностные, но язык подвешен прекрасно и даже опасно.

Проработав некоторое время в Павловске, Костя решил сменить обстановку и перешел в Петергоф. И вот вскоре после этого мне позвонил директор Петергофского Дворца Леонид Гуревич, с которым я был хорошо знаком (до Петергофа он работал у нас в массовом отделе), и рассказал о костиных экскурсиях. Костя имел обыкновение останавливать экскурсантов против портрета Петра Первого и гравюры, изображавшей Гангутскую морскую битву, и произносить следующий текст: «В 1703 году Пётр Великий прорубил окно в Европу, которое с тех пор *не закрывалось ровно 214 лет*. Пойдёмте дальше».

Никто из экскурсантов на шутника за несколько месяцев не наступал. Однако, Лёня Гуревич кричал мне в трубку: «Да вбей

ты ему в башку, что его как минимум придётся выгнать, если что».

Я-то подозреваю, что большая часть лопоухих экскурсантов и внимания на эти слова не обращала.

Лет через десять после описанных событий Кузьминский эмигрировал. На Западе мы ни разу не встретились, так что о дальнейшей его жизни я знаю только с чужих слов. Он поболтался в университете в Техасе, получив годовой грант «Poet in residence». Будучи в Техасе, он приступил к выпуску своей многотомной антологии стихов и сплетен «У Голубой Лагуны». Три четверти объёма этой антологии — сплетни, а на оставшуюся четверть приходится очень много графомании, причем все стихи своих друзей и собутыльников Костя объявил гениальными. Несмотря на крайнюю небрежность этого издания (оглавление зачастую не соответствует тексту), многие теперь им активно пользуются, как справочником, дающим прекрасное представление об определенном круте людей в определенное время и в определенном месте. Блоковское «так жили поэты»⁵¹.

В поведении Костя — клоун, и мне кажется, что его не такая уж веселая клоунада замешана прежде всего на зависти, отсюда и желание быть на виду, хоть посредством скандала. Стремление к скандалу у него — патологическое: чуть ли не год я уговаривал Володю Максимова напечатать лучшие из его стихов, которые он сам лично принес в «Континент», проехав через Париж по пути в Америку. А когда в конце концов мы напечатали два его стихотворения, то получили ругательное, хотя и очень смешное, письмо о том, что ничего публиковать он и не хотел, а редакция «Континента» пиратствует!⁵² И главным виновником оказался, конечно, «братец Вася».

⁵¹ Вот например из его «текстов» в этой антологии кусочек, и довольно развязный, где чуточку и про меня есть: «Вот так и вяжется вязь, через грязь и бязь подштанников, от Олеси Войцеховской к Васе Бетаки, через сплошную путаницу наших отношений через сплетни и дразги, пьянки и баб, через салоны (о которых будет особо) и выступления. И все это остается все той же «подземной пирамидой», от которой видны только случайные верхушки — или официальные, за вихор вытащенные, как Евтух, или Окуджава, или вылезшие сами, как Бетаки и Бродский, вопреки... Вот и пишу эту вязь, цепляюсь за ниточки, за зацепочки, чтоб хоть как-то очертить круг этой культуры, о которой знают и говорят все, и никто ничего не скажет». К. К. Кузьминский (том 5А, с. 277).

Рассказывают, что в Америке Кузьминский попытался воспроизвести свой питерский образ жизни: жил в каком-то подвале в Нью-Йорке на пособие и устраивал у себя разнообразные выставки, совсем как до эмиграции в питерской квартире на бульваре Профсоюзов. Зрителей он часто встречал голышом или в крайнем случае в распахнутом халате и в сопровождении борзой.

Короче говоря, развлекался, как и прежде, эпатажем. Все-таки очень важной заботой в его жизни было старание быть на виду. Лишь бы его поминали, а уж в каком контексте — не так важно. Хоть бы и матерно. Вот и я к его вящему удовольствию именно так его тут и поминаю. Он ведь мне всё равно симпатичен.

* * *

Четвёртый экскурсовод-мужчина в Павловске был Михаил Юрьевич Герман, по причине имени-отчества получивший от меня естественную кличку «Гермонтов».

Сейчас он профессор и сотрудник Русского музея, а тогда был юн, ходил с пижонской тросточкой, тщательно отглаженный, и видно было, что одежда значит для него весьма немало. Была в нем некая странная смесь денди и неуверенного в себе пай-мальчика. Плюс манеры сноба. И это была не поза. Сущность.

Девочек он слегка сторонился и часто появлялся в парке под руку со своей стареющей и очень красивой мамой.

Несмотря на несколько томный и вялый вид, интеллигентность до сиропности, разговаривать с ним бывало порой весьма интересно. Мне, правда, казалось, что он меня не то стеснялся, не то почему-то побаивался.

Приходил он обычно позже всех, хотя экскурсии начинались отнюдь не рано, — в 11 часов утра. Девочки, естественно, цитировали известную оперу: «уж *полдень* близится, а Германа всё нет...»

Экскурсии он вёл обстоятельно, ровным, пожалуй, даже слишком ровным голосом, знал много обо всех искусствах, кро-

⁵² В письмах в «Континент» он именовал себя «профессор техасского университета». На самом деле не окончил и трёх курсов факультета театрального искусства в «ИНТИМ-е» (Институт театра и музыки).

ме прикладного, но не было в нем той актёрско-лидерской жилки, которая очень нужна при работе с людьми. Как у многих отличников, чувство юмора у него то ли отсутствовало напрочь, то ли тщательно скрывалось для солидности. В общем, не экскурсовод, а «двуногий суррогат магнитофона». Так его назвала заведующая Русским отделом Эрмитажа, старая и весьма ироничная Татьяна Михайловна Соколова.

Ему бы в архиве копать, сколько было бы пользы и себе и другим! Анна Ивановна явно придерживалась этой же точки зрения: при первой возможности она перевела Германа в библиотеку музея.

От меня пошла еще одна кличка Германа — более, чем несправедливая. Когда Анна Ивановна как-то сказала мне, что он типичный маменькин сынок, я возразил, что он, скорее, «сынник папка». И только из прочитанных мной недавно его мемуаров я узнал, что со своим отцом, отвратительно советским преуспевающим писателем Юрием Германом, он не поддерживал никаких отношений.

И понятно: про Германа, надо еще сказать, что одно его свойство, которое очень сильно чувствуется и в его мемуарах, чувствовалось и тогда, при личном общении — это его скрупулёзная порядочность.

Чтобы покончить с экскурсоводческой темой приведу несколько октав из тогдашнего «дневника»:⁵³

...Вот этой вазой должен восхищаться я,
Или «вот этот стул — как он хорош:
Изысканные линии стремятся, и...»
Стоишь, не слушаешь, и только ждёшь,
Чтоб смесь косноязычия и фальши
Прервалась роковым «пойдёмте дальше».
И всё же — кто такой экскурсовод?
«Двуногий суррогат магнитофона»?
Панегирист? Горластый счетовод,
Перечислитель статуй и плафонов,
Картин и стульев?.. Но иной поёт
Как тетерев, бездумно, упоённо...
Я этого вопроса не решил,

⁵³ Это действительно «дневник», а не включенные в текст стихи, так что я не выделяю эти октавы жирным курсивом.

Хотя лет восемь методистом был...
Пытаясь одолеть свою иронию,
И кое-как дослушав до конца
Хвалу изысканности и гармонии
Большого Петергофского дворца,
Решил, что если бы сидел на троне я,
То запретил бы именем Отца
И Сына с Духом по всея России
Выделять экскурсии такие!
Указ, достойный памяти Петра,
И сходный с тем, в котором отмечается,
Что кончилась шпаргалочья пора,
«...И господам сенаторам вменяется
речь не читать и не зубрить с утра,
Своими пусть словами изъясняются,
Чтоб глупость каждого увидел всяк!»
Да. Надо б и с экскурсиями так.

В 57 году к Павловскому дворцу присоединили Центральное хранилище музейных фондов — ЦХМФ. Было решено отдать большую часть сохранённых там экспонатов в экспозицию павловских интерьеров. На самом деле, существовало несколько мебельных гарнитуров, которые еще в XIX веке были разделены на две части между Павловском и Гатчиной. Но внутренняя отделка в Гатчине была практически невозможна, и чем восстанавливать частично оба дворца, решено было всё отдать Павловску.

Вещи же царскосельские, петергофские и весьма немногие ораниенбаумские по мере реставрации соответствующих дворцов передавались по назначению.

Реставрация шла полным ходом. После открытия залов церковного корпуса временная выставка уменьшилась втрое.

Одним из первых открыли Кавалерский зал с его античной скульптурой. Потом — постепенно — открылись обе анфилады центрального корпуса и Египетский вестибюль, а за ними и круглый великолепный подкупольный Итальянский Зал — композиционный центр дворца. Открыли и четырёхсотметровый Тронный зал, плафон которого, перспективой колоннад уходящий на невообразимую высоту, ранее существовал только в виде эскиза Гонзаго. В 1958 году, при реставрации Дворца,

художник А. В. Трескин реализовал впервые этот эскиз «на натуре». Мы прозвали Трескина «маэстро Трескини».

В результате бурной реставрации временная выставка совсем закрылась, а материалы по истории Павловска и методам реставрации уместили в одно небольшое, не имевшее музейной ценности помещение.

Как в XIX веке вместе с деревней продавали или дарили всех её крестьян, так теперь вместе с фондами Центрального Хранилища в Павловск были переведены и их хранители. Так попали к нам два замечательных человека: знаменитый в кругах музейщиков экспозиционер Вера Владимировна Лемус, квадратная и всегда несколько сердитая, и ещё более знаменитый главный хранитель ЦХМФ Анатолий Михайлович Кучумов. В этой же должности главного хранителя он и стал работать в Павловске, где ещё до войны, совсем молодым человеком, начал свою карьеру.

Мы с Кучумовым довольно быстро подружились, хотя разница у нас была не только в возрасте, но, что гораздо важнее, и во вкусах: я пил практически только грузинское вино, а он «честную водяру». Но на пиве мы сходились.

Однажды, увидев, как он осматривает привезённую откуда-то вазу, когда-то принадлежавшую Павловскому Дворцу, я прозвал его «котом учёным». Он ходил вокруг этой вазы, вставал на цыпочки, поправлял свои огромные очки, почёсывал марсианский почти лысый череп, останавливался и снова обходил вазу, только двигался уже в другую сторону. Так что ничего не оставалось, кроме как пробормотать: «идёт направо, песнь заводит, налево — сказку говорит...». Народ, бывший в помещении хранилища, грохнул, а он опять поправил очки и, не повернув даже головы, очень серьёзно сказал: «ну, для кота у меня усов не хватает» — и вновь погрузился в созерцание предмета, которого не видел лет двадцать.

Когда В. В. Лемус или я разрабатывали экспозиционные планы какого-нибудь отреставрированного зала, то споры с дымом папирос и криками до ночи сотрясали кабинет Анны Ивановны. Кучумов доказывал, ссылаясь на описи разных лет, — и всё это на память, — что эта вот статуя, или вот этот столик стояли при Павле вот у этой стенки, там им и место, точка. Лемус старалась его переубедить, я — переорать. Если, мол, так поста-

вить, так экскурсовод будет вынужден метаться от стенки к стенке, и что есть последовательная логика. Ну и так далее, пока, молчавшая в таких случаях, Анна Ивановна, устав, наверное, от нашего шума, говорила, что «Василий Павлович из нас самый молодой, и пусть, поэтому, чуть больше поработает, подумает, и перепишет соответствующее место методички, чтобы Кучумов и История остались довольны».

В общем, с увеличением числа сотрудников исчезла, конечно, та «домашность» на работе, которую я так ценил, но зато появилось несколько интереснейших людей.

Не реже двух раз в неделю по вечерам я засиживался довольно поздно в кабинете у Анны Ивановны. Говорили мы и о литературе, и о скульптуре, и о всяких архитектурных проблемах... Иногда она просто мне рассказывала о самых разных вещах. Снимала очки, долго их протираала и протираала, улыбаясь близорукими глазами. Одними глазами. Пользуясь правом старшей, она порой ядовито отзывалась о моих отношениях с девочками-экскурсоводихами. Как-то сказала: «Вы, конечно, их учите водить, Вася, и хорошо учите, но по-моему, и ещё кое-чему некоторых учите... Ведь это всё-таки дворец Императора Всероссийского, а не Эмира Бухарского». На это я бодро заметил, что в полном титуловании государя императора среди «и прочая и прочая» он, как мне помнится, упомянутым эмиром тоже числился⁵⁴.

У нас среди старших научных сотрудников было установлено дежурство по открыванию и закрыванию залов, и опечатыванию некоторых дверей. У каждого из нас была своя индивидуальная печатка, ее по вечерам, заперев двери, попросту прищёпывали на два кусочка пластилина, соединенных шнурком, каждый кусочек на краю половинки двери. Дежурному ничего не стоило снять печати, войти в любой зал, и по уходе снова всё опечатать.

И вот однажды мне стукнуло в башку, что интересно было бы попытаться использовать царскую кровать под балдахинем в недавно отреставрированной и уже введённой в экспозицию «Парадной спальне», «по прямому назначению».

Это был истинно царский секс... Восторгу моей партнёрши, молоденькой экскурсоводици, только полгода как закончившей Академию Художеств, воистину не было предела. Надо сказать,

⁵⁴ Правда, не Павел, а только, кажется, Александр Третий и Николай Второй.

что и мне, по официальному штатному расписанию «заместителю директора по экскурсионно-методической работе и старшему научному сотруднику», было тогда только 26 лет...

Из дворца мы с ней вышли не через главный вход, а воспользовались боковым — дверью церковного корпуса. Было часа два ночи, когда наверняка Анна Ивановна уже спала. Кроме нее с её престарелой мамой в здании никто на ночь не оставался, а с её антресоли Фрейлинского полуциркуля услышать что-либо было абсолютно невозможно. Я всё тщательно запер и опечатал, после чего мирно проводил свою партнёршу домой (летом она со своей матерью снимала дачную комнатку рядом с парком). Но больше я этого опасного, да и, прямо скажем, весьма непрофессионального эскапада всё же ни с кем не повторял. В таком огромном парке всегда можно было найти укромное место для «кустарного» (от слова кусты) флирта... Но роскошные были времена, тогда ведь не существовало никакой аварийной и прочей сигнализации! Только ночная сторожиха бродила вокруг дворца.

Довольно часто Анна Ивановна по вечерам приглашала к себе в квартиру к чаю и меня, и заведующего Массовым отделом Мишу Марголина. Он ведал эстрадами, танцплощадками и прочими парковыми делами, к музею не имевшими никакого отношения. Был он анекдотист и тоже бабник, но на этой ниве мы с ним не сталкивались по причине разницы вкусов. Сам очень толстый, Марголин предпочитал, в отличие от меня, «девочек-соломинок»⁵⁵.

⁵⁵ М. Марголин умер от инфаркта не то в 59, не то в 60 году, не дожив до сорока лет. Меня очень удивило в книге мемуаров М. Ю. Германа «Сложное прошедшее» явное описание этого человека, правда, без упоминания имени и фамилии, но с добавлением, что он сделал и продолжает делать партийную карьеру.

Может быть, мемуарист соединил в одно лицо М. Марголина и другого тогдашнего сотрудника массового отдела, Л. Гуревича, действительно сделавшего в музейном мире некоторую карьеру? После работы в Павловске Гуревич был директором Петергофа, что с ним случилось потом, я не знаю. Именно с Гуревичем, а никак не с Марголиным, мы перестреливались «неприличными эпиграммами». Что же касается упомянутой там же моей вражды с этим безымянным «заведующим массовым отделом», то это чистейшая выдумка, так же как и утверждение, что Кучумов ненавидел Зеленову. А впрочем, М. Ю. Германы, проработавшему а Павловске всего-

Часто разговаривали мы с Анной Ивановной и о русской истории, в том стиле, который сейчас стал очень распространенным. Мы рассуждали о том, как пошла бы история, если бы, к примеру, Павла не кокнули, или если бы Екатерина померла при жизни Потёмкина... Кстати, Н. Эйдельман очень во многом оказался согласен с Зеленовой, судя по вышедшей уже в конце восьмидесятых годов его книге о Павле «Грань веков». Эта игра, в которую мы играли все те годы, что я был в Павловске, нам обоим никогда не надоедала.

От Анны Ивановны я узнавал всё новое и новое о Павловске и его сотрудниках. Крохи из ее рассказов, касающиеся величайшего знатока всего прикладного искусства осьмнадцатого и девятнадцатого века, «Кучумова, который всё знает», я попытаюсь тут воспроизвести.

Когда началась война, Толе Кучумову было 25 лет, и на фронт его не взяли из-за чудовищной близорукости.

Зеленовой, срочно назначенной директором вместо ушедшего на фронт... (кажется, Талепоровского) было — 27 лет.

Началась срочная эвакуация музейных ценностей. На парадном плацу стояла полуторка, на которую только что погрузили ящики с «Туалетным прибором» севрского фарфора, подаренным некогда императрице Марии Фёдоровне королевой Марией Антуанеттой. В приборе было больше двухсот предметов. Вдруг — воздушная тревога, на дворец пикируют штурмовики.

«Мы все бросились под колоннаду, легли — рассказывала А. И., — а Толя вскочил на грузовичок, распластался, полами пальто прикрывает ящики, кулаком грозит самолётам, да истошно кричит: «Идиоты, тут же фарфор, сволочи!», ну, те и улети...».

Ещё была длинная эпопея, связанная с поездкой Анатолия Михайловича по Восточной Германии. Он там разыскивал разные предметы из питерских пригородных дворцов, знал он их все наизусть, узнавал любую вещь буквально «с порога», ра-

то чуть больше двух лет, такая фантазия, ошибка, или просто субъективность не может быть вменена в вину, как и то, что он понаслышке причислил меня к «диссидентам». Я никогда не был диссидентом, а был в течение лет двенадцати, после знакомства с З. А. Шаховской и до самой эмиграции, скорее «подпольщиком», распространявшим по Питеру привозимый мне «тамиздат». Это несколько другая «профессия».

зыскивал в Германии «Янтарную комнату», которую, кстати, так поныне и не нашли. А Кучумов, как мне он потом под секретом рассказал, прекрасно знал, что во время захвата Кёнигсберга какая-то советская спецчасть уничтожила почти все ящики с демонтированными янтарными панно, хранившимися в замке. Остались кой-какие случайные обломки, которые он видел в первое своё посещение замка, а во второе и они растаяли...

Кучумов понял, что чьи-то интересы в Москве требовали исчезновения и притом бесследного Янтарной комнаты. Какие именно политические, или иные интересы за этим стояли, он не мог догадаться, но знал точно, что раз с «самого верху» его, Кучумова, отрядили искать эти панно, значит власти не хотят признать что сами уничтожили их, а непременно стараются всё свалить на одних немцев. Ну и чтоб не попасть тут же в ГУЛАГ, Анатолий Михайлович больше года «всё искал и искал» эти панно. К тому же пожить подольше в Германии, хоть и Восточной, в то голодное время тоже было нехудо...

В Царскосельском дворце недавно, уже в девяностые годы, Янтарную комнату заменили новоделом (работа немецких мастеров). И все подлинные мелкие предметы (в том числе и знаменитые шахматы) сохранённые в эвакуации, снова заняли своё место.

Однажды и мне случилось помочь Кучумову уже в иных розысках, хотя, по совести говоря, нашел я «топор под лавкой». Увидев фотографию кресла из Картинной Галереи, где уже завершалась реставрация, я радостно закричал, что это одно из пары десятков кресел, благополучненько стоящих в Красной гостиной Дома Писателей! Кучумов сильно сомневался, но все же поехал со мной туда и к моей радости обнаружил, что я прав. Кресла эти, ампирные, золочёные с алым плюшем, сделанные по рисунку А. Воронихина, действительно с послевоенного времени служили опорами писательским задачам.

Анатолий Михайлович тут же договорился с директором Литфонда, что Павловск закажет сорок современных удобных, и главное, тоже с алым плюшем, кресел для Красной гостиной (ведь красной она звалась именно из-за этих кресел, стены в ней были белые!), а Дом писателей «передаст павловские кресла Дворцу-Музею, переведя их с баланса на баланс». Что сия бюрократическая формула означала, не знал не только я, но и Кучу-

мов. А когда мы рассказали всю эту историю Зеленовой, она назвала нас «героями Павловского Дворца и Парка». При чём тут парк, осталось неясно, но дирекция поставила нам по этому поводу чешское пиво.

А как-то раз, когда мы вечером с Анной Ивановной болтали о том, о сем, в том числе и о Кучумове, из коридора, а точнее из кучумовского кабинета, донесся звон стекла и негромкая ругань. Мы переглянулись: мол, лёгок на помине, и выбежали в коридор. Дверь в кабинет главного хранителя была открыта, а в углу происходила какая-то возня. Анна Ивановна включила свет... На цилиндрическом бронзовом каркасе люстры, подаренной Павлу Людовиковом XVI и ожидающей реставрации в кучумовском кабинете, сидел как на горшке, полупровалившись, сам главный хранитель, и то протирал свои марсианские очки, то производил судорожные движения, пытаясь выбраться. Это ему никак не удавалось, видимо, выпито было уже немало.

Мы извлекли бедолагу, взвалили на холодный кожаный диван. Анна Ивановна сбегала к себе наверх, принесла какой-то плед... Но самое важное было немедленно убрать осколки, чтобы слухи не пошли, — тогда как раз Хрущёв с пьянством боролся, и могли последовать немалые неприятности. Что же до стекла в люстре, так вместо одного гнutoго стекла сделать все три было делом реставраторов и ничьим более.

Наведя порядок, мы тихо прикрыли дверь и ушли.

Как потом выяснилось, Анатолий Михайлович просто искал в углу у люстры свой зонтик, которого там, правда, не было — солнышко на дворе днем светило! Ну а уж сколько он перед тем в кабинете в одиночестве выпил, история умалчивает.

Так или иначе, на следующий день, ровно в 11 утра, Анатолий Михайлович, трезвый как стёклышко, вошел ко мне в кабинет (наши кабинеты были рядом) и, словно продолжая с полуслова почему-то оборвавшийся вчерашний разговор, сказал: «Так вот, выставку («придворного костюма и портрета» — В. Б.) я представляю себе примерно так. Каждая комната — от живописи до последней чашки соответствует тому или иному царствованию, причем не только по стилю, но главное — по принадлежности вещей... Однако же, эту концепцию, эту концепцию... (он приложил озорно палец к губам) — короче, кроме

Веры Лемус и матушки Анны Иоанновны никому ни слова — зачем гусей дразнить...»

И мы сели за мой огромный стол разрабатывать экспозицию. Анатолий Михайлович, кстати, спросил меня, знаю ли я, откуда этот мой «стадион». Я не знал. Оказалось, что стол из Александровского дворца в Царском Селе, из последней резиденции Николая Второго. «Если не ошибаюсь, — этим присловьем Кучумов всегда начинал фразу, когда знал то, о чем хотел сказать, совершенно точно — если не ошибаюсь, стоял этот стол в кабинете, которым обычно пользовался граф Витте при посещении Царскосельской Резиденции».

В Александровском дворце после войны располагался какой-то флотский НИИ, ужасно важный и секретный. Так что дворцовые вещи, которые не считались музейно-ценными, и вместе с тем были весьма добротными, распихали по служебным кабинетам всех пригородных дворцов-музеев. Например, письменный стол Анны Ивановны был собственным столом Николая Второго, а кучумовский почти квадратный стол с толстыми тумбами принадлежал дворцовому церемонимейстеру.

Через неделю экспозиционный план выставки был готов. Кроме текстов и списков вещей, в него входила еще добрая сотня листов миллиметровки, — по листу для каждой стены, лист для площади пола, да ещё несколько сотен кусочков той же миллиметровки были нарезаны с точным соблюдением масштаба, и на каждом клочке было написано название соответствующей картины или предмета. Вот этой-то моделью расстановки и развески мы и занимались исподволь, «раскладывая пасьянсы», пока не пришло время звать рабочих и всё это вешать, да ставить.

Экспозиция должна была разместиться в пустой кольцевой анфиладе третьего этажа центрального корпуса, где комнат оказалось как раз по числу российских императоров. Когда мы доложили, что всё готово, управление культуры прислало нам в качестве рецензента главного методиста всех Музеев Пушкина Аркадия Моисеевича Гордина. Он посмотрел наши проекты, посмотрел и вещи, находившиеся в соответствующих хранилищах.

Опытный экспозиционер, Гордин мгновенно угадал наш замысел и тут же спросил, не обвинят ли нас в монархических

пристрастиях. На что Кучумов, показывая ему крохотное платье польской графини Лович, на которой женился Константин Павлович, отрёкшись для этого от престола, хитровато и просто душно сказал, что в витринке в центре комнаты, в которой будут «костюмы и портреты первого двадцатилетия XIX века», мы поместим как раз это «придворное летнее платье в стиле ампир». А в этой же комнате у стены — «шляфрок вышитый шелком» (а вовсе не халат Александра Первого). И никакой тебе крамолы...

Гордин сказал Анне Ивановне, что он очень доволен проделанной нами работой, после чего мы втроём вышли за ворота и отправились пить пиво. А Зеленова нам вслед крикнула: «Толя — не больше двух кружек», чем заслужила благодарный кивок кучумовской жены, как раз проходившей через вестибюль.

Кстати, Анна Михайловна Кучумова сменила Ксению Куровскую на должности парторга. И тут же, в роли «новой метлы», стала подъезжать ко мне: вот мол, должность Ваша, Василий Павлович, идеологическая, так в партию, знаете ли...

Я в тот же вечер сказал Анне Ивановне, что никак мне в партию нельзя. Даже не объяснял почему. Она сама кивнула понимающе. После чего мы с ней вместе продумали линию защиты, и при случае она поговорила с Кучумовой в моём присутствии.

Мы решили упираться на то, что есть, мол, новая тенденция, ее завёл сам Никита Сергеевич, и даже не тенденция, а установка: иметь на важных идеологических постах и беспартийных сотрудников тоже, чтобы за границей видели, что у нас в единомыслии есть разномыслие — такая вот диалектика! Не случайно же Хрущёв во всеуслышанье сказал, что он больше полагается на беспартийного писателя Леонида Соболева, чем на члена партии Н. Грибачёва.

Так вот и у нас есть Лемус и Бетаки, беспартийные специалисты. Если все — в партии, то получается, что всех обязывает дисциплина, а эти двое не по партийной дисциплине, а — только в силу внутренней сознательности...

И Кучумиха оставила меня в покое.

Меня опять и опять вывозила... нет, не кривая, и не вывозила, а выносил, и не хромой бес, и не скучный ангелок. А мой, только мой, бесёнок.

Мне всегда хотелось жить так, как толкает этот внутренний бесёнок. Легкомысленно. Не жалеть о сделанном. Не «перекладывать руль с опозданием», как говорят яхтсмены. Не метаться перед поворотом, как мечутся плохие шоферы. А для этого надо дружить со своим бесёнком и даже его слушаться. Уж он-то знает. *«Человек свободен, но перестает быть свободным, как только перестанет верить в свою свободу»*, — писал Казанова. Я не переставал да и не перестаю в неё верить. Ergo...

«Пальцы в рот и — и весёлый свист!» — Есенин только хрибрился, но, к сожалению, так не жил. А мне импонировало —

...Жить без «мучительных романов»,
И не по нотам соловья,
Свистеть, не слыша барабанов:
«Синица я, синица я!»
Как Эпикур или Лукреций,
И с вольтерьянской прямоотой,
Да с перцем вместо тонких специй
Жрать вечной лёгкости настой...

* * *

Была еще одна большая радость в моей тогдашней жизни. В парке жили разные звери и мне с ними удавалось общаться.

В первую же осень в Павловске мы с Сашкой переселились в домик около цветочного питомника «Бодэ», находившегося тогда на склоне, обращенном к Славянке, за Пиль-башней.⁵⁶ В домике было две квартиры, одну занимали мы, другую — старший лесник Быков с семьёй. До дворца оттуда пешком через парк было примерно полчаса. Чаще всего я ездил на велосипеде, а зимой — на лыжах, но иногда и пешком шел, по пути бросая орешки многочисленным белкам.

⁵⁶ В 1990 году я «двадцать лет спустя», бродя по парку, обнаружил, что дом этот снесён. Цветоводства там тоже уже нет, и всё, что осталось, чтобы повесить мемориальную доску «Здесь жил Бетаки», это общественный сортир, построенный в ста метрах от дома ещё при мне...

К Висконтиеву мосту почти каждый день ровно в половине одиннадцатого приходил на водопой огромный старый лось. Он знал, что я в это время, по дороге из дому во дворец, пройду или проеду мимо зарослей сирени у моста и протяну ему на ладони большой ломоть хлеба, а он осторожно, прямо с ладони, возьмёт его губами. Днём лось никогда не показывался.

Как-то зимой совсем рядом с домом я услышал звонкий щенячий лай. Я пошел на голос, но шуршание лыж испугало щенка, он нырнул в узкую нору. Я отправился домой за чем-нибудь вкусеньким, вернулся с куском сала, привязал его на верёвку, опустил в нору, но и потянуть не успел: веревка дёрнулась, и я вытащил её, естественно, пустой. Так что не удалось мне на этого странного щенка посмотреть.

Я думал, что это лисёнок, но мой сосед, старший лесник, сказал, что тут живет енотовидная собака с малышами, и его овар Джек, проходя мимо, всегда порывается.

А когда как-то летом в парке, и опять недалеко от нашего дома, обнаружилось семейство рысей, мы с Быковым потратили немало сил на то, чтобы втолковать балбесам из городского совета, что рыси на самом деле не опасны. Если кто и рискует, то не люди, а наши с лесником коты: пришлось их ночами из дома не выпускать, пока рысье семейство куда-то не переселилось.

У Быковых было три кошки и один кот. Они промышляли на «мышеобильных» грядках цветочного питомника, находившегося прямо под нашими окнами. А мои два лентяя целый день лежали на деревянном крыльце по двум сторонам пятиступенчатой лесенки. Лежали они почти всегда в одинаковых позах, за что и получили от Герки Альтшуллера титул «Коты сторожевые» (те, что «с поднятой лапой, как живые», из «Медного Всадника»). Неклассическим было только то, что один был полосатый, и именовался поэтому «Тигра», другой же, Цезарь, вообще был белый и пушистый.

Зимой, правда, котам реже удавалось занять крыльцо, поскольку там валялось не менее пяти пар лыж — Геры, Эллы, и ещё нескольких друзей или знакомых, бывавших у меня, как только позволяло время и работа, чаще, естественно, по воскресеньям.

Днём гости катались на лыжах, а вечером мы выпивали, благо Элла Фингарет, ожидавшая не один год штатной должности в египетском отделе Эрмитажа, работала в какой-то артели по росписи тканей «батиком». При этой технике каждому художнику выдавали чекушку спирта в день, но только неумелые люди тратили его на роспись, мастерам удавалось обходиться без дополнительного растворителя. Элка была отличным мастером, так что сэкономленный за неделю спирт представлял собой немалый запас, и разведённый до крепости простой водки, да ещё на чём-нибудь настоянный, он легко обеспечивал потребности всей нашей компании. Ну а закуски — это была сашкина изобретательная работа.

Иногда к нам присоединялась, закончив дела, Анна Ивановна, да ещё две девочки из числа штатных экскурсоводов. Вечера эти заполнялись то стихами, то спорами об искусстве, то чем-то под гитару...

А если приезжал Жора Бен, то мы бессовестно забивали все прочие разговоры чтением стихов и своими спорами о переводах английской поэзии. При этом мы оба все время звали к авторитету Татьяны Григорьевны Гнедич, на этих «спорищах», как правило, отсутствующей, поскольку жила она в Пушкине, и три километра от автобусной остановки у дворца до нашего дома были для неё зимой путешествием нелёгким и потому нечастым. Стенокардия, приобретённая в лагерях, не давала ей отпуска все двадцать лет, которые она прожила, вернувшись с того света в 56 году...

Но о Татьяне Григорьевне я подробно расскажу дальше.

* * *

Как-то раз во время вечерней беседы, Зеленова спросила у меня, верю ли я в то, что бывают люди-вехи, такие, которые поворачивают в лучшую сторону судьбу других людей. Я не знал, что ответить, и, пожалуй, почувствовал некоторую неловкость.

А через несколько дней она мне рассказала, что Вера Владимировна Лемус не всегда была таким сухарём, как теперь кажется, что лет двенадцать Вера прожила с человеком на пятнадцать лет её младше, и никто ни в одном музее об этом не знал. А

ведь, было все это до войны, во времена похуже нынешних: все у всех на виду...

Я то ли вправду не понял, к чему Зеленова мне об этом рассказывает, то ли постарался не понять. На следующий день мы вместе поехали в управление культуры, и она привела меня в свою городскую квартиру под предлогом, что ей там надо что-то взять.

Скинула пальто в передней на стул, зашла на минуту в комнату, снова вышла в переднюю, и там мы молча простояли минут десять. Она полусидела на батарее отопления, я стоял у стены. И тут я не то чтобы твердо понял, но предположил, почувствовал... и не решился двинуться к ней.

Настолько мне казалось невозможным, чтобы Анна Ивановна... Не знаю, что меня держало на цепи. Не вязался никак её образ синего чулка с сексом... Дурак, не увидел я в ней женщины. А потом, вспоминая этот несостоявшийся роман, я часто думал, что, кажется, обидел её своим непониманием, невниманием...

Так до сих пор я и не знаю, не показалось ли мне...

А тогда я с лёгкостью двинулся к двери после того, как она медленно проговорила: «Ну, что ж, пойдём». И мы уехали в Павловск.

Я продолжал развлекаться со своими «ученицами», а вечерами мы с ней так же упоённо общались. И ни она, ни я никогда не касались в разговорах этого эпизода...

* * *

Как-то раз Анна Ивановна позвала меня к себе в кабинет и сказала: «К нам едет ревизор!», после чего пояснила, что ревизор этот — некая очень высокопоставленная дама из министерства Культуры, кажется, из очень большого начальства, и моя задача — показать ей дворец и парк. От этого зависит не что-нибудь, а категория нашего музея!

Высокое начальство прибыло на чёрной Волге с сопровождающей девушкой-секретаршей и шофёром, имевшим вид то ли милиционера, то ли бандита.

Зеленова представила меня начальственной даме, и мы пошли с ней по дворцовым залам. Эскорт отставал шагов на пять,

так, видимо, полагалось по этикету. Я объяснял, дама благодушно пощучивала и была явно в превосходном настроении.

В картинной галерее она остановилась против огромной картины кисти неаполитанца XVII в. Луки Джордано⁵⁷. Это была самая большая во дворце картина и изображала она изгнание из рая. Я, видя начальственный интерес, негромко заметил: «А ведь Ева стала бы на Вас похожа, если бы только её одеть». «Или, если меня раздеть?» — откликнулась дама. Я ответил, что ей это виднее, она засмеялась «и дальше мы пошли».

После музея мы отправились в парк, и тут вдруг я увидел в глубине аллеи яркое сияние. И надо же, чтобы такое случилось! У Аполлона темной бронзы, стоящего на площадке «12 дорожек», причинное место сверкало на солнце, как фонарь...

Ну не знаю, мальчишки ли шкуркой счистили тёмную патину с бронзы, или, как утверждал потом Кучумов, «это экскурсовод Майя Фёдорова кирпичом ему надраила», но сияние было видно издалека.

Дама оглянулась и убедившись, что эскорт сильно отстал и подчинённые её не видят, заржала как девчонка, я тоже вежливо хмыкнул несколько раз. Потом она, придя в игривое настроение, и вообще отослала своих спутников, сказав мне, что хочет со мной по парку погулять свободно.

Мы пошли в глубину парка, повернув от реки к району Белой берёзы. Зайдя в совсем глухое место, я остановился и вопросительно глянул на свою спутницу. Она улыбнулась: «Так Вы говорите, я на Еву похожа?». Я ответил, что был бы не прочь убедиться...

А примерно через час, когда она, краснея и глядя поверх моей головы на сосновые верхушки, попросила меня отвернуться, пока она оденется и вообще приведёт себя в порядок, она опять спросила, правда ли, что «похожа на ту Еву». Я подтвердил, хотя при удивительном сходстве лица, дама была раза в два полнее тоже не очень худенькой прародительницы человечества...

⁵⁷ В описи, приводимой в знаменитой книге М. И. Семевского, как и в путеводителе А. И. Зеленовой, её нет, видимо, потому, что исходно это полотно гатчинское, которым заменили утраченное павловское полотно того же размера.

На другой день Анна Ивановна позвала меня к себе в кабинет. Я струхнул — а вдруг кто-нибудь подсмотрел наш «кустарный флирт» (от слова кусты). Так мы в музее между собой такую «деятельность» называли.

Но оказалось совсем другое. Анна Ивановна вызвала меня, чтобы сказать мне, что начальственная дама осталась очень довольна. И дворцом, и парком... Она только поинтересовалась у Зеленовой, является ли её главный методист членом партии. Когда оказалось, что нет, дама посожалела о том, что, пожалуй, с переводом меня в методический отдел министерства, в Москву, ничего не получится...

Анна Ивановна ответила, что она этому и рада, ведь ей вовсе не хотелось бы «терять методиста, в которого все старшие сотрудники музея вложили столько трудов, да и сам Василий Павлович — «крайний петербуржец», и едва ли он захотел бы ради Москвы расстаться с Павловском».

* * *

И вот ещё одна встреча, о которой нельзя не рассказать, потому что с неё началась новая серия моих приключений.

Летом 1959 года к нам в музей приехал Бельгийский посол со свитой человек в семь. Все они хорошо говорили по-русски. Я довольно быстро провёл их по дворцу, а потом один высокий и немисливо тощий бельгиец со своей ироничной и кругловато-коренастой дамой отстали от остальных, представились и спросили, можно ли задать мне несколько вопросов.

Это был секретарь посольства Святослав Малевич-Малевский (по происхождению польский граф) и его жена Зинаида Алексеевна Шаховская. Малевич-Малевский сообщил мне, что вообще-то он художник и совмещает свои такие разные занятия «совсем как Рубенс»⁵⁸. А Шаховская попала в эмиграцию в тринадцать лет, во время войны была английским военным корреспондентом, а к 1959 году у нее уже вышло несколько романов — по-французски.

⁵⁸ В Англии Рубенса однажды спросили: «Господин посол занимается живописью?», на что тот ответил: «Нет, это художник развлекается посольством!»

Сначала они мне задали несколько вопросов по Дворцу, и сразу стало ясно, что они оба разбираются в искусстве не хуже меня. Потом я спросил Шаховскую, не знает ли она своего, видимо, дальнего родственника, Владимира Дмитриевича Шаховского, московского фоторепортёра из журнала «Советский Союз». Она поморщилась и сказала, что разок с ним встречалась, но он ей «ох как не понравился — очень советский и не очень-то интеллигентен». Я рассмеялся и отрекомендовал Владимира Дмитриевича как «супруга моей любимой тетушки».

В общем, мы разговорились, посол уехал, а Малевские решились погулять со мной по парку и вернуться в «Асторию» на такси.

Так и завязалась моя первая связь с Брюсселем и Парижем. Когда я осторожно спросил, не знают ли они, как бы мне раздобыть какие-нибудь книги русских эмигрантских писателей (прежде всего меня интересовали Ходасевич и Георгий Иванов), Шаховская сказала, что это можно легко устроить.

Она сразу стала разговаривать со мной так, будто мы сто лет знакомы. Когда я у нее спросил, что собой представляет НТС⁵⁹, она мягко объяснила, что этим людям не очень-то доверяет, что среди них немало советских агентов. Я не то чтобы возразил, но в советских агентов не поверил, приписав ее неприязнь к этой организации тому, что она, Шаховская, старая эмигрантка, а НТС, как я слышал, в основном состоит из бывших военнопленных, попавших в Европу после Отечественной войны. «Мы называем это Второй мировой», — поправил меня Малевский. И заметил, что несмотря на их неприязнь к НТС, они, конечно, свяжут меня с редакцией энтеэсовского литературного журнала «Грани». Слово они сдержали, причем очень быстро. Хотя все было непросто — срок пребывания Малевских в СССР подходил к концу.

⁵⁹ Народно-Трудовой Союз. Единственная политическая организация русских эмигрантов в то время (образовалась ещё до войны). Союзу этому принадлежало издательство «Посев», выпускавшее множество книг, которые теми или иными путями переправлялись в СССР. Считается, что половина всех эмигрантских изданий была осуществлена этим издательством, выпускавшим регулярно ещё и два журнала: «Посев» (политический) и «Грани» (толстый литературный журнал).

Моя переписка с журналом стала особенно оживленной, когда вскоре после моего знакомства с Малевскими главным редактором «Граней» стала Н. Б. Тарасова. Я переправлял во Франкфурт стихи нравящихся мне и не печатающихся в СССР поэтов, получал оттуда журналы и книги, «Грани» приходили ко мне порой аккуратнее, чем «Юность», несмотря на глубокую конспирацию и прочие сложности.

Дома я не держал никакого «тамиздата», и получив очередную порцию книг и кое-что быстро прочитав, я тут же торопился раздать книги надёжным людям. Так что я нередко разъезжал по городу с толстым портфелем, перескакивая из осторожности из метро в троллейбус, потом в трамвай и опять на метро.

Уже эмигрировав, я с удивлением узнал, что поскольку я в течение многих лет снабжал журнал стихами непечатающихся в СССР поэтов, меня уже где-то году в 65 ввели в редколлегию «Граней». (Кстати, в Союз Писателей СССР меня приняли тогда же!). Журнал никогда не публиковал состава редколлегии, так что прямой опасности для меня это «почётное положение» не представляло.

С Шаховской я, разумеется, переписывался не менее интенсивно, чем с «Гранями», но тоже нерегулярно — всё зависело от okazji. Передачи писем и книг бывали многоступенчатыми. Так или иначе, мне много раз оказывали неоценимые услуги английские, бельгийские и... польские дипломатические работники. Французы тоже, но они, против моих ожиданий, были поосторожнее.

Я основательно забежал вперёд: ведь в Павловске я работал только до 1962 года, а потом полностью перешел на литературные «ненадёжные» хлеба. Переводов, да и выступлений было столько, что я физически не мог совмещать литературную работу с музеем, и музей, естественно, пришлось оставить.

К Анне Ивановне я, разумеется, заезжал, завозил «тамиздатские» книжки. Наше общение не прерывалось до самого 1972 года, до того дня, когда моё намерение уехать стало широко известно. Я прожил в Питере не по своей воле ещё почти год, но общение со мной стало представлять для людей с положением некую опасность и я, естественно, не хотел бросать ни на кого тень.

Когда в начале восьмидесятых годов до Парижа дошла весть о смерти Зеленовой, я несколько дней ходил потерянный. Она была из очень немногих действительно дорогих мне людей.

Т. Г. ГНЕДИЧ И ДРУГИЕ (1957—1962)

Т. Г. Гнедич. Семинары. Георгий Бен. Как одна советская ракета разом сбила советского лётчика, американского лейтенанта Пауэрса и эдгаровского «Ворона». «Дон Жуан».

*Акимов и Антокольский... А. А. Сурков,
или как кляуза Роберта Саути дошла до ЦК*

Весной 1957 года Зеленова позвала меня в свой кабинет и представила Татьяне Григорьевне Гнедич. Как сказала Анна Ивановна, «Татьяна Григорьевна будет обучать научных сотрудников музея французскому языку, а то позор какой-то, кроме директора, никто в музее и прочесть нужный материал не может, если он по-французски, а уж тем, кто занимается концом восемнадцатого, началом девятнадцатого как же без французского!!!».

Невозможно, говоря о Гнедич, не начать с истории перевода байроновского «Дон Жуана». Я услышал эту историю сначала вкратце от Анны Ивановны, а потом подробнее и от самой Татьяны Григорьевны.

История эта с тех пор была пересказана в печати неоднократно. Сначала в искажённом виде в какой-то советской газете, потом спустя много лет мной кратко в «Русской мысли», потом подробнее Георгием Беном в изданной в США «антологии сплетен и стихов» К. Кузьминского «Голубая лагуна», наконец в «Барселонской прозе» Е. Г. Эткинда и в воспоминаниях М. Германа «Сложное прошедшее». Естественно, версии несколько разнятся.

Расскажу ее все же и в этой книге в нескольких словах, постаравшись поточнее отфильтровать только то, что слышал от самой Т. Г.

Во время войны Татьяна Гнедич, выпускница английского отделения филфака, недавно закончившая аспирантуру, была мобилизована и работала в Разведуправлении Балтфлота на связи с английскими и американскими союзниками.

И вот однажды прикомандированный к тому же управлению английский офицер связи, по гражданской специальности литературовед-славист, Уинкотт (то ли Гнедич, то ли кто другой его прозвал тогда «Воен-кот», как рассказывала Л. Я. Гинзбург), сказал, что хорошо бы после войны ей приехать в Лондон, где они «смогут вместе немало сделать для усиления русско-британских культурных связей». И вот бедная наивная Татьяна Гнедич после этих, строго говоря, ничего не значащих слов, по её собственным словам «всю ночь промечтала о Лондоне, а на другой день пошла в партком». Дело было в 1944 году. Она по сути дела донесла на себя сама: вернула кандидатскую карточку ВКП(б), сказав, что быть членом партии недостойна.



Т. Г. Гнедич.

Е. Г. Эткинд сомневается в истинности такого дурацкого происшествия, но тут же сам отмечает, что некоторое юродство не чуждо было Т. Г., а он ведь знал ее с детства: еще задолго до войны Татьяна Гнедич учила его английскому.

В результате такого самодоноса Т. Г. тут же и арестовали. И вот, находясь в предварительном заключении, она на память перевела девятую главу любимого «Дон Жуана». Во время очередного допроса до того ничего не говорившая и не писавшая Т. Г. заполнила данный ей допросный листок этой девятой главой, написав бисерным почерком на обеих сторонах листка более тысячи строк. Следовательно, называвший себя Капустин, оказался в порядке чуда, человеком понявшим, кто сидит перед ним. Он добился того, что Гнедич поместили в отдельную камеру, дали книги, бумагу... Она считалась под следствием до окончания работы.

Перевод всей огромной поэмы был завершён за два года, его перепечатала машинистка следственного отдела, а Гнедич вычитала. Один экземпляр следователь по её указке послал на отзыв Мих. Лозинскому. Второй экземпляр пошел в архив МГБ, а третий с резолюцией «Не отнимать и не читать» был отдан Татьяне Григорьевне, поехавшей с ним в лагерь, где она отсидела оставшиеся восемь лет своего срока⁶⁰. Так что чудеса случаются. Возможно, следователь Капустин, дав Т. Г. возможность работать, попросту спас ей жизнь!

* * *

Но вернемся в конец 50-х. Татьяна Григорьевна жила в то время минутах в десяти от Павловского Дворца. Она снимала одну большую сараеобразную комнату в частном деревянном доме. Жили они втроём: она, её муж Г. П. Богданов и «тётушка» — маленькая, невероятно квадратная и седая Анастасия Дмитриевна Макарова, когдатощний инспектор РКИ⁶¹, посаженная ещё в незапамятные времена. Обоих привезла Гнедич с собой из лагеря. Не знаю, где находились они, пока Татьяна

⁶⁰ См. «Барселонскую прозу» Е. Г. Эткинда. Изложивший эту же историю в 2000 году М. Ю. Герман, допустил множество вопиющих неточностей. Так, вопреки его утверждениям, Гнедич никогда не работала на ленинградском радио, арестована была не «после войны», а в 1944 году, никогда не была в ссылке, а просидела от звонка до звонка, и замуж за Георгия Павловича Богданова вышла не в ссылке, а в лагере, где была режиссером самодеятельности, а Г. П. играл матроса Швандю в её постановке «Любови Яровой». К. Тренёва.

⁶¹ РКИ — Рабоче-Крестьянская Инспекция.

Григорьевна, прямо из лагеря приехавшая к Эткиндам, жила у них пару месяцев. Потом она сняла вот эту сараеобразную комнату в Павловске, и они поселились там.

Оттуда я и сопровождал её на её первый, триумфальный — через полгода после выхода из лагеря — творческий вечер в Дом Писателя, в апреле 1957, когда она впервые читала в Белом зале отрывки из «Дон Жуана»⁶².

К тому времени уже был заключён договор с Гослитиздатом и «титულным редактором», к нашей общей радости, назначена была Нина Яковлевна Дьяконова. А Борис Борисович Томашевский, штатный редактор «Гослита», добившийся этого назначения (правда, по подсказке Эткинда), ходил в перерыве по всем гостиним и кабаку писательского дома чуть не вприпрыжку и всем, кого знал, хвастался, потрясая как петушок, гребешком седых волос: «А хорошо я придумал, а? Лучше Дьяконовой редактора для книги этой и быть не может!».

Через год после этого вечера Татьяна Григорьевна со своим семейством переехала в Пушкин на Московскую улицу, где ей выдали две комнаты в маленькой коммуналке: соседи её, занимавшие третью комнату, появлялись там не чаще раза в неделю, и таким образом квартира Гнедич была почти что отдельной. Впрочем, произошло это не в один приём: сначала комнату ей (на троих-то!) дали одну, хотя и огромную, а потом, когда в СССР должен был приехать датский поэт Отто Гельстед, которого она переводила, ей в течение двух дней добавили вторую комнату в той же квартире, срочно переселив из неё куда-то («с улучшением») проживавшую там старушку. Дело в том, что Гельстед пожелал непременно встретиться со своим переводчиком!

В 1957 году Гнедич стала вести семинар перевода английской поэзии. Семинар поначалу состоял из пяти человек: И. Комарова, Г. Усова, Г. Бен, В. Васильев и я. Все мы, её ученики, бывали у неё часто, а я так вообще многие годы не реже раза в неделю. Это кроме еженедельных занятий её семинара в Доме писателей и ежемесячных заседаний секции перевода.

⁶² Г. С. Усова в своих мемуарах утверждает, что вечер Т. Г. проходил в Красной гостиной, а не в Зале. Пожалуй, это не так уж важно: память часто вытворяет такие штуки с конкретными деталями и даже с датами, верно сохраняя, однако, все оттенки настроений и впечатлений...

Вот одна из «наших» историй того времени. Е. Г. Эткинд «выбил» в Москве в издательстве «Иностранная литература» заказ на перевод книги стихов американского негритянского поэта Ленгстона Хьюза. Татьяна Григорьевна, назначенная титульным редактором этого издания, решила не распределять стихи Хьюза для перевода между нами, а сделать во много раз более трудоёмкую, но как показало время, и более результативную работу. Каждый из нас получил экземпляр всех стихов планируемого сборника. И каждый был волен переводить то, к чему душа лежала. И вот раз в неделю в Доме писателей на стол ложилось по три, а то и по шесть переводов одного и того же стихотворения. Это был удивительный «конкурс нараспашку» (просто открытым его назвать было бы недостаточно). Ведь и жюри, и авторы были одни и те же люди! В результате, лучший по нашему мнению перевод выбирался для дальнейшей доработки. Редактировали всем скопом.

И вот вышел первый сборник Хьюза, а через год всё то же издательство, называвшееся уже к тому времени «Прогресс», заказало нам новый сборник, который был раза в три толще первоначального. К этому времени к нам присоединился А. Щербаков, которого прислал ко мне как-то мой старинный друг Марк Алтшудлер, сказав, что этому молодому инженеру очень хочется познакомиться с ровесниками-поэтами, поскольку он сам пишет и кое-что переводит, а в среде инженеров ему тоскливо... Очень быстро Саша стал среди нас совсем своим.

На занятия семинара нередко заходил Эткинд, в те годы — секретарь секции переводчиков. Как раз тогда в 1962 году вышла его знаменитая книга «Поэзия и перевод», в которой он, в частности (в главе «Переводчик, как читатель»), сравнивал и подробно анализировал двенадцать переводов одного стихотворения Гёте, и о моём, последнем по времени переводе, писал: «Наконец-то стихотворение Гёте переведено без смысловых и стилистических ошибок... Верная оценка поэтического содержания дала переводчику право на ритмическую свободу, право на творчество, которого лишали себя прежние поэты-переводчики». Эта фраза послужила для меня первым серьёзным признанием. В дарственной надписи на книге, Ефим Григорьевич «обозвал» меня «одним из положительных героев этой книги».

Еще одно интересное событие того времени. Как-то раз на совместном заседании нашего семинара с семинаром французской поэзии, которым руководила Э. Л. Линецкая, были представлены к обсуждению переводы Геннадия Шмакова, молодого переводчика французских стихов и византолога. Только переводы были вовсе не с французского. Прозвучало никому из нас не известное имя: Константин Кавафис. К сожалению, никто из нас новогреческого не знал и для сравнения нам даны были английские и русские подстрочники. Сначала читались стихи в подлиннике, а затем — переводы Шмакова. А эти переводы были по просьбе Шмакова отредактированы Бродским, который тоже активно участвовал в этом обсуждении. Позднее он и сам перевёл несколько стихотворений Кавафиса.

Теперь надо, наверно, рассказать вкратце о людях из нашего семинара.

Ирина Комарова. Переводила она мало, от работы над Байроном отказалась. Но вот открыла для себя американского сатирика Огдена Нэша, стала его переводить и с ним переписываться. Ее переводы из Нэша стали широко известны после того, как они прозвучали в замечательных программах очень знаменитого в 60-ые годы чтеца Сомова. Благодаря Сомову, люди впервые услышали, не прочитали, а именно услышали, многие переводные стихи. Наверно, не удивительно, что Ира выбрала именно Нэша, ведь из нее вечно сыпались остроумные эпиграммы, противореча ее суховатому облику, который, впрочем, соответствовал её должности редактора адаптированных изданий в «Учпедгизе».

Галя Усова, ближайшая Ирина подруга, была вхожа в дом Эткиндов, учила Машу Эткинд английскому языку, а Ира, слегка ей завидовавшая, спрашивала у Гали так: «Ты была там, Галечка? Что кушает за обедом крокодил?»...

Галя же переводила австралийских поэтов разных времён, охотно принялась и за Байрона. Что-то мы переводили с ней вместе, а в 1961 году поженились... В 62 родилась одна дочь, в 65 вторая. Разошлись в 1972 г. Перед моей эмиграцией. Как объяснила Галя, не хочет она уезжать: рабам, по её словам, похлёбка хоть жидкая, но обеспечена, а на Западе — кто его знает... На самом деле, дело, конечно же не в похлебке, а в интуитивном

ощущении, что дома она может работать, а на Западе делать ей решительно нечего.

После смерти Т. Г. Гнедич Галина Усова стала хранительницей ее архива. Она унаследовала от Т. Г. любовь к Байрону и теперь имеет отношение почти к любому изданию Байрона в любом конце России.

Владимир Васильев. Всю жизнь свою по его же словам «положил на эпиграммы». Недавно выпустил необъятный четырехтомник эпиграмм всех времён и народов.



Г. С. Усова.

Александр Щербаков — поэт, не выпустивший ни одной книги, переводчик, участвовавший в десятке изданий разных поэтов. Перевел полностью оба тома «Алисы» Льюиса Кэррола. Фантаст, выпустивший две книги повестей, изобретатель, имевший несколько патентов на изобретения в электронике. Он умер в середине 90-х — от лейкемии.

И, наконец (the last, but not the least) — Георгий Бен. Мой самый близкий друг. Блестящий знаток английского языка, он дебютировал в переводе раньше всех нас, участвовал в однотомнике Лонгфелло (1958), потом ещё в двух десятках сборников, Байроном занялся тоже охотно. Был в то время великий мастер на забавные капустники — магнитофонные спектакли, которые сочинял и исполнял со своей тогдашней женой Светой, подготавли-

вая эти капустники к каждому более или менее массовому сборищу, к дням рождения, Новому году и проч. и проч. Иногда и я помогал ему.

Эмигрировал он один, почти одновременно со мной (с разницей в десять дней), пожил в Израиле, покрутился в Америке, проехав её из конца в конец, потом работал в Мюнхене на радио «Свобода» и наконец перешел на Би Би Си, где и доработал до пенсии.

Бен, уже живя на западе, перевёл и опубликовал несколько знаменитых, запрещённых в СССР английских и американских романов⁶³ (антиутопию О. Хаксли «Блестящий новый мир», исторический роман Г. Фаста «Мои прославленные братья Маккавей», «Помощник» Б. Маламуда, «Тьма в полдень» Кестлера, наконец две книги Германа Вука). Стихи он тоже продолжает переводить. Сейчас вот собирается издавать Суинберна, к которому всю жизнь возвращается⁶⁴. Все годы нашей эмиграции мы видимся нередко, когда-то в Мюнхене, а теперь — в Париже и в Лондоне. Первая книга его избранных переводов, «Изменчивость», изданная в Израиле, содержала почти все его переводы, которые по тем или иным причинам в СССР напечатать было невозможно. Потом вышла книга «Последнее песнопенье», уже в наше время, поэтому в Питере. Там же издана и главная работа его и, наверное, главная удача — перевод шекспировского «Ричарда Третьего», которого (после «перестройки», естественно!) поставили несколько российских театров.

Название первой книги переводов Г. Бена, по-моему очень точно отражает характер тех переводчиков, которых не заносит ни в рабское копирование оригинала, ни в поэтическую отсебятину. Они идут по лезвию бритвы, между Сциллой и Харибдой, каждый раз меняясь, как бы входя в роль, данную им автором. Это переводчики-актёры. Таков, мне кажется, Г. Бен. В пределах избранного круга переводимых авторов он каждый раз перевоплощается, играя новую роль. Вместо «точности» — верность. И автору и себе.

⁶³ Историк перевода Е. Витковский, говоря о творчестве Г. Бена, почему-то перевод прозы на русский язык человеком, живущим на западе, называет «парадоксальным занятием».

⁶⁴ Вышел в 2003 году в изд-ве Пушкинского фонда, СПб.



Г. Е. Бен с моей собакой Ньюшей. Медон 2001 год.

Но вернусь к Татьяне Григорьевне. Еще одна работа ее — подготовка издания небольшой книжки стихов Байрона, которая в 1967 году вышла в серии «Сокровища лирической поэзии». Тут пришлось Татьяне Григорьевне пойти на некоторые компромиссы. В книгу попала пара-тройка переводов Вильгельма Левика, «гения банальности» как она его прозвала. Он был из числа переводчиков, живущих по принципу «не стой на виду, а не то переведу».

В сборник вошло даже одно стихотворение в занудном переводе Георгия Шенгели, который наклепал за свою жизнь несколько полных собраний сочинений разных поэтов, что-то с оригиналов, что-то с подстрочников, но, по выражению Эткинда, «читать это можно только под страхом смертной казни».

Когда я спросил Т. Г., почему она, как титульный редактор, взяла в книжку этот перевод, которым, к тому же, книга открывается, она сказала, что только 12 строчек взять у того, кто «перепёр на язык родных осин» полного Байрона, было даже отважным

поступком с её стороны. Тем более, что издательский редактор, наш милейший Б. Б. Томашевский, просил её включить хоть что-то, аргументируя тем, что вот несколько раз прибежала в издательство вдова Шенгели, что он всё же покойник...

На это Т. Г. сказала: «Боба, дорогой, у каждого есть свой покойник, о котором надо позаботиться: у неё Шенгели, а у меня — Байрон». Но эти злосчастные 12 строк всё-таки взяла.

Наш Борис Борисович был очень скрупулёзным редактором, обращал пристальнейшее внимание на детали, так что после него уж точно никаких явных огрехов в переводе обнаружить было нельзя. Но порой из упрямства и «излишней учёности» наши переводы портил... Широко образованный, был он человеком к тому же достаточно громким. Спорить обожал!

«...Томашевский,
С которым мы вдвоём, как ни придёшь,
Дом Книги криками вгоняем в дрожь».⁶⁵

Походил он на пожилого, но вполне задиристого петушка.

* * *

В 1974 году Е. Г. Эткинд опять подвергся травле со стороны властей. Когда его в один день исключили из Союза Писателей и уволили из Педагогического института, многие коллеги, хоть профессора, хоть писатели, из трусости переходили на другую сторону улицы. А Борис Борисович, который чуть ли не на всех обсуждениях был яростным оппонентом Ефима Григорьевича, пришел к Эткинду с бутылкой водки и предложил «запить это дело и плюнуть!», что и было тут же сделано.

* * *

Лет за пятнадцать до этого, в мае 1960 года назначен был в Доме Писателей вечер американской поэзии. Я предполагал прочесть на нём только что переведённого мной «Ворона» Эдгара По.

⁶⁵ В Доме Книги на Невском тогда помещалось несколько издательств, в том числе и «Гослитиздат». Позднее это издательство переименовали в «Художественную литературу».

Я предчувствовал, что после этого чтения на меня посыплются бомбы. В большом, шестисотместном зале Дома Писателей могло поместиться немало людей, державшихся за традицию. Я понимал, что рефрен Эдгара, знаменитое «Nevermore», переданное мной с сохранением безнадежности, как главного лирического мотива, но и с сохранением сходного с подлинным звучания, — «Не вернуть»⁶⁶, нарушает все традиции, требовавшие ставить тут либо дурацкое, как вот у Брюсова, «больше никогда», либо делать вид, что ворон так по-русски каркать и не научился. И в русском тексте, как у Бальмонта, или М. Зенкевича, ворон говорит упрямо всё тот же (или то же?) «невермор». (Я к этому русскому «невермор» видел прежде всего одну обязательную рифму — Беломор, и одну необязательную — Черномор).

Но бомбы попали в меня и Эдгара По совсем не оттуда, откуда я ждал их. За два дня до назначенного вечера американский лётчик-разведчик Пауэрс был «сбит» ракетой советских войск ПВО где-то над Свердловском и взят в плен. Как говорил мне мой приятель, с которым я познакомился уже в эмиграции, Артур Вернер, служивший как раз тогда в армии в том самом районе в должности планшетиста, а потом говорили и другие бывшие военные, той ракетой сначала был уничтожен охотившийся за Пауэрсом советский истребитель. А уж обломки этого истребителя и повредили самолёт американца так, что ему пришлось сесть на колхозное поле. В связи с этим событием, вечер американской поэзии немедленно отменили. Уже сравнительно недавно, лет через тридцать после этого события я написал шуточные стихи....

ВОРОНЯ ИСТОРИЯ

Баллада о том, как ракетчики в 1960 году сбили эдгаровского Ворона, и о том, как тридцать лет спустя его ещё и оклеветали (заодно с Синявскими) в лживых мимуюррррах

⁶⁶ Предполагаю, что в качестве пути к моему «ключу перевода» подсознательно сыграли роль блоковские строки:

«Но к старости — возврат и юности и жара!
Так начал я, но он настойчиво прервал:
«Она всё та ж — Линор безумного Эдгара,
Возврата нет! Ещё? Теперь я всё сказал».

(Она — тут имеется в виду молодость).

Как-то в небо над Свердловском, залетел U-2 неловко,
(Видно в Штатах подготовка лётчиков — сплошной позор)
И советский истребитель (за подробности простите)
Полетел за ним как витязь, — но не состоялся спор,
Сбит советской же ракетой, асс советский под забор
Бух! Взлетит ли? Невермор.

Но осколки крыльев грозных грохнулись с высот морозных,
И середь полей колхозных янки сел и сдался он.
...Дом писателей в то время, вечер затевал по теме
'Переводы из поэтов США', — а тут такой позор!
И, приказами инстанций, заменён на вечер танцев,
Был тот вечер, чтоб с тех пор
Безо всяких предпочтений, от американских чтений
Не осталось даже тени
в Ленинграде — НЕВЕРМОР!!!

Был задет ракетой меткой сам Ефим Григорыч Эткинд,
Бен, Бетаки, Комарова, С. Петров и Щербаков,
Так стукач Ве. Ге. Адмони помешал моей вороне,
Прозвучать в пристойном тоне возле невских берегов,
Он, в писательском загоне возле невских берегов,
Каркнул: 'Пррроиски врррагов!'

.
Но история 'с приветом' не кончается на этом.
Тридцать лет прошло, и что же? Ворон с книжкой прилетел,
Я как раз сидел с бутылкой, сонно тыкал в сёмгу вилкой,
И раздумывал, зачем же он сюда в Париж летел?
Это чьи ты, дурень старый, приволок мне мемуары?
'Кто послал тебя, базаром отрывать меня от дел?
Ворон: (театральным шопотом): *Воронелл...*

И среди пустого сада, крылышки сложив как надо,
За отсутствием Паллады, оглядевшись, сел на ель,
Я ж, наученный Эдгаром, понял: это он — не даром,
Задавать ему вопросы надо, несмотря на хмель:
'Старый Ворон, ты — свидетель в том, что знают даже дети:
Кто хвастливей всех на свете, кто рифмует с дубом ель?
*Гаркнул Ворон: 'Воронель!!!'*⁶⁷

⁶⁷ При чём тут переводчица Н. Воронель, читатель узнает в самом конце этой книги....

Когда Н. П. Акимов, художественный руководитель Театра Комедии, сделал вместе с Т. Г. Гнедич блестящую инсценировку «Дон-Жуана», и началась работа над спектаклем, Т. Г. стала меня часто брать с собой на репетиции, и я перезнакомился с несколькими актёрами (и главное — актрисами театра.)

Репетиции были каждый раз сотворением нового спектакля. До сих пор в глазах у меня изящнейший ироничный актёр Г. Воропаев в роли Дон Жуана, знаменитая Зарубина (Екатерина Вторая) и бесконечно свободный, петушино-беззаботный, героически великий и смешной А. В. Суворов в исполнении бывшего тюзовца, блестящего актёра Тейха.

А когда «Дон Жуана» повезли на гастроли в Москву, то я забежал на Сивцев Вражек за П. Г. Антокольским. Мы отправились с ним в Зал Чайковского, на сцене которого и состоялось первое в Москве представление поэмы. Именно представление поэмы, поскольку во многих сценах два чтеца у двух кулис (актёры Колесов и Севастьянов) читали и сюжетные октавы, и лирические отступления, а на самой сцене, большей частью в виде немого действия, происходило то, о чем рассказывалось. Таким образом, самое интересное и самое острое в байроновской поэме, а именно эти лирические отступления, не только не пропали, но даже составили основу спектакля.

Действие уже началось, когда на балкон к нам, на свободное откидное место, пригнувшись прокрался кто-то и сел. Когда свет от сцены стал чуть ярче, я к своему удивлению увидел Николая Павловича Акимова. Он сидел рядом с нами и хохотал так непосредственно, будто был не режиссёром этого спектакля, а обычным зрителем, видевшим представление впервые.

Так я и сидел между двумя легендарными режиссёрами, Акимовым и Антокольским, и боялся слово сказать. Только ворочал головой, когда они перекидывались репликами.

Из Москвы, после торжественных проводов в квартире у Антокольских, мы уехали с Татьяной Григорьевной и всем театром в Питер. Вечером, сразу после отправления поезда, в наше купе забежал Акимов, и извинившись, что ненадолго, принёс бутылку коньяка, наспех выпил с нами и тут же убежал к себе в вагон. А мы, так и не заснув, читали друг другу всю ночь разные стихи и обсуждали планы полного четырёхтомного собрания сочинений Байрона, которое так никогда и не осуществилось.

А так обидно! Ведь Байрон — это прежде всего поэмы. Т. Г. сделала все, от нее зависевшее, чтобы пробить полного Байрона, она даже поехала как-то на приём к всеильному тогда секретарю СП «поэту» Алексею Суркову и взяла с собой меня, как сказала, «для храбрости». Сурков не стал, как мелкие издательские сошки, ссылаться на нехватку в стране бумаги, а прямо заявил: «Байрона полностью издавать не будем. Идеологически неподходящий момент». «Но всё равно есть ведь старые издания, — возразила Т. Г., — прежде всего венгеровское!» «Ну это нас не беспокоит, — цинично усмехнулся Сурков — мало экземпляров сохранилось с дореволюционных времён, да и в таких переводах, что никто не читает, только держат на полках из-за золотого обреза и тиснения. А Байрона пропагандировать не стоит: он всё же изменник родины». Это заявление вождя советской литературы было обезоруживающе анекдотичным. Мы распрощались и ушли. Когда же на приём к Суркову с тем же Байроном пришла московская литературная дама Афонина, она получила отказ ничуть не менее нелепый: «В ЦК прочли биографию Байрона, написанную Андре Моруа⁶⁸ и увидели, что ваш Байрон безнравственная личность».

Вероятно, на этот раз Байрону повредил известный донос на него, написанный в 1816 году поэтом-озёрником, тогдашним королевским лауреатом, Робертом Саути, который и цитируется в лихом художественно-биографическом сочинении французского «жезеэльщика»⁶⁹. Мог ли ожидать лорд Байрон, что кляуза «Боба Саути» (с издевательства над коим начинается «Дон Жуан»⁷⁰) через сто сорок четыре года всё-таки дойдёт до властей предержа-

⁶⁸ Книгу Моруа поначалу выпустили не для широкого читателя. Она издана была тогда в 50 нумерованных экземплярах для «самых верхних». А в ЖЗЛ вышла, кажется, только через несколько лет.

⁶⁹ Производное от ЖЗЛ (Жизнь замечательных людей).

⁷⁰ Боб Саути, ты поэт, лауреат.
И представитель бардов — превосходно
Ты ныне как отменный тори ат-
тестован: это модно и доходно.
Ну как живёшь, почтенный ренегат?
В Озёрной школе всё что вам угодно,
Поют десятки мелких голосов,
Как «в пироге волшебном хор дроздов!».

(Пер. Т. Г. Гнедич)

щих, хотя и не в Англии, и главное — что на эту клязу в конце концов обратят внимание!

И где? В ЦК КПСС!

«ФЕБ С НИМ» И ДРУГИЕ ИСТОРИИ

(1958—1972)

Георгий и «Феб с ним». Питерские переводчики.

Шкое Гасан. Подстрочникоеды и джамбулотворцы.

А. Сергеев. Великий и безвестный Поляков.

Анна. Белинков говорит из бритвы

Ефим Григорьевич Эткинд купил сборный финский дом и поставил его в посёлке «Верхнее Роцино» (не знаю, почему такое название: ближайшая станция была Ушково, да и все жители считали, что дачи их в Ушкове находятся).

Надо было полностью сделать электропроводку. Муж Гнедич Егорий, он же Ягуарий, был отличный монтер, одна только была маленькая проблема: при детях, да и при Екатерине Фёдоровне, лучше бы не материться. Т. Г. нашла гениальное решение: она научила Егория заменять известное присловье из трех букв другим, содержавшим столько же букв, но существенно более изысканным: Феб. Нашла она замену и некоторым другим выражениям. И вот Георгий отправился в Ушково.

В тот же вечер (я как раз сидел у Татьяны Григорьевны) позвонил Эткинд, чтобы «обсудить интереснейший лингвистический факт»: супруг Т. Г., оказывается, употребляет «выражения античные по форме и матерные по содержанию». Гнедич при творно удивилась, а Эткинд пояснил: «Да вот всё время только и слышим, «Феб с ним», «Ну его к Фебу» или «Феб знает что такое!»... Как-то вскоре после этого эпизода, когда мы сидели втроем у Татьяны Григорьевны (В. Васильев, Г. Бен и я), ввалился Георгий, уже довольно поддавший, с бутылкой водки в каждой руке. Он поставил бутылки на стол и нетвёрдо, но методично стал отодвигать от нас чайные чашки, приговаривая: «раз вы, ребята тут без ваших баб, так выпьем, а что она запрещает — так Феб с ней!». Ребята прыснули, не понимая, при чём тут Феб,

«он же Аполлон же», как откомментировал Володя Васильев. Тогда усадив Георгия, Татьяна Григорьевна поведала Жоре и Володе об этой истории с Фебом, добавив, что поскольку Георгий Павлович Диониса вовремя не упомянул, то пить сейчас никак нельзя: Дионис может с Фебом поссориться. И налила всем чаю. Георгий вдумчиво согласился с её научными доводами и даже бутылки убрал в буфет (тот самый, кстати, что как-то получил от Бродского прозвище «Нотр-Дам де Пари», которые в нашем «домашнем» жаргоне и прижилось⁷¹) повторил вслух дважды, что бутылки стоят «в левой башне, в левой башне», и, к чаю не притронувшись, грустно ушел к себе в комнату.

Попробую теперь рассказать немного о литераторах, которых я знал в те времена.

О секции поэтов в Питере ничего сказать не могу, потому что настоящие поэты, как правило, на заседания секции просто не ходили. Подавляющее большинство посещавших секцию, были «празднописцами». Празднописцы интриговали и дрались за местечко на первой странице «Ленинградской Правды» перед каждым праздником.

А вот в секции переводчиков были колоритные фигуры. Попробую обрисовать некоторых вкратце, так, как помню.

Владимир Ефимович Шор. Переводил французскую поэзию и прозу, но немного. Прозвали его «Гётц фон Берлихинген», поскольку был он однорук и ходил с протезом. Эткинд рассказывал, как однажды весной, когда на Карельском перешейке всё цвело, Шор приехал к нему на дачу. По словам Эткинда, когда они шли с вокзала к даче, Шор заговорил о вариантах переводов кого-то из французских классиков, а он, Эткинд, его перебил, предложив посмотреть на дикие цветы вдоль дорожки, вообще на весь весенний пейзаж. «Да, да» — поморщившись, что его отвлекли от важной темы, пробурчал Шор и продолжал: «Так вот, там прошедшее время неправомерно...».

71

Старый буфет извне,
Так же как изнутри
Напоминает мне
Нотр-Дам де Пвари...
И. Бродский

Эльга Львовна Линецкая. Переводила в основном с французского, по-настоящему крупные удачи были у неё только в переводах из семнадцатого века. Проза моралистов в её переводе неповторимо хороша. А когда дело касалось стихов, хоть XIX столетия, хоть двадцатого, мне ее переводы не нравились. Они были, на мой взгляд, крепко сделаны, но поэзия куда-то исчезала. Я не мог и поныне не могу отделаться от впечатления, что Линецкая хороший переводчик прозы, но — не поэт, и всё тут. Считала она, что позиция Гнедич, по которой переводить следует только то, что хотел бы сам написать, это позиция дилетантская, а профессионал должен перевести всё, что закажут, и на самом высоком уровне. Ребята из семинара Эльги Львовны любили ее не меньше, чем мы Гнедич, и они рассказали о ней в книжке «Э. Л. Линецкая. Материалы к биографии».

Юрий Борисович Корнеев. Блестящий знаток французского языка, изобретательнейший переводчик таких головоломных стихов, как вставные стихотворения в «Гаргантюа», и вместе с тем халтурщик, перекатавший «Конец Главы» Голсуорси и какие-то романы Сименона. Он скучно сделал «Песнь о Роланде» и «Нибелунгов», но мастеровито, даже с холодным блеском, перевел целый театральный репертуар, состоящий из пьес Гольдони, Кальдерона, Лопе де Вега, Шекспира...⁷² Хотя уж он никак не был, да и не мог быть «человеком театра».

Ну и не помню, сколько ещё десятков авторов он перевел с испанского, английского и французского. Были у него исключительно талантливые переводы нескольких лучших стихов Арагона и Кокто. Корнеев служил после окончания института (где учился у Е. Г. Эткинда), преподавателем языка в спецшколе КГБ, о чём говорил вполне открыто. Много лет являлся секретарём партбюро Союза писателей, умел говорить и на «их», и на «нашем» языке.

Я к Корнееву всегда относился плохо и, вполне возможно, не мог увидеть человеческие качества в человеке, занимающем то положение, которое он занимал. Да и редактор он был очень своевольный. Но, среди очень мне близких людей, есть люди, которые относились к Корнееву самым лучшим образом. Так что человек он был незаурядный, и представлял он разным людям поразному. «То ли гебешник, то ли белый офицер» — как-то сказа-

⁷² Безусловно, лучшая из этих работ — перевод «Макбета».

ла о нём Гнедич. Последней его работой были переводы из Вийона. Он тогда уже почти ослеп. Переводы эти не тянут в сравнении не только с Эренбургом, но даже и с Мендельсоном. И все равно их нельзя назвать халтурой. Вероятно, слишком интенсивная работа истёрла Корнеева. И всё же изредка он бывал поэтом... Умер он в 1995 году семидесяти четырех лет.

Михаил Александрович Донской. Он легко добывал издательские заказы, переводил старательно и мастеровито. Только вовсе он не поэт, а ремесленник, хотя и высочайшего класса. К переводам его приохотила первая жена, красавица и умница, Софья Львовна, преподававшая в Библиотечном Институте. Работала она там вместе с матерью Гали Усовой, которую и прозвала «Гали-мать-я». Были они подругами. Одна из удач Донского — перевод «Охоты Бургграфа» Гюго. Это поэма строк в двести, вся построенная на эхо-рифмах — вещь совершенно головоломной технической трудности.

Донской, пожалуй, не халтурил, но подходил к стихам арифметически и пытался, по словам Гнедич, — «пересальерить самого Сальери». После смерти второй жены, испанистки Инны Чежеговой (ученицы Э. Линецкой), он прожил ещё с десятком, наверное, лет, но в печати не появлялся вообще ни разу.

Бессменным секретарём секции переводчиков был Е. Г. Эткинд. Он же «изобрёл» и сам всегда вёл устный альманах секции «Впервые на русском языке», который «выпускался на сцену» Белого Зала два-три раза в год. Переводчики читали новое, больше стихи, но в каждом выпуске была и проза, и даже, порой, критика.

Вот в таком выпуске я однажды (в январе 1963 года) решил опробовать на самой что ни есть квалифицированной аудитории свою мистификацию: пройдёт, или нет? Заподозрят ли, что некий «южноафриканский поэт Мэтью Боссо-кудо» никогда не существовал? Я прочёл шесть «его» стихотворений среди пяти других поэтов Чёрной Африки. По тому, как принимали, ясно понял: во-первых, никто не заподозрил, во-вторых, эти стихи понравились аудитории даже больше, чем вполне реальный М. Акпойовар, или моя знакомая ещё по «Конференции поэтов Африки и Азии» в 1958 г. в Пушкине, тогда Эфуа Моргуе, она же (позднее по мужу) Сазерленд, и другие, менее известные англоязычные африканские поэты.

Танцевала ты в Кейптауне в портовом кабачке,
На окраине Кейптауна в матросском кабачке,
И призывный звон браслетов разносился вдалеке.
Извивались руки, гибкие, как хоботы слонов...

Это — мой Боссо-кудо и он имел только один недостаток: его стихи по-английски не существовали, и подлинников, если попросят, я предоставить не смог бы...

Никто на этот раз не спросил. И таким образом моя «пинде-монта» (как называет такие «переводы» Е. Витковский), прошла с успехом, после чего я её и опубликовал в «Неве»... ну а там я не боялся, что спросят английский текст: зав. Отделом поэзии был тот самый «плагиатор Сергей Орлов», который и русский язык без словаря, как говорили, знает в основном только в матерном варианте.

Году в 70-ом в московском Гослитиздате объявили конкурс на три главных стихотворения Эдгара По. Два из них у меня уже были: «Ворон» и «Колокола». Они «отлеживались» не один год, и правил я их не раз, а вот «Удалюм» я сделал специально к этому конкурсу. Конкурс был открытый, именной, не под девизами, и по условиям в нем участвовали переводы всех времён: и Брюсов, и Бальмонт, и Сергей Владимирович Петров, и Б. Б. Томашевский... В общем, «Воронов» было наверное штук пятнадцать, (не фигурировал тут только поэт «Алталена», поскольку это имя было псевдонимом Владимира Жаботинского, одного из вождей сионизма в нач. XX в.),

Были на конкурсе этом и «Колоколов» — три комплекта, да и «Удалюм» в четырех, кажется, вариантах.

В гослитовский двухтомник, который был издан в результате конкурса, все три стихотворения вошли в моих переводах. И по этому поводу я написал (правда, задним числом) следующее «Послание» редактору Мироновой, (она заведовала англоязычными переводами). Я поставив в конце каждой из трех строф «ключевое слово» стихотворения из соответствующего перевода:

«Эм. Зенкевич наворонил:
«Ворон в стиле «макарони»,
До чего ж забавный вздор!
Хоть у вас его издали
Десять лет тому, не далее —
Но ещё раз? «Nevermore».

Может Брюсову поблажка?
Но с инверсиями тяжко,
С русским языком беда...
Сотню строк пока читаешь,
Зубы все переломаешь!
Брюсов? «Больше никогда».
Посему прошу без драки
В переводе Ве. Бетаки
«Ворона» в набор пихнуть,
Не ругать его манеры,
Не причёсывать сверх меры,
И, конечно, «Не вернуть».

Что касается прочих стихов Э. По, то меня удивило обилие в таком представительном двухтомнике плохоньких переводов, которые были подписаны незнакомым мне именем Н. Вольпин. Когда я после выхода книги, уже в 1972 г., спросил у Мироновой, кто это такой, она пожевав папироску, хрипло, как всегда, проскрипела: «Во первых не кто *такой*, а кто *такая*. А во вторых — это мать Алика Есенина-Вольпина. Ну а то, что Алик уже одной ногой «там» и на отъезд нужно немало денег, так Вы лучше меня знаете...». И даже не глянула на потолок или на телефонный аппарат! А уж её-то кабинет наверняка прослушивался...

* * *

Шкое Гасан, курдский поэт, живший в Тбилиси, выпустил в Ереване, где выходила газета на курдском языке и иногда курдские книги, две книжки стихов. Будучи аспирантом-лингвистом Института востоковедения в Питере, он пришел как-то году в 65 в Дом писателей искать себе переводчика на русский. Кто-то вспомнил, что я некогда учился на персидском отделении Востфака, и познакомил его со мной.

Остатки моего основательно уже забытого фарси и его прекрасное знание русского помогли нам переводить его стихи. Мы переводили вдвоём, но редакция «Дня поэзии», как, впрочем, и редакции нескольких журналов, печатавших его стихи, категорически отказывались подписывать переводы двумя именами. В сознании советского редактора, чаще всего робота, хотя и до-

вольно грамотного, такое не укладывалось. «Не принято». Вот сакраментальная фраза!

Однажды у одного поэта не приняли книгу, где стихи и переводы перемежались авторскими комментариями и лирическими эссе, не приняли только из-за того, что «прозу и стихи смешивать не принято!». Беликовское «как бы чего не вышло» было семьдесят лет невысказанным лозунгом советской официальной жизни в любой её области, чем дальше, тем зануднее и бессмысленнее. Как говорил один из моих приятелей, и не литератор вовсе, а инженер катодной защиты (и поныне не знаю, что это значит): «Инициатива наказуема» (кажется, цитата из Ильфа?).

Так что публиковались стихи Гасана с указанием меня одного, как переводчика. Иначе — «не принято».

В те годы, посетив и Тбилиси, и Ереван, и Апаранский район Армении, где жили курды, я понял, что у курдов СССР было только два поэта: Шкое Гасан и Микаэле Рашид, мой однокурсник по литературному институту, и автор нескольких статей на курдскую тему в Литературной энциклопедии. Он же — воздыхатель «Огромной дамы» (нашей с ним однокурсницы Наташи Дуровой из знаменитого семейства цирковых дрессировщиков).

Кстати раз уж я заговорил о Дуровой, мне захотелось сделать маленькое отступление об одном номере Наташиного отца, Юрия Дурова. Номер этот я видел в детстве и навсегда запомнил.

На арену выходит слон, и рыжий клоун с ужасом от него шарается. А слон на тоненький столбик вешает такую вот вывеску:

Парикмахер Елисей,
Стрижка, брижка и завивка волосей.

Дуров протягивает слону огромный помазок, на арену выносят громадный стакан, похожий на ступу бабы Яги, и Дуров уговаривает клоуна побриться у Елисея. Клоун в конце концов соглашается и садится в кресло, а вредный слон как окатит его мыльной пеной, взмахнув разок помазком; клоун визжит, ну а уж когда слон аккуратненько берет хоботом картонную или, может быть, фанерную бритву величиной с клоуна, так тот весь в

мысле вскакивает с кресла и пытается удрать, а Слоны вместе с Дуровым его ловят... Ужасно мне это все в детстве нравилось.

* * *

Кроме поэтов, было среди курдов Еревана и Тбилиси штук пять «джамбулов», то есть людей, сочинявших на безграмотном русском подстрочники, но имевших в тех или иных партийных местах волосатую лапу, благодаря которой их переводили и печатали всякие подстрочникоеды-джамбулотворцы. Таким вот джамбулотворчеством часто занимался, например, С. Липкин. Эти его сочинения, да ещё переведённые им же, естественно с подстрочников) эпосы чуть ли не всех азиатских республик заполняли полки магазинов и библиотек, блестя позолотой девственных, никогда никем не открывавшихся переплётов.

Так что вполне справедливо, что именно Липкину было посвящено одно рубайи Шкое Гасана из сатирического цикла «Современный рубайат»:

Семёну Липкину

Дорогой мой, саз не палка для любого пастуха,
Лира не седло вьючное для любого ишака:
Если дёрнет посильнее торопливая рука —
Квакнет лира как лягушка, как скрипучая доска.
(перевод наш)

Надо все же сказать, что кроме «переводов» да весьма банальных и бледных собственных стихов, Липкин написал хорошую правдивую книгу «Декада», в которой рассказано много правды о политике КПСС в отношении «народов СССР», и кое-что о переводчиках подстрочникоедах и джамбулотворцах. Позднее вышли у него и вполне добросовестные мемуары. (С. Липкин, «Вторая дорога»).

* * *

В переводческой среде того времени (впрочем, не только в переводческой) существовала некая глухая вражда между москвичами и ленинградцами. Мы считали, что москвичи ближе к

кормушке и потому наглее халтурят. Столь же резко и тоже не всегда справедливо о питерских коллегах отзывался отличный московский поэт-переводчик Андрей Сергеев. Между нами двумя было что-то вроде многолетнего соперничества с некоторой взаимной неприязнью. Неприязнь была, вероятно, связана со сходством характеров. Оба мы вели себя с резкостью, которую коллеги переносили с трудом. Выражение «типичная халтура» висело у Сергеева на языке так же часто, как и у меня. Только он говорил «ленинградская халтура», а я, соответственно, «московская». Я и до сих пор считаю, что когда он печатал в «Иностранке» какие-то километровые австралийские белые стихи, он халтурил. И до сих пор я не понимаю, как человек, подаривший русскому читателю «Бесплодную землю» Элиота, великолепно переводивший Роберта Фроста, мог унижаться до переводов всякой ерунды. За неё платили, конечно...

А незадолго до нелепой гибели под троллейбусом Андрей Сергеев выпустил отличную прозаически-мемуарную книгу «Омнибус», удостоенную премии Букера. Пожалуй, в этой книге лучшие, читанные мной, воспоминания о Бродском.

* * *

Из переводчиков в Москве я дружил только с Ириной Озеровой, которая раньше училась в Литинституте двумя курсами младше меня, а потом, надо сказать, сотворила столько «джамбулов», что никакому Липкину или Гребневу — Козловскому и присниться не могло.⁷³

* * *

Одним из самых необычных и обаятельных людей, с которыми я в те времена общался, был Юлий Михайлович Поляков. Он работал долгое время в московском «Учпедгизе» английским редактором, потом преподавал в педагогическом институ-

⁷³ Гребнев и Козловский отличались от прочих подстрочниковоедов тем, что были действительно талантливы. И эта малость решала всё. Кстати, до чего же поздний К. Кулиев похож на раннего Гамзатова! А у Озеровой талантливы были только её собственные стихи, которые почти не печатались. Переводы же — вполне липовые. На уровне Липкина. Хоть французские, хоть чеченские — все с подстрочников...

те, а еще писал учебники для суворовских училищ. Английский язык у Полякова был виртуозным, он владел даже диалектами. Откуда в советских условиях могло взяться такое владение языком, трудно сказать. По сведениям Г. Бена, Поляков в детстве, кажется, жил в Англии, но если и так, он об этом не распространялся. А я как-то никогда не задавал ему прямого вопроса.

Когда-то Поляков учился в ВИЯКе⁷⁴, на четвёртом курсе был арестован, разумеется, как шпион, отсидел сколько-то лет в лагерях, и вернулся ещё до хрущевских массовых освобождений. Был он года на четыре старше меня. «Высокий, чёрный и в очках», как обрисовывала его давно дружившая с ним Галя Усова. Про Полякова можно рассказывать много и долго, и все равно не передать вполне его человеческого очарования и очевидной небрежной талантливости. Жена Г. Бена, Таня, которая не была с Поляковым знакома, утверждает, что когда Бен вспоминает Полякова, у него даже голос меняется от удовольствия.

К сожалению, Поляков обладал, как выражается одна моя знакомая, «нашим национальным недостатком», был он почти что алкоголиком... Было у Полякова две кошки, они имели обыкновение, сидя на плечах одновременно, мурлыкать прямо в уши и тереться о толстенную оправу очков, иногда их вовсе сбивая. Это называлось «Двойное интерМЬЮ».

Однажды я приехал в Москву и, как обычно, прямо с вокзала пришел к нему. Вижу, сидит одинокий Поляков за бутылкой очень дорогого коньяка и задумчиво коньячок потягивает. Налив мне, он объяснил: «Понимаешь, я собрался на день рождения к профессору Цветковой. Ну и купил старушке эту бутылку. Потом гляжу, пробка у неё необычная, на крышке написано „Turn to open“! Ну я её торнул, она и опнулась!» В его изложении любая ерунда звучала чистейшим Хармсом.

Была у него в Учпедгизе сотрудница, Анна Рукосуева, редакторша русского отдела, которая всё своё свободное время посвящала изучению творчества Бунина. Выглядела она настолько древнерусской, что всегда хотелось увидеть её в сарафане и кофшнике. Однажды днём она пришла к Полякову, когда я у него гостил, мы втроём чуть выпили, потом Юлик добавил и ещё добавил, остановить его было как всегда невозможно, хотя он оста-

⁷⁴ Военный институт иностранных языков.

вался всё так же весел, добр и остроумен, сколько бы ни выпил. Потом засыпал.

Так и в этот раз ушел он за шкафную перегородку к своему «ложищу» и заснул, а я тут же стал за Анной «ухаживать» то есть попросту схватил её в охапку и стал выжидать реакцию. А она только весело попросила меня удостовериться, что Юля и верно спит, и пока я заглядывал за шкаф, мгновенно разделась на моём диване, сказав: «Этому он меня и научил: главное — жить «без черёмухи».

Проснувшись часа через полтора вполне трезвым, Юлик едва разомкнув глаза, понял что к чему, хотя мы, давно одетые, чинно сидели, разглядывая какой-то альбом, и вежливо осведомился: «Дорогие мои, а достаточно вам было этих (взгляд на часы) ста минут?».

Отношения мои с Анной стали неким подобием романа, длившегося по пять-шесть дней два-три раза в году в течение последних четырех лет до эмиграции. В Москве я с тех пор оставался только у неё. За две недели до моего отъезда Анна приехала на два дня в Питер попрощаться. Больше я никогда её не видел. Однажды только позвонил из Стокгольма, поскольку звонок из Парижа мог подвести её, работавшую «на идеологическом посту», а Стокгольм через Хельсинки почему-то проходил не «с заказом и вызовом», как тогда все иностранные звонки, а шёл прямым набором, будто с соседней улицы.

А на следующий день я позвонил ей еще раз и по телефону прочёл стихи, которые заканчивались так:

В небе чёрном, немирном лунный щит, ханский щит,
Но твой голос просвирни в телефоне звучит.
Не в костюмчике — в летнике ты выходишь на звон,
Анна, Анна Последняя домонгольских времён,
И стоишь одиноко, словно та, на Нерли,
У оконного ока этой зимней земли,
Лишь платок твой в узоре незабытой весны.
...На Крутицком подворье терема зелены.

1980

* * *

Но возвращусь к Полякову. Юлик писал стихи, но только по-английски. Один его приятель, хотел их опубликовать,

предложив пустить стихи Полякова в журнал по рубрике «Поэзия народов СССР». Естественно, из этой авантюры ничего не вышло. Чувство юмора у советских редакционных работников вещь редкостная. Переводил Поляков с английского совсем немного, зато на английский — и стихи, и прозу. Кусочек из блестящего перевода маршаковского «Багажа», сохранённый в памяти Г. Беном, я хочу здесь привести:

A lady sent in the van
A bag, a box, a divan,
A hamper, a sampler, some books
And a wee little doggy named Snooks.
But off the wee doggy ran
As soon as the journey began.
And only on reaching the Don
Was it found that the doggy was gone.
All the luggage was safe in the van:
A bag, a box, a divan,
A hamper, a sampler, some books,
But where was the doggy named Snooks?

(here the station workers capture a large hound and put it in the van.
Upon arrival to her destination the lady discovers this hound instead of her doggy)

The hound gave a terrible growl;
The lady emitted a howl:
«You robbers, you rascals», cried she,
«This isn't my dog, can't you see?»

(she throws her pieces of luggage at the workers; they answer)

«Hush, hush, my dear lady, don't shout
And don't throw your luggage about.
You seem to have put in the van
A bag, a box, a divan,
A hamper, a sampler, some books,
And a wee little doggy named Snooks.
But during the journey, you know,
The smallest of doggies may grow».

Когда Саша Щербаков закончил перевод обеих частей «Алисы» Л. Кэрролла, Юлик познакомил его с зав. кафедрой английской литературы в своём институте Ниной Демуровой, специалисткой по английскому нонсенсу и детским песенкам, которая

обещала при первой же возможности помочь Щербакову опубликовать его, как и она считала, прекрасный перевод. Но когда вдруг такая возможность и вправду появилась (почему-то в Болгарии, хотя и по-русски) то Нина, видимо, пожалела о своём обещании и сама перевела всю «Алису» заново, в рекордный срок, и тоже очень хорошо. Что касается стихов то она включила несколько стихотворений в переводе Маршака, а для остальных привлекла сначала Дину Орловскую, а после смерти Дины юную Ольгу Седакову...

Щербаковский перевод был опубликован позднее. Щербаков переводил и прозу, и стихи сам, поэтому его перевод, по моему мнению, выглядит более цельным. Впрочем, я знаком с людьми, которые отдают безусловное предпочтение переводу Демуровой.

А тогда Юлик, естественно, страшно расстроился — только качал головой, а напившись звонил Саше в Питер и всё извинялся за то, что познакомил его с Ниной. Поляков познакомил меня и с Вознесенскими. Зоя Богуславская, жена Андрея, училась когда-то вместе с Юликом в ВИЯКе. И когда он вышел из лагеря и появился в Москве, Зоя, услышав об этом, первая из всех знакомых прибежала Юлика поздравить. Освобождения неуголовников в 1954 году были событием достаточно редкостным.

* * *

Однажды подхожу я к поляковскому дому, расположенному около какой-то больницы, где работала врачом Юликова мама, и вижу — он огромной фанерной лопатой разгребает снег.

«Привет, а я дворником служу!»(?) Мы пошли к нему в комнату, через огромную кухню, где всегда вокруг гигантского стола, стоявшего в центре, толклось несколько подвыпивших мужиков, и куда выходило пять или шесть дверей. (Это был старый одноэтажный особняк, когда-то превращённый в коммуналку, которую мы именовали «Воронья слободка»). И Юлик рассказал мне следующую историю.

Встал он утром, даже не с перепоя. Бритву включил, и вдруг из бритвы голос его старинного приятеля Аркадия Белинкова, который уже больше года, как сбежал в Америку. И говорит

ему Белинков: «что, мол тебе, Полякову, в Москве делать!». Коротче говоря, прямо из бритвы, звал его Белинков в Штаты. Объяснил и порядок действий. Юля должен был пойти на стоянку такси, и взять не первую, а непременно вторую машину... Поляков так и сделал, сел во вторую машину и поехал, правда, не напрямик в Штаты, а в институт. Почему, не вполне понятно. Может, вспомнил народную мудрость. «Говорила бабка деду...». Сидит Юля в машине, а Белинков и тут не унимается, чёрт знает из какого динамика всё рассказывает ему что-то про Тынянова и Олешу... А шофёр явно ничего не слышит. Ну, Поляков не сильно удивился, решил, что раз бритва работает, как приёмник, то уж в машине... Стало понятно, почему, оказывается, вторую надо было взять!

Доехал благополучно, расплатился, вышел, а голос не унимается. Откуда?! Из кармана, что ли? Побежал Юлик на второй этаж, и прямо в кабинет Нины Демуровой, благо он ее на лестнице встретил и знал, что кабинет свободен. Стал он себя обыскивать по всем лагерным правилам. Нигде ничего! Тогда он разделся, трусы снял, по лагерной привычке резинку прощупал — ничего. А тут уже не только голос самого Белинкова, но и белинковской жены Наташи, вроде бы, из-за двери. Уговаривают его скорее к ним, в США... И вот вышел Поляков из кабинета как был, нагишом, и прислушиваясь, не спеша — вниз по лестнице. Ну а дальше, понятно, скорая помощь, — только в ней и умолкли голоса — больница, диагноз — «белая горячка»...

«Ну вот, и работаю дворником больни...». Его прервал телефонный звонок. Говорил он довольно долго, потом сел за стол и устало сказал: «Вот что такое пролетарское государство: учебник английского для третьего курса Суворовских училищ заказывают больничному дворнику!».

Вскоре, впрочем, Юлик лопату и метлу бросил и окончательно уселся за пишущую машинку. Заказов на учебники и переводы (почти всегда на английский) хватало. Я, кстати, никогда не видел никогда, кто печатал бы с такой скоростью.

Перед самой эмиграцией зашёл я к нему попрощаться, но он, оказалось, переехал, никому в Питере не сообщив нового адреса. Адрес мне через кого-то узнать удалось, поехал я к черту на рога по Москве, но не застав никого, так и уехал.

Самое странное, что с тех дней оборвалось и его общение со всеми в Питере. Именно с тех дней, потому что еще в марте 1973 года он встречался в Москве с приехавшим к нему попрощаться Жорой Беном, улетевшим в эмиграцию всего за две недели до меня! И вот за эти две недели он и адрес переменял и, что называется, «исчез из обращения» с питерскими друзьями и знакомыми... Через какое-то время все питерские решили, что Полякова давно и на свете нет. И вдруг летом 2002 года Г. Усова узнала, что он умер только лет пять тому назад, и что последние пятнадцать, а может и двадцать лет своей жизни, был он женат на переводчице Марии Редькиной. А с ней никто из нас не знаком. Такая вот грустная история.

ПЕРВАЯ КНИГА и,
КАК ДРУЗЬЯ ГОВОРИЛИ, ПОСЛЕДНЯЯ
(1962—1968)

*Андрей Балабуха. «Райслингада». Критик Бритиков и
Стругацкие. Обезьянка. Зоя. Моя первая книга.
«Вредактор» Пагирев. Книжные дела. Эткинда опять травят...*

В начале шестидесятых я стал ходить на заседания «секции научно-популярной и научно фантастической литературы». Сам я ничего такого не писал, только изредка переводил. Были там, кроме Стругацких (один из них жил в Питере, а другой в Москве), и другие очень интересные люди: Геннадий Гор, известный не только фантастикой, и весёлый мистификатор Илья Иосифович Варшавский. Варшавский, по профессии морской инженер, как-то очень рассердился на сына — сын увлекался научной фантастикой и терял время на чтение чуши (так, по крайней мере, казалось отцу). Илья Иосифович полистал сыновние книжки и сказал, что подобную ерунду он и сам может производить пачками. Они заключили пари, и Илья Иосифович поставивший на кон свою «шкиперскую» бородку, выиграл — так появилась книга «Молекулярное кафе». Был тогда Варшавский в возрасте почти пенсионном. Книга эта очень веселая, остроумная, по сути пародийная. Вот ученый из института

экспериментальной истории попадает в первобытное общество: все бы хорошо, но форма одежды — набедренная повязка, а ее, оказывается, надо уметь повязывать... А каковы космические бандюги по именам Пинта Виски и Люпус Эст?

Я глубоко убежден, что пародистом, по крайней мере, в своём первом романе, был и Сергей Александрович Снегов. «Люди как Боги» выглядят явной пародией, лихой пародией на «космооперу». Чего стоит одна змедевушка с Веги, в которую влюбляется герой — все у нее на месте, только хвост мешает. А вот на вопросы, уж не пародия ли это, старик улыбался наподобие сфинкса и быстро переводил разговор на другую тему...

Обращала на себя внимание ироничная, талантливая и очень плодовитая Ольга Ларионова, приходили на секцию симпатичные молодые фантасты, среди которых самым ярким был явно Андрей Балабуха. Мне очень нравились его фантастические лирические миниатюры «Бродяга» и «Туда, где растёт трава».



А. Балабуха с кошкой Басей. 2003 год.

С Балабухой мы сразу очень подружились, нам совершенно не мешала разница не то что в возрасте, в поколениях: мне тогда было тридцать шесть, ему — шестнадцать. Наша дружба длится уже лет тридцать пять (с перерывом на те семнадцать лет, когда мои контакты с кем-либо в СССР могли быть для человека в России опасными). Теперь мы перекидываемся эпиграммами «по емеле».

Ещё ходил на секцию В. Канн — математик, работавший в Школе подводников. Он переводил Роберта Хайнлайна. И вот Канн, делавший для сборника «Эллинский секрет» перевод хайнлайновской новеллы «Зелёные холмы Земли», предложил мне перевести вставные стихи, которые Хайнлайн приписывал герою новеллы, космолётчику, ракетному машинисту Райслингу.

Я сначала перевёл «Башни Марса». А когда дошло дело до песни «Зелёные холмы Земли»⁷⁵, давшей название не только самой новелле о Райслинге, но и всей книге Хайнлайна, эти стихи — те три куплета песни, которые Хайнлайн «цитирует», — мне показались такими близкими, так было невероятно жаль с этими строками расставаться, что я решил продолжить писать за Райслинга. Тем более, что в новелле после «цитаты» говорилось, о чем Райслинг пел, так примерно говорилось: «потом он пел, о жутких джунглях на Венере, о каменистых пустынях Марса, о...», ну и так далее. Я превратил это описание в продолжение песни, написав около пятнадцати куплетов, все время строго следуя тому, что Хайнлайн говорил о Райслинге и его поэзии.

Вот хайнлайновский припев:
Дай, Судьба, нам последнюю посадку,
Там, где все мы родились и росли,
Дай увидеть покров голубых облаков
И зелёные холмы Земли...

Еще Хайнлайн упоминает о нескольких песнях Райслинга, дав им только названия — я все их написал! Так появился цикл «Песни Райслинга». Опубликованы из него только «Башни Марса» и «Зелёные холмы» в «Эллинском секрете». А весь цикл — полумистификация «из рода пиндемонтей» — был впоследствии снабжен «комментариями» А. Балабухи и дурашливой «статьей» А. Щербакова. Так мы это до сих пор и не напечатали... Впро-

⁷⁵ Название — явная переключка с Хемингуэем (The green hills of Africa).

чем, может, это просто такой капустник, и жалеть не стоит?.. Но всё же большую часть этих «песен Райслинга» я вывесил в своём сетевом «Живом Журнале».

Был в секции фантастов критик Бритиков (пародийность звучания тут не по моей вине), ранее занимавшийся Шолоховым. И хотя этот человек, по сути дела, сломал свою карьеру, уйдя в фантастику из весьма престижного «шолоховеденья», некоторые из фантастов почему-то считали (да и я в том числе), что он прислан в секцию для «укрепления идейности». Бритиков впервые появился на обсуждении нового романа Стругацких «Трудно быть богом». Аркадия Стругацкого Бритиков очень насторожил, ему даже показалось, что опубликование романа попало под угрозу.

Но и Аркадий, и я, и все, посчитавшие Бритикова «человеком оттуда», в этот раз полностью ошиблись.

Роман благополучно напечатали, успех у него был невероятный. Похоже, что идеологические стражи отступили на этот раз перед коммерческой выгодой, ее тогда приносили весьма немногие книги. А Бритиков впоследствии стал одним из ближайших друзей Андрея Балабухи. Наше предубеждение против него безусловно объяснялось только тем, что человек до фантастики занимался Шолоховым.

Вскоре вместе с очередной доставкой «тамиздатских» книг я получил письмо из Франкфурта от главного редактора «Граней» Н. Б. Тарасовой с восхищенным и подробным отзывом о романе «Трудно быть богом». Письмо мне передал знакомый моряк, один из тех, кто привозил мне книги из каждого рейса. Очень было обидно, что по соображениям конспирации я никак не мог рассказать об этом авторам... Когда годы спустя, я был у Тарасовой во Франкфурте, мы еще раз заговорили о Стругацких. Я заметил, что хорошо бы издать полностью «Улитку на склоне», а то ведь в «посевском» издании была опубликована только слабая «административная» часть романа, взятая из журнала «Байкал», а самая потрясающая, «лесная», не была напечатана нигде, кроме сборника «Элинский секрет» в шестидесятых годах...

«Посевцы» не знали, как именно перемежаются главы обеих частей, поэтому издать «Улитку» согласно авторскому замыслу не могли. Я же читал полную «Улитку» в авторской рукописи за пару лет до разговора с Тарасовой, так что с огромным удоволь-

ствием расставил куски для нового издания приблизительно так, как они были у авторов.

* * *

К нам в Питер году в 65-ом приехала поступать в Библиотечный Институт Машка, дочка моей двоюродной сестры Иры, той, что когда-то меня нянчила. Машка была похожа на маленькую вертлявую обезьянку и ничем не напоминала ни свою мать, ни тем более свою бабушку, мою тетку Муру. Какой-то чёрт меня подзуживал посягнуть на эту девятнадцатилетнюю зверюшку, внучку той моей тётки, с которой я в четырнадцать лет... и к которой всегда относился с большой нежностью...

В двухкомнатной квартире при двух дочках места было немного, и поначалу мы поставили машкину раскладушку в нашей с Галей «большой» комнате. Потом мы перевели ее к девчонкам.

На второе утро после машкиного приезда Галя ушла в свою школу, а Машка проснулась и попросила «что-нибудь рассказать, а то сны скучные надоели». Она перелезла ко мне на тахту и села с краю. Ну, как тут было не полезть к девчонке, которая в одной ночной рубашке сидит у меня на постели? Естественно, оказалось, что я у неё первый... Потом она мне на ухо сказала, что, оказывается, этого-то ей и не хватает, и сны ей снятся вовсе не скучные, а именно «такие».

Изредка по утрам рано-рано, пока дочки спали, а Гали уже не было дома, Машка приходила ко мне на цыпочках. Иногда она отводила девочек в детсад, возвращалась, и — шмыг ко мне под одеяло. Занятия у неё в институте часто начинались в одиннадцать, и мы с утра успевали чуток позабавиться.

Вскоре она завела себе в институте ещё любовника, сирийского студента, арабского поэта и армянина по происхождению. Звали его Ильяс Хадая. Я перевёл с подстрочников, сделанных им самим, несколько его стихотворений, одно из них удалось и напечатать. Ильяс часто у нас бывал, а когда собирались машкины однокурсники, то Ильяс, прекрасно говоривший по-русски, был душой всей компании, которая нам, тридцатипятилетним, тоже была вполне интересна.

Вскоре Машка завела себе ещё одного любовника, нашего Костю Кузьминского. С ним она шаталась по городу и по гостям, по домам бесчисленных костиных друзей. Машка называла себя «адъютантом рыжего чërта», а Костя её — бесёнком.

Они вдвоем гляделись очень забавно. Он длинный, рыжебородый. Она маленькая, худая. Ну в общем «девка-чернавка». Костя, как правило, заготовливал запас остроумия и поведенческих трюков, а потом «прокручивал» всё это несколько раз в разных компаниях. Программа остроумия и эпатажей сменялась примерно раз в три дня. Машка ассистировала, как в цирке, реплики подавала.

Все мы знали, что наша малышка успевает со всеми троими, но никого из нас такая ситуация не смущала, только вот Кузьминский порой при целой компании у Машки спрашивал, для скольких мужиков у неё «ещё есть открытые валентности». Машка хохотала, отвечая, что «ему она всё равно паёк не уменьшит». Так и продолжалось, пока она не уехала к себе в Ростов после окончания института.



Машка.

Иногда у нас бывала журналистка из газетки города Пушкина Зоя Афанасьева. Она писала стихи, подписывая их монограммой «Аз». Некоторые из них были посвящены мне... Когда я уехал, она стала посылать мне разные стихи в Париж. Она заполняла стихами открытки с матрёшками, медвежатами и прочей мутью. Стихи на оборотах открыток были написаны мелко и обязательно в строку. Одно стихотворение от другого отделялось тоненькой вертикальной черточкой. И все эти писульки спокойно доходили.

Часть из них я напечатал в «Континенте» двумя подборками. Часть — в журнале «Стрелец», который в течение ровно пяти лет издавал авантюрист и жулик Александр Глезер.

Тбилисец, он был одноклассником будущего калифа на час, грузинского президента Звиада Гамсахурдии, они в юности, по выражению Владимира Максимова, «вместе клёшами тбилисские мостовые подметали».

Глезер — создатель «Русского музея в изгнании» (в Монжероне под Парижем), очень плохой поэт и очень хороший организатор, да и энергии было в нём немерено. Как говорил тот же Володя Максимов, «этот паровоз так и прёт, только успевай перед ним рельсы подкладывать». Стихи он писал тоннами. Но запомнилось только, как он «в Москву на белом танке» собирается въехать.

Картины он у художников добывал не мытьём, так катаньем: выпрашивал, зажимал, получал в подарок или даже покупал. Впрочем, не всегда слово «покупал» соответствовало своему смыслу: как-то купил он несколько картин у Валентины Шапиро и тут же чек выписал на сумму тогда немалую — 35 тысяч франков. Чек оказался недействительным, Валя осталась без денег, а Глезер как-то выкрутился. Когда его упрекали, он отвечал, что он «таки да, жулик, но не для себя же, а в пользу музея...» Чего-то я о Глезере не знал, а честнее будет сказать, не хотел знать, не интересовался... К примеру, относительно недавно, лет 10 назад, мне показали в каком-то номере «РМ» статью Глезера начала восьмидесятых годов, которая объективно является доносом. Речь в ней идет о советских инженерах, приехавших в командировку во Францию. Они попросили у приставленной к

ним переводчицы, чтобы та достала им почитать Солженицына. Глезер, называя этих инженеров по имени, пускается в привычные рассуждения о том, что они наверняка «агенты и провокаторы». Можно только надеяться, что в ГБ не следили так уж пристально за содержанием «Русской мысли».

Так и получилось, что в те времена я довольно много сотрудничал с журналом «Стрелец»: в основном отбирал стихи в номер, по просьбе Глезера. Я не задумывался о его моральных качествах — люди делились тогда в основном на тех, кто с нами и тех, кто против нас. И когда ни в «Континенте» ни в «Гранях» не было места, я всегда мог опубликовать полученные из СССР стихи в «Стрельце».

* * *

А теперь вернусь лет на тридцать с хвостом назад, в 1965 год, и расскажу о том, как в Питере вышла моя первая книга. Она, в основном, состоит из плохих стихов. Но эти и без того плохие стихи были ещё ухудшены моим издательским редактором, «поэтом» Глебом Пагиревым. Пагирев был добрый человек, фронтовик, очень порядочный, фантастически бездарный, очень серьёзный, безграмотный. Он не только выкинул из книжки всё с его точки зрения сомнительное, но даже дописал за меня несколько строф! Такое и в те годы бывало нечасто. Эти «новые» строфы Пагирев вставил в некоторые мои стихи уже в последней корректуре, и я, получив авторские экземпляры, увидел с ужасом, что «Великая интербригада» сражается против войны» и некоторые другие перлы. Услужливый медведь, и верно, оказался «опаснее врага». А ведь сделал это Пагирев из самых лучших побуждений, только, чтобы моя книжка наверняка прошла.

И состав книги достаточно безобразный: по выражению Пагирева, он взял в книгу «Хорошие старые стихи». Таким образом, ничего новее стишат пятилетней давности в этот сборник не вошло, а значит, из всего, что у меня было к тому времени действительно стоящего не вошло почти ни строчки⁷⁶.

⁷⁶ Потом всё неизданное я включил в толстую книжку «Замыкание времени» изданную вскоре после моего приезда в Париж издательством «Имка-пресс», которое часто ставило свою вторую марку «Les Editeurs réunis»

Когда я рассказал о редакции Пагирева Наташе Грудининой, она только сказала: «Ну, он же комбат!» Но самое забавное, что действительные «фиги в кармане» «комбат» не заметил, и в результате, через две недели после выхода, несмотря на все старания Пагирева, эту плохую книгу объявили нежелательной, включили в «индекс» и изъяли из библиотек. Но не из продажи, поскольку за две недели все десять тысяч уже успели разойтись.

Так что запрещали иногда и плохие книги тоже...

Выкидывая несчётные деньги на издание «очень своевременных» и никем не читаемых книг, власти по закону больших чисел издавали и то, что не работало на пропаганду, а порой, по недосмотру, даже то, что объективно работало против. Таким образом, кормежка всего «политически нужного» сопровождалась кормежкой и нейтрального, а иногда даже и «сомнительного». Этот «балласт», существовавший вне пропаганды, оплачивался по тем же ставкам, что и пропаганда. Так вот и жила рядом с пропагандой литература. И хорошая, и плохая. Большая часть издаваемых книг прибыли не приносила. Но плановому хозяйству это ведь неважно! Моя книга — отличный тому пример.

Она стоила в магазине 17 копеек, стандартный тираж тех времен — 10 тысяч экземпляров. Таким образом, государство получило от продажи 1700 рублей. Но ведь один только мой гонорар (оплата построчная!) составлял две с чем-то тысячи рублей, то есть превышал на три сотни весь доход от продажи! А стоимость бумаги, печати, транспорта, а зарплата «вредатора» Пагирева и всех корректоров, печатников, продавцов? Всё это — чистый убыток, который никакая прибыль от «Королевы Марго» не перекрывала!

Вот так, оплачивая пропаганду, «они» попутно содержали всю литературу, и хорошую, и плохую, всё, что пропустила цензура! Логики и последовательности у советской власти зачастую бывало немного. Несмотря на то, что мою книжку быстро запретили, ее выход оказался для меня чрезвычайно полезен: за

(«Объединённые издатели»), когда дело касалось не религиозно-философской, а художественной литературы. Это, строго говоря, и есть моя настоящая первая книга. То же самое — издание избранного вместо первой книжки — случилось и с Н. Коржавиным и, позднее, с Ю. Кублановским.

неё, а не за участие в двух десятках переводных книг, меня приняли в Союз Писателей (истинно, одна рука не ведаёт, что творит другая!). А это означало защищённость от любых бедствий, связанных с отсутствием постоянного места работы. Членство в «творческом» союзе давало право нигде не служить.

Мои немалые заработки, то есть гонорары за переводы и выступления, уже давно, вроде как, служили довольно надёжной защитой, но всё же, поди знай, что взбредёт в башку какому-нибудь воеводину, или другому подонку и графоману, вроде тех, которые задумали и раздули дело Бродского, да и ещё несколько мелких «дел» того же типа!

Ну а кроме того, за выступления мне стали платить не восемь, а пятнадцать рублей, и это тоже было не лишним. Выступлений бывало пять-шесть в месяц, и они составляли для меня, как и для многих других писателей, немалую часть ежемесячного дохода — не каждый же месяц и даже не каждый год выходят книжки!

Занятное тогда было время — плохие книги, если только в них был хотя бы намек на «фигу в кармане» расходились со скоростью света. На поэтические выступления ходили, как на футбол, при этом качество особой роли не играло. Впрочем, это естественная плата за массовость. Множество раз уже было сказано, что поэтические вечера выполняли роль политических собраний.

В то же время, отношение к литературе 30-х—50-х годов у большинства шестидесятников было очень несправедливым. Вместе с водой они выплёскивали и ребёнка, отрицая всё, написанное в рамках *советской* поэзии, нарисованное в рамках *советской* академии... Впрочем, это ведь только теперь видно, что в самые гнусные времена иногда появлялись пропагандные и порой даже подлые произведения, выполненные с высоким мастерством. К примеру, напряженность классической баллады Киплинга отразилась не только в лучшем (до 1938 года) Н. Тихонове (а и ещё в стихах десятков советских поэтов), но рикошетом — даже в проклятом и по определению бездарном жанре так называемой «массовой песни».

Вот, к примеру, только одна строфа из такой бессовестно пропагандной песни, строфа, которой, я думаю, и классическая баллада начала XX века не постыдилась бы — так крепко, энергично да и эвфонически-напряжённо она написана:

...Мчались танки, ветер подымая,
Налетала грозная броня,
И валились наземь самураи
Под напором стали и огня...

Если отвлечься от шапкозакидательской идеологии и посмотреть на эту строфу в чисто стиховом контексте, то ведь какие краткость и резкость, заимствованные из баллад, с каким мастерством это выполнено. Сорок лет назад было трудно заметить совершенство этих строчек... А когда сегодня глядишь на собственную книжную полку и видишь тоненькие сборники по сути дела очень посредственных стихов, сборнички, которые тогда за один день исчезали из Дома Книги, делается грустно. Всё изменилось. Тиражи поэтических сборников уменьшились в 20 раз, и их все равно не раскупают. Цензуры нет, но и простой редакторы тоже нет, так что планка, относящаяся к элементарной грамотности, резко снизилась за последние годы. А чепухи, только что не идеологической, а просто пошлой на книжном рынке никак не меньше. Впрочем, наверно, все естественно, и не надо уподобляться Николаю Алексеевичу Некрасову, который наивно мечтал о том, как мужик понесет с базара Белинского и Гоголя. А несёт читатель ремесленные детективы и дурацкую фантази...

Ну а вместо тогдашней «фиги в кармане» появился «стёб». То есть, на смену «соцреализму» лезет «соц-арт» — «стёбовая вариация» того самого соцреализма. А на самом деле это — всё тот же самый замечательно описанный у Синявского в статье о соцреализме классицизм.

И ещё бесконечная игра цитатами. Своё лень придумывать, сшивают лоскутные одеяла, называемые «произведениями постмодернизма»... Это и Кибиров, и полотна Комара с Меламидом, и эклектичность новейшей архитектуры, «цитирующей» кусочками то классицизм, то «прекрасную эпоху», то конструктивизм... Лишь бы винегрет из цитат, цитат, цитат...

Большой прелестью моей жизни в 60-х были разнообразные поездки по стране за казенный счет. Я, немного правда, но все же переводил с подстрочников грузин, армян, азербайджанцев. Началось все с того, что мои переводы из азербайджанского поэта начала XX века Микаэла Мушфика, заняли второе место на конкурсе, на который я полез просто из любви к конкурсам.

А поскольку первое место вообще никому не присудили, то в результате я стал получать приглашения от местных союзов писателей, побывал и в Азербайджане, и в Армении, много бывал в Грузии. От этих поездок остались удачные, по-моему, собственные (а вовсе не переводные) стихи.

Бахтияр Вагаб-заде, профессор Бакинского университета и поэт, которого я немного переводил для «Звезды», объяснял мне, что в СССР живут грамотные азербайджанцы, и что их шесть миллионов. Я сначала не понял, к чему он это говорит. Тогда Бахтияр прояснил — оказывается, «под шахом ещё примерно двенадцать миллионов, но там почти все и читать-то не умеют». Так что, по его мнению, Азербайджан смог бы отлично жить, если бы иранский присоединить к советскому. И тогда можно стать, естественно, отдельной страной, к тому же с нефтью... «Ну кто мы тут, в СССР? А тогда мы здешние и составили бы из себя всю верхушку, ну а шахские, они все стали бы низким классом...» Первый раз слышал я такой странный националистический и вместе с тем кастовый бред...

Кстати, когда алиевский Азербайджан отделился от СССР, то националисты жгли книги Бахтияра на площади. Не знаю уж, почему. Короче говоря, грамотность соотечественников не помогла этому европейски образованному интеллигенту поэту и профессору...

* * *

В Баку есть кабачок на поплавке. Хорошее белое вино. Огромные куски жареной в сухариках осетрины... Мы там сидели вдвоём с молодым бакинским поэтом Ага Лачанлы. Он — природный курд, пишущий на двух языках — азербайджанском и курдском — шутил, что «один только Саят Нова на трех языках писал, ну а я скромнее». Через год я написал «Бакинскую бухту» ему посвящённую — вот начало этого стихотворения:

Тут бродячих собак под навесом полно,
И морская вода попадает в вино,
На дюралевых ножках, как на сваях, столы,
И читает стихи мне Ага Лачанлы.

И звучит надо мной ритм газели двойной,
И я слышу, что он в самом деле двойной,
А его повторяют каспийский прибой,
И закат, оттенённый персидскою хной.
И неправдо-подобно-восточной стеной
Дворец ширваншахов торчит за спиной...
И две последние строчки:
Гейне в горы грозился, ну а я уж сбегу
Под изодранный тент на морском берегу.

В отличие от Есенина, сочинившего свою «Персию» тут же в Баку, я и не думаю про «дальше», мне и здесь очень хорошо. Пока — на хрен дополнительная экзотика...

Одна из моих самых славных поездок связана со Шеко Гасаном и Микаэле Рашидом. Я уже рассказывал об этих курдских поэтах. Шеко жил в Тбилиси, а мой однокурсник Миша — в Ереване. И вот по приглашению армянского союза писателей я впервые поехал в Ереван — остановился у Миши. Однажды вечером к Мише пришли гости — первый секретарь райкома Апаранского района Армении и какой-то тамошний исполкомовский деятель. А надо сказать, что Апаранский район практически целиком населен курдами, а у курдов родовые связи очень сильны. Поэтому то, что Миша знаком с курдскими партийными деятелями, не было так уж странно — они прежде всего курды, а уж потом деятели. В Ереване мишины гости были проездом, назавтра собирались обратно к себе и пригласили нас с Мишей поехать с ними. Меня несколько насторожило подобное предложение, но Миша сказал, что я не пожалею. И действительно не пожалел.

Апаранский район — это самые высокие в Армении горы, в частности бывший вулкан Алагяз (по армянски — Арагац). Там знаменитая обсерватория. В обсерваторию мы к вечеру и приехали, заночевали и даже стихи там читали. А по дороге мы заезжали в курдские деревни, где нас одаривали то барашком, то поросенком. Ехали мы на двух машинах, а за нами ехал небольшой крытый пикапчик, куда дары и складывали.

Миша по дороге мне рассказал, что секретарь райкома, на самом деле, шейх, а исполкомовец — пир. Шейх у курдов-огнепоклонников (т. н. езиди) — это кто-то вроде верховного жреца, а пир попросту означает князь. Так что князь и жрец собирали

дальше... Вероятно, повсюду на Востоке так советская власть и выглядела.

Только мы с Мишей вернулись в Ереван, как позвонил Шеко. Он сказал нам, что его двоюродная сестра выходит замуж, большая компания собирается на свадьбу, и мы, если хотим, можем присоединиться. Положив трубку, Миша сообщил, что двоюродная сестра Шеко живет в Турции.

Я поразился — мне и в голову не приходило, что можно так вот запросто попасть хоть и в Турцию, а все-таки за границу. Оказалось, что курды, живущие в Грузии, связаны тесными родственными связями с курдами, живущими у границы в соседней Турции, и есть негласный уговор, по которому грузинских курдов пускают к ним в гости и наоборот.

Короче, отправились мы с Мишей в Тбилиси, а оттуда большой толпой на автобусе в пограничное село. Меня только предупредили, чтоб не вздумал оставаться в Турции, а то у всех будут большие неприятности. Ну и еще меня приодели. Народ, идущий на свадьбу, был одет по-разному: были люди, у которых на голову было намотано что-то вроде тощей чалмы с висящим концом, были и просто в пиджаках с открытой головой. Я приехал в свитере, да и весь мой вид был больно не местный. Решили меня немного замаскировать — надели какой-то пиджачок и голову лиловым замотали.

Подошли к границе — вполне нестрашный пограничник спросил, кто ответственный за группу, пересчитал нас по головам, записал, сколько нас и фамилию ответственного из его паспорта выписал, предупредил, чтоб никто не вздумал остаться... и пропустил.

С турецкой стороны на нас и вовсе не обратили никакого внимания. Мы прошли пешком несколько километров и оказались в деревне, страшно похожей на ту, из которой мы отправились с другой стороны границы.

Свадьба была отличная, был оркестрик, в котором брат Шеко, по профессии автомеханик, играл на барабане. Замечательно играл, пока не напился и не упал под стол. А как же без барабанщика?

Я чувствовал себя во всей этой компании преотлично и решил вспомнить, как я подрабатывал в студенческие времена. Так что схватил барабан и включился.

А потом были шашлыки. Мне, как гостю издалека и как музыканту, шашлык торжественно поднесла мать невесты. Я несколько удивился — мой шашлык был меньше остальных и какой-то невзрачный. Два небольших кусочка мяса и помидоры посредине. Но только я откусил, как понял, что лучшего шашлыка никогда в жизни не едал. Быстро с ним расправившись, я спросил у Миши, сидевшего рядом со мной, удобно ли будет попросить еще такой шашлык. На это Миша ответил: «Удобно или неудобно, но у барана всего два яйца».⁷⁷

* * *

В 68 году произошло очень неприятное событие: ступились тучи над Ефимом Григорьевичем Эткиндо́м. Доцент Выходцев (всё-таки фамилия, хоть и не из пьесы Островского, но вполне «значащая», почти как Выбегалло у Стругацких) очень хотел стать главным редактором престижного издания «Библиотека поэта», для этого ему надо было скинуть с этой должности известного специалиста по Блоку В. Н. Орлова. И вот Выходцев, тот самый, что когда-то в бытность аспирантом кричал, что стихи Гали Цениной «ещё хуже ахматовских», отыскал крамолу в двухтомнике «Мастера русского стихотворного перевода», составленном Эткиндо́м и вышедшем в «Библиотеке поэта». В предисловии к этому сборнику была фраза о том, что современные русские поэты, не имея возможности выразить себя полностью в собственных стихах, разговаривают с читателем переведёнными стихами западных классиков⁷⁸.

Эта фраза послужила началом «первому делу Эткинда» или, как называл это сам Е. Г. «делу о фразе»⁷⁹. Тут же накинулись и

⁷⁷ К сожалению о моих поездках в Армению, и особенно в Грузию надо уж если писать, то отдельную книгу. В эти мемуары они просто не вмещаются...

⁷⁸ Страница с этим текстом была удалена из готового тиража и заменена другой, очищенной от «крамолы», и уже в таком виде книга попала в магазины.

⁷⁹ Не знал тогда никто в СССР, что это положение «с уходом лучших русских поэтов в перевод» заметил ещё в 1945 году сэр Исайя Берлин, тогда ещё и не «сэр», а скромный сотрудник Британского посольства в Москве. Но доклад И. Берлина, где этой теме посвящена целая страница, открыто у нас опубликован только в 2003 году! (журн. «Звезда» № 7).

на неопубликованную фундаментальную работу Е. Г. «Материя стиха», накинудись те же самые люди, которые незадолго до того эту рукопись восторженно хвалили.

Я сообщил об этой истории Шаховской в Париж для передачи Арагонам⁸⁰. Шаховская быстро ответила: «Вечно Вы, Вася, заставляете меня контактировать с неприятными мне людьми...

Всё сделала. З. Ш. Отчасти благодаря вмешательству Луи Арагона, (влиятельного члена ЦК ФКП) историю эту и спустили на тормозах, а Выходцев остался с носом. Впрочем, про Эткинда никто так хорошо не написал, как он сам.

Но тут я должен воспользоваться моментом, и рассказать чуть подробнее о том, как работала хотя бы одна из важнейших «цепочек» моей связи с Западом вообще и с русскими эмигрантами в частности. Естественно, что «сверхсрочный канал» этот, как и пару других подобных, можно было использовать лишь в крайних случаях. Во всех остальных работали оказии. Пусть не быстро, но достаточно надёжно.

А эта «срочная связь» мной была задействована только в трех случаях: первый раз — в связи с только что описанной атакой властей на Е. Г. Эткинда, второй — в связи с «делом Бродского», а третий — связан уже с моей собственной эмиграцией.

Я довольно подробно следил за развитием событий, когда Иосифа Бродского обкладывали наподобие медведя: дело было в том, что мне легко удавалось разговорить поэта Льва Куклина, который был хвастлив настолько же, насколько завистлив. А он как раз в это время как бы состоял в «помощниках» у секретаря так называемой «Комиссии по работе с молодыми авторами»⁸¹ уже упоминавшегося тут мерзавца Е. Воеводина. Все полученные от Куклина сведения я тут же передавал Ефиму Григорьевичу, который по сути дела координировал вместе с Натальей Грудниной все меры по защите Бродского. Но главное — нечто вроде подробных репортажей (от имени, то есть с обратным адресом на конверте одной общей нашей питерской приятельницы) я — весьма нечасто! — отправлял простой почтой в Москву

А если бы знали, Эткинду пришлось бы куда хуже!

⁸⁰ Луи Арагон, замечательный французский поэт, один из основателей сюрреализма, был женат на Эльзе Юрьевне Триоле — родной сестре Лили Юрьевны Брик, подруги В. Маяковского.

⁸¹ Её прозвали в Питере: «Комиссия по борьбе с молодыми авторами».

соседке Юлика Полякова. А он, в силу своего блистательного английского, имел хороших знакомых в Британском консульстве. Таким образом в самые краткие сроки материал попадал на Би-Би-Си прямо в руки знаменитому тогда Анатолию Максимовичу Гольдбергу. Он использовал мои материалы в своих передачах, да ещё и отправлял копии во Франкфурт, в редакцию «Посева», откуда всё это могли получать американские и немецкие журналы, и в «Русскую мысль» Шаховской, которая снабжала подробностями журналистов французских и бельгийских. Как говорится — «далее везде».

ПИТЕР, ПИЦУНДА, И ДАЛЕЕ...

(1964—1970)

*Мой кружок в библиотеке. Заведующая «Невской библиотекой»
Валя Тропинина. Альпинист Замятнин.
Поколение «тайной свободы». Забытые.
Феминистки понаслышке. Пицунда и Гамсахурдиа. Как я за день
приехал в Коктебель. Странная дама*

Как-то в середине шестидесятых мне в так называемом «Бюро пропаганды художественной литературы», ведавшем выступлениями, вручили путёвку на выступление в библиотеке Невского района. Причём, администратор сказала, что мне хотят предложить вести там литературное объединение (так официально назывались кружки, куда ходили начинающие писатели и поэты).

Собралось человек тридцать. Я почитал стихи и поотвечал на вопросы, после чего заведующая библиотекой Валя Тропинина увела меня в свой кабинет, и мы стали разговаривать о том, как собрать кружок. Валя сидела на диване напротив меня, и я довольно внимательно её разглядывал. Она была высоченная, гораздо выше меня, с тонкой талией и очень широкими бёдрами. Платья тогда носили «мини», так что я упирался взглядом в её внушительные колени. Как-то потом Валя в шутку сказала, что носит кофточки сорок шестого размера, а юбки —

пятьдесят второго. И было это очень красиво! Почти как при дворе Екатерины Второй!

А в нашу первую встречу, в самом начале разговора она сказала, что как-то раз слышала какое-то мое выступление и решила добиться, чтобы я вел кружок в её библиотеке. Ну, я понял, что не миновать... Да, я и не хотел «миновать». Короче говоря, я поехал её провожать. Она жила на Фонтанке против Цирка, и мне от нее к себе на Выборгскую оставалось полдороги. Мы поднялись по лестнице, и она показала на табличку у двери. Там значилось «В. Тропининой — 3 зв.». Я тут же решил, что табличку эту она мне многозначительно показала, чтобы дать понять, что живёт одна и свободна.

В следующий раз мы увиделись на моем первом занятии с молодыми поэтами (прозу писала только одна девочка из девяти человек). Я опять проводил Валю до дому и, когда мы подошли к двери, попросился зайти. Коммуналка была небольшая, кроме Вали жило там ещё две семьи.

Мы сели пить чай. Когда я взял её за руку, она спросила, не пугает ли меня её рост и то, что она на три года старше. Я в ответ притянул её к себе...

...Валя всем своим поведением так напоминала Лиду, мою покойную тётку и подругу, что порой даже грустно становилось.

Мы привязались друг к другу, и для всех знакомых, да и в Доме писателей, года с 1967 и почти до самой моей эмиграции в 1973 Валя считалась, по формуле Т. Г. Гнедич, моей «официальной, и неоспоримой фавориткой». Валя писала рассказы под псевдонимом Виктория Ленёва и ходила в «Объединение прозаиков» при Доме писателей, которым руководил замечательный фольклорист Владимир Бахтин. А псевдоним такой она выбрала, потому что лень раньше её родилась.

Между тем, мой кружок в библиотеке обрастал новыми ребятами.

Ходил ко мне Коля Вольнский, не писавший ни стихов ни прозы, но обладавший безупречным вкусом. Коля работал в Университетской газете литсотрудником, а в кружке он, по его собственному выражению, «канал за присяжного критика». А вот после перестройки оказался отчего-то в одной компании с дубовыми ретроградами-коммунистами...

Иногда приходил в кружок Витя Кривулин. Он ходил как минимум в три объединения и, естественно, бывал в каждом нерегулярно. Стихи у него как раз в это время становились всё интересней и интересней, а если что мешало, то это его страсть к систематизации. Всех ему хотелось непременно рассовать по соответствующим полочкам: тот — символист, этот — футурист, такой-то реалист. Кстати, это Кривулин и прозвал своих ровесников (поэтов, родившихся сразу после войны) «поколением тайной свободы», взяв само выражение «тайная свобода» из последнего стихотворения Блока. Несколько позже, уже в начале семидесятых, Кривулин написал большое стихотворение «Пью вино архаизмов» которое, по-моему так и осталось самым лучшим, что он оставил после себя:

«Дух культуры подпольной — как раннеапостольский свет»...

Регулярно бывал у меня другой Виктор — Ширали. В стихах он употреблял самые обычные слова, часто нарочито банальные, да и обороты у него были вполне классические, но стихи его, даже прочитанные шепотом, держались на страстной интонации. Ширали, чуть ли не единственному среди своих ровесников, удалось выпустить книжку в советском издательстве. Вторая его книжка, вышедшая уже в перестроечные времена, много бледнее первой. А в то время он прихрамывал как Байрон, был для девочек человеком-театром и отлавливал их с высоким мастерством и рекордной скоростью на углу Невского и Литейного около «Сайгона», в котором торчали целыми днями начинающие поэты, полупоэты, студенты и, наверно, стукачи тоже. Неначинающие литераторы там тоже бывали, и особо доверенным лицам там варили тройной кофе — напиток, от которого у непривычных начиналось сердцебиение.

...Однако же, куда спешил от так?
На уголке, знакомом всем пижонам,
Ну там, где был когда-то «Главтабак»,
Кафе с названием неопределённым
В те дни ещё скрипело кое-как,
Звалось то «Подмосковьем»⁸², то «Сайгоном»,
То «Петухами»: кафели стены
Там были петьками испещрены.

⁸² Верхние этажи этого дома занимал тогда ресторан «Москва».

Нет, «Петухи» — не в ранге ресторана,
И вывески с названием не найдёшь,
Но там с утра до ночи, как бараны
Полустуденческая молодёжь,
Фарцовщики, доценты, графоманы,
И те, кого никак не назовёшь,
Воспринимали, как судьбы подарок
Продукцию венгерских кофеварок.

.....
Тут вам, конечно, встретится Кривулин,
И ждущий, кто заплатит, Топоров,
И старый Дар на колченогом стуле,
И Ширали в компании двух коров,
Порой — стукач Куклин на карауле
(Свисток в кармане, говорят, готов),
Порой заходит Свяцкий с гостем польским,
И Гнедич Т. со мной и с Антокольским...

Это цитата всё из той же, из начатой когда-то в шестидесятых, но, естественно, заброшенной поэмы-дневника. Такие вещи никто не заканчивает, только одни бросают, как Байрон, после двадцати тысяч строк, а другие, как я, после неполных двух сотен...

Еще приходил в кружок Лёня Замятнин, по образованию инженер, а по любви поэт и альпинист. Во время камнепада ему камнем пробило голову, и иногда он надолго исчезал из-за сильных головных болей.

С Лёней мы потом встретились в Париже в середине 90-х годов. Он сам рассказал подробно о своих путешествиях в заметках, опубликованных, кажется, в «Неве», но мне тоже хочется тут немного об этом поговорить. Уж очень необычным человеком был Лёня. Альпинизм был безусловно основой его жизни. Каждый год лето он проводил в каком-нибудь альплагере, работая инструктором. На Кавказе Лёня познакомился с несколькими английскими альпинистами, которых водил на восхождения. И вот во время перестройки, когда открылись границы, один из англичан пригласил Лёню к себе. Естественно, денег на билет у Лёни не было, фактически была у него пенсия по инвалидности из-за пробитой головы, гроши, которые он иногда получал за публикации, да летом зарплата горного инструктора.

Он, кстати, написал очень подробную книжку об истории советского альпинизма.

Отсутствие денег Лёню не устрало — он решил отправиться в Англию автостопом. По дороге остановился в Польше у знакомых по горам, там немножко подзаработал, кажется, ремонтируя варшавские квартиры. Отправился дальше. Как Лёня раздобыл необходимые визы для своего первого путешествия, я не знаю, — вероятно, по альпинистским же каналам. Так или иначе, добрался он до Лондона, пожил с месяц у своего приятеля и захотелось ему в Шотландию — в горы. Лондонский альпинист тут же созвонился со знакомыми в Эдинбурге, и ребята организовали весеннее восхождение на какую-то шотландскую горку. Тем временем, новые лёнины знакомые, альпинисты из Эдинбурга, вспомнили, что их дочка познакомилась летом с дочкой живущего в Париже чилийского архитектора. Познакомились девчонки в скаутском горном лагере. Было решено, что такое знакомство вполне обеспечивает Лёне приезд в Париж. Правда, телефона чилийца у шотландцев не оказалось, но адрес был, так что не беда — как в старые добрые времена отправили Лёню с рекомендательным письмом.

Добравшись до Парижа, Лёня поутру постучался в дверь к совершенно незнакомым людям. Надо заметить, что ни французским, ни тем более испанским Лёня не владел, у него был весьма средненький английский, и всё тут. Но Лёню с его письмом впустили и даже не сильно удивились. А в довершение всего чилиец оказался коммунистом, так что политические споры сопровождали лёнино парижское житье. Что, кстати, совершенно не помешало этим наверняка славным людям на следующий год прислать Лёне приглашение, необходимое для получения визы.

Мне Лёня позвонил уже под конец своего парижского житья, устав от музеев. Он прожил у нас последние несколько дней, мы гуляли по лесу с нашей ньюфкой Ньюшей и болтали о том о сем. В частности он сказал тогда, что жизнь его переломилась после того, как ему в руки попало несколько стихотворений Цветаевой. До этого он собственно никаких стихов и не читал — не нужно ему было.

От нас Лёня уехал в городок Шамони, чтобы оттуда взобраться на Монблан, там его ждали очередные альпинистские

знакомые знакомых. В следующий раз он объявился в Париже года через полтора. Опять вначале жил у чилийца, а потом у нас. На этот раз он приехал в Париж непосредственно после восхождения на Монблан. Оказалось, что в предыдущий приезд взобраться на Монблан не удалось, не помню уж почему. Так что на этот раз Лёня с Монблана начал. И уже после этого отправился автостопом в Париж.

Дело было осенью, рано темнело, автостоп в такое время не подарок. И вот стоял Лёня в темноте под дождем на дороге в Бургундии и голосовал. Наконец остановилась машина и из нее послышалось: «Ну, садись что ли, бя! Чего стоишь?». Первая возникшая у Лёни мысль была о том, что он допрыгался и у него начались галлюцинации, скажем, от голода — из-за полного отсутствия денег Лёня последние пару дней питался грецкими орехами с деревьев. Но фраза повторилась, причем тон произносившего стал более нетерпеливым. Так что Лёне ничего не оставалось, кроме как залезть в машину. Ну, а первый вопрос водителя был: «Воруешь?». Новый знакомец оказался по профессии международным вором, правда, довольно зачуханным. Он все время жаловался на несправедливость, на то, что его затирают более преуспевшие коллеги.

Лёня узнал, что международных воров в наши бюрократические времена поджидают разнообразные неприятности, и одна из самых страшных — это «попасть в компьютер». После такого перестают давать визы. С лениным знакомцем именно это недавно произошло — он засыпался в Италии и сел в итальянскую тюрьму. В тюрьме как раз ничего страшного не было, но итальянцы сначала занесли его в компьютер, а потом выставили в Словению, поскольку в Италию он попал именно оттуда. И пришлось ему ехать дальше, минуя Италию, что было совсем неудобно.

Неудачливый вор подобрал Лёню на своем пути из Женевы в Париж. Женеву он посещал по делу — украл там в магазине несколько костюмов. Вор сразу пообещал Лёне отвезти его, куда тому нужно, только сказал, что надо сначала быстренько заскочить в аэропорт. В аэропорту на стоянке стояла машина, которую щедрый вор тут же предложил своему новому другу. Лёня отказался, объяснив, что он не только прав не имеет, но и во-

дить не умеет. Тогда вор со вздохом перегрузил костюмы из одной машины в другую, после чего отвез Лёню к чилийцам.

Вообще же на этот раз Лёня приехал в Европу с тем, чтобы подготовить свое следующее путешествие. Оно должно было стать кругосветным. Вокруг света автостопом! Начать он собирался с Сибири, оттуда добраться до Аляски, потом в Калифорнию, ну и так далее... Он очень беспокоился из-за прохождения тундры — необходимо было успеть проехать ее зимой, пока есть наст. Лёня очень торопился — за полгода до этой нашей встречи наш общий приятель, хирург и детский писатель Семенов-Спасский, прооперировал ему меланому на ноге. Лёня очень хотел успеть.

А поездка в Европу была ему необходима для того, чтобы обзавестись нужным оборудованием (палаткой, хорошими ботинками), да и заручиться хоть какой-нибудь материальной поддержкой. Друзья-альпинисты свели Лёню с фирмами, выпускающими туристское оборудование и со спортивными журналами. В каком-то журнале он рекламировал ботинки, за что получил пару в подарок, ну и заплатили что-то. От какой-то фирмы он получил палатку нового образца на опробование...

В этот лёнин приезд мы с ним виделись в последний раз. Он сумел организовать свое кругосветное путешествие, сумел пройти Сибирь и Аляску. Заболел он, кажется, уже в Калифорнии. Оттуда вернулся в Питер и через несколько месяцев умер. Такой вот был удивительный человек, очень свободный.

* * *

В конце шестидесятых и в начале семидесятых я вёл семинары на «конференциях молодых писателей Северо-Запада». Помню оттуда нескольких человек. Во-первых, был там Юра Алексеев, которого я позже «передал» Татьяне Григорьевне Гнедич, поскольку Юра жил в Пушкине, а Т. Г. как раз в это время, кроме переводческих семинаров, вела в Пушкине кружок молодых поэтов. Алексеев писал очень интересно, слегка «обериутничал», и хоть обериутство мне не близко, были у Алексеева строки, которые запали в память на многие десятилетия:

...Скорпионы, как пионы
Расцветают на песке,

И английские шпионы
Кувыркаются в тоске,
В славном граде Самарканде
У прохожих на виду
Падишах сидит в саду,
Дева зреет на веранде.

На первый взгляд, вроде бы ахинея, хоть и смешная. А вот как привяжется, так и ясно, что что-то весьма незаурядное тут проделано с языком! Жалко, что он перестал писать! Понятно, что многие хорошо начинавшие поэты, поначалу казавшиеся яркими, со временем «осыпались». Но ведь кто-то и в самом деле стоящий провалился в Лету... Многих сегодня в «суете сует» прочно забыли. А зря! Выплеснули вместе с водицей «советской поэзии» несколько очень даже неплохих поэтов. Кто помнит Александра Морева, Александра Рытова? Их забыли, наверное, потому что они мало печатались и рано умерли. А был ведь еще просто блестящий Илья Рубин, он умер в Израиле вскоре после эмиграции...

А почему, интересно, забыли Раису Вдовину? Она выпустила три, кажется, книжки, одна из них даже толстая. Правда, она давно перестала писать стихи. И занята с тех пор уймой собак и кошек... Поэтому, естественно, о поездке её в Париж и речи быть не может! А Геннадия Алексеева с его умными и печальными верлибрами? Горят всё же рукописи, горят синим пламенем, и даже книги горят...

Была на нескольких конференциях молодых писателей Ольга Бешенковская, сейчас она живет в Штутгарте⁸³. Издаёт журнал «Родная речь». С ней мы снова встретились, когда я впервые после 1973 года приехал в Питер в 1990 году, и теперь время от времени перезваниваемся, видимся. Был как-то Сергей Скверский...

Как-то раз была на семинаре Татьяна Мамонова. Она писала очень средние стихи, хотя в них и была некая странность структуры: они были рифмованными, но ритмически совершенно неорганизованными. В последний день конференции Мамонова вручила мне три листка со стихами, посвященными мне. Боюсь, что именно поэтому они мне тогда и запомнились, сейчас, правда, ни строчки не вспомнить. Я позвонил ей, она очень об-

⁸³ О. Бешенковская умерла в 2006 году.

радовалась и приехала ко мне. Выглядела она весьма выпендрёжно: обтянутые белые штаны напоминали лосины, да ещё стёк какой-то, словно на коне прискакала. Ну, была она настолько изящна, что я тут же на неё и клюнул. Наш микро-романчик был весёлым и приятным. Она раз пять-шесть у меня побывала к обоюдной радости.

А потом я уехал. О Мамоновой я прочитал года через три после отъезда в какой-то эмигрантской газете. Статья была о группе питерских феминисток. Я страшно удивился: ну, зачем красивой девчонке становиться феминисткой? Вообще же в этой феминистской группе было четверо дам и художник-фотограф, называющий себя Валентин Мария Тиль. Тиль — талантливый необычный фотограф и человек с очень большими странностями. Про свое участие в этой женской группе, которую преследовали власти, он говорил, что «девчонок ему было жалко». А девчонки кроме Мамоновой были: одна из бывших жен Вити Кривулина Татьяна Горичева, которую в Питере почему-то звали Хильдой, неудавшийся прозаик из того же моего семинара Соня Соколова и некто Малаховская, про которую я ничего не знаю.

В Париже потом безосновательно шутили, что девочки, побывавшие в моих семинарах, почему-то все стали феминистками. Чепуха: вот ведь Бешенковская, например, не стала... А что забавно, так только то, что все питерские феминистки и «феминисты» рано или поздно оказались в Париже.

Что сейчас стало с Мамоновой, я не знаю, мы с ней после Питера не общались. В Париж она приехала почему-то с обритой головой, на которую надевала платочек. Впечатление было, что девчонка захотела стать некрасивой. Она растеряла всё прежнее изящество и стала напоминать не то комсомолку двадцатых годов, не то монашку. Ужасно было это неприятно...

А вот Горичева мгновенно сориентировалась. Она окончила Богословский православный институт в Париже и стала ездить с лекциями о православии по Германии, благо немецкий язык у неё с детства был. Писала какие-то религиозные статьи, выпускала религиозный журнал «Беседа» и даже приобрела некоторое имя. Надо сказать, что интерес к православию у нее возник еще в Питере, сменив увлечение йогой, буддизмом и чем-то еще, чего я не помню.

* * *

Но в конце шестидесятых годов всё это ещё было далеко впереди. Я тогда писал, переводил, печатался, ездил на выступления, «распространял» привозимый мне «тамиздат», переписывался с «вражескими организациями» и «не нашими людьми», как всегда уделял немалое время дамам всех возрастов и комплекций (хотя, как и синьор Джакомо, предпочитал по-крупнее) — короче говоря, процветал.

* * *

Летом 1967 года мы с Валею полетели в Пицунду. Там жила валина мать, заведующая детским садом. Она жила в стандартном двухквартирном коттедже; пара десятков таких домов тянулись вдоль дороги напротив трехкилометрового серого забора «государственной дачи», которую называли «дачей Хрущёва», несмотря на то, что там жилали и ещё многие из самой верхушки. Люди говорили, что на этой огромной территории каждая дачка имеет свой немалый участок, и хотя они не огорожены, «хозяева строго соблюдают границы и друг к другу в гости не ходят».

Двухквартирные коттеджи через дорогу напротив служили домами для obsługi. Валина мама там жила, поскольку ее детский сад был предназначен как раз для детей этой самой obsługi. Там я впервые услышал выражение «мы — слуги наших слуг», ведь «депутат — слуга народа», а вся верхушка — это что-то депутаты...

Валина мама жила в самом последнем коттедже. Против него как раз кончался серый забор, отгораживавший многогектарный «кончик» мыса со всеми «госдачами», а рядом был дикий пляжик метров сто на сто, после него снова забор, но уже не каменный, а прозрачный, из металлических прутьев, который скромно отгораживал кусок моря с примерно гектаром земли. Там стоял полустеклянный дом. Это была дача тогдашнего «хозяина» Грузии Мжаванадзе.

Вот на этом диком пляжике между двумя заборами мы с Валею и купались. Там всегда было немного народа.

Напротив пляжа, по другую сторону дороги стоял дом с квадратной башней, и из этого дома каждый день выходил седой высокий человек с узорчатой в чернённом серебре тростью. Валя сказала мне, что это очень почитаемый в Грузии исторический романист, бывший профессор берлинского университета, Константин Гамсахурдиа. А на следующий год, когда мы с Вале́й поехали в Пицунду, П. Г. Антокольский попросил меня найти ему жильё поближе к берегу. Валина мама сумела это сделать, и Павел Григорьевич приехал в Пицунду со своей юной подругой. Дом, в котором ему сняли комнату, был на той же самой бесконечной улице, метрах в двухстах от нашего пляжа и хевсурской башни Гамсахурдии.

Как-то Антокольский повёл меня к этому грузинскому классику, с которым он был знаком с незапамятных времён. Во время типично грузинского застолья, где было не счесть ни блюд, ни тостов, старик стал печально говорить о том, что великое стихотворение Николоза Бараташвили «Мерани» есть по-русски в шести переводах, и все они не тянут, ох не тянут! Антокольский в ответ на эти слова громко предложил мне попробовать.

Я первым делом сказал, что, как понятно всем за этим столом, языка я не знаю... Но тут Гамсахурдиа перебил меня, сказав, что его никакой писатель не знает, если он, конечно, не грузин, и что грузинские поэты, а тем более прозаики уже, к сожалению, давным-давно привыкли к этому печальному факту. И добавил, что если я хочу попытаться, то он сам не просто делает мне подстрочник, но даст «все возможные варианты слов и оборотов», и посидит со мной. На следующий день мы со стариком проработали часа три. За это время нас один раз прервал молодой человек, слегка помладше меня, он заглянул в кабинет и что-то по-грузински спросил у старика. Когда он вышел, Гамсахурдиа сказал, что это его сын Звиад, всем бы хорош, да только вот в религию ударился, ну куда это годится!

Через несколько дней я закончил перевод, по крайней мере, довёл его до того состояния, когда мне самому казалось, что лучше уж не перевести. Однако, старый писатель в присутствии Антокольского сделал с десяток замечаний, каждый раз обращаясь к моему учителю с одной и той же фразой: «Ну разве не так, Павел, дорогой. А? Скажи!» Короче говоря, мы оба со-

гласились с его редактурой, и вскоре мой перевод появился в каком-то альманахе, сопровождаемый подлинником, который с детства знает наизусть чуть ли не каждый грузин.

И ещё одна знаменательная встреча произошла у меня в Пицунде, но только совсем «из другой оперы», и оставила она тягостное и жалкое впечатление. От дороги до моря тянулся забор «партийного леса», в этом месте метров на сто, не больше. Считалось, что чуть ли не 60 % знаменитых и уникальных третичных сосен, покрывающих мыс, находятся на участке этой «госдачи». За несколько шагов до воды забор был уже не каменный а проволочный, он входил в воду и продолжался еще шагов на двадцать в море.

И вот как-то раз, когда у самого забора расположилась кучка молодых ребят, приплывших на ялике со стороны рыбозавода, к открытой проволочной части забора внутри участка подошёл маленький, старый, неверно ступающий человечек, в котором на расстоянии полутора десятков шагов мы узнали Ворошилова. Он спросил у ребят через забор, нет ли у них зажигалки. И когда мальчишки со смехом послали его куда подальше, он, пожав плечами, удалился. Был он в пижамных штанах, но в военном кителе, маленький и жалкий...

Два раза я летал в Пицунду, в первый свой приезд и в последний. А остальные три — имея неограниченное время — ездил прямо из Питера на велосипеде. Занимало это примерно две недели в один конец. Портфель, застёгнутый на два замка и перекинутый через раму, содержал всё тяжелое, на багажнике сзади лежала свёрнутая маленькая трехгранная палатка, а колыями для неё служили две лыжных палки без колёсиков, привязанные к раме вдоль. Да ещё на спине был рюкзачок с одеждой. Впрочем, большая часть вещей летела с Валея, и мой велосипед был не слишком перегружен.

Люблю асфальт, летящий под колёса
И с двух сторон сиреневый кипрей,
Сбегающий по желтизне откоса
К шоссе из-под сосновых галерей,
И чёрным лаком, словно знак вопроса,
Бегущий из-под мостика ручей,
Педалей круговое напряженье
И лёгкость безмоторного движенья.

Мне оправданием послужит формула,
Столь нужная для наших дней шальных,
Известная ещё с эпохи Ромула,
(Её я постарался встроить в стих,
Чтобы она вам доказать легко могла,
Что сумма впечатлений путевых,
Необходимых нам, чтоб после вздор нести,
Обратно пропорциональна скорости...)

Валя обычно прилетала дня за два до моего предполагаемого приезда.

А в 70 году, когда Галя Усова с нашими дочками месяц были в Коктебеле, я договорился, что на обратном пути из Пицунды за ними туда заеду. Но вдруг оказалось, что билетов до Симферополя ни на поезд, ни на самолёт не было.

Рано утром на вертолёте-подкидыше долетев за 15 минут до Сухумского аэропорта, я смог купить билет на самолёт только до Краснодара. Оттуда в Керчь, как я узнал, летал двенадцатиместный биплан «кукурузник». А я-то даже не подозревал, что такие самолёты ещё летают, и не сданы в музей! В самолётике этом было две продольных лавки. На них было кажется пятеро пассажиров. Потом в Темрюке, где самолётик сел, принять ещё пассажиров, в него влезла одна бабка с громко хрюкающим мешком. Над Керченским проливом, где всегда, как оказалось, множество воздушных ям, поросёнок как-то вылетел из мешка и его понесло прямо в открытую дверь пилотской кабины. Один из пилотов лягнул его каблуком. Зверёныш отлетел назад и я его с трудом изловил. (Остальных мужиков и баб просто укачало.)

От Керчи до Феодосии пришлось ехать в маршрутном такси. Машина провезла меня через Феодосию до самого выезда из города. Всё, дальше нечего делать, надо было идти пешком. Дело было к вечеру и автобусы уже не ходили. На моё счастье подвернулся какой-то «жестяной» грузовик, кажется старинная довоенная «пятитонка», груженная углём. Водитель ехал один, и в кабине нашлось для меня место. Так примерно километров через десять он с шиком и грохотом остановился у Дома Творчества, и я случайно встреченный у ворот кем-то из питерских писателей, с хохотом был препровождён прямо на пляж. Я понял, что нередко так и бывает: начнёшь с пижонского лайнера, закончишь грязным углевозом. Но зато за день добрался.

Навстречу мне из воды вылез Саша Кушнер и сказал, что Галя «где-то в воде, она всегда очень далеко заплывает», а девочки рядом на детской площадке играют с другими ребятами. Там кроме моих девочек оказалось ещё несколько ребят, среди которых был Буля, сын Булата Окуджавы. Буля сказал мне, что отец завтра утром приедет.

Позднее вечером нам пришлось усмирять напившегося московского писателя Виля Липатова, которого мы с Кушнером едва сумели затолкать в его комнату.

Кушнеры занимали вторую половину коттеджа, в котором жила Галя, и уложив всех детей, мы вчетвером уселись на терраске. Нашлась и пара бутылок хорошего массандровского вина. Из новостей этого дня Галя отметила, как самое главное, что Долматовского «ужалила сколопендра», на что Кушнер заметил, что сколопендра это паук, и потому почтенный прохвост Евгений Аронович не является романтически «ужаленным», а только вульгарно укушенным.

Утром за завтраком мы обнаружили, что и верно приехал Булат. Но всего на один день. Я, впрочем, тоже на два дня. Он за завтраком рассказал, что пишет «исторический роман», как справедливо сказано в песне, написанной позднее, «пробиваясь сквозь туман / от пролога к эпилогу». Мы с ним вышли на детскую площадку, и наблюдали, едва сдерживая смех, как его семилетний Буля ухаживал за моей восьмилетней Таней. Но когда Буля сел на какой-то трехколёсный велосипед и поехал в сторону волошинского дома, причём явно проехал уговоренное место поворота и исчез за кустами, Танька, сжав руки, как дурная актриса времён Островского, трагическим голосом очень громко заныла: «Он уехал! Он уехал!». А Булат пропел в тон к случайно получившейся у неё строчке из явно неизвестного ей старинного романа, вторую строчку: «И слёзы льются из очей!»...

* * *

Но вообще в Коктебеле мои дочери были только дважды, по месяцу: Галя предпочитала, чтобы летом дети постоянно жили на усовской даче в Рощино, и она сама там тоже сидела, если дела не заставляли быть в городе; а я, когда возвращался из Пи-

цунды, больше торчал в городе, но порой по несколько дней тоже проводил в Рошине.

Через дом от усовской дачи жил (летом, разумеется) профессор М***, крупный филолог. У него была на даче немалая библиотека, особенно справочная часть была весьма обширна. Поэтому я иногда заходил к М*** посмотреть в энциклопедиях или словарях самые разные вещи, нужные мне для работы. Однажды профессор, как это часто бывало, отправился с двумя внуками за грибами, а я сидел внизу в библиотеке. Минут через пять после ухода всей компании сверху позвала меня Софья Леонидовна, жена профессора, и спросила, могу ли я на минутку к ней подняться.

Я пошел по скрипучим ступенькам, и когда вошел в некое подобие холла, увидел её обнаженную очень белую спину. Похожая на Валькирию, она стояла перед туалетным столиком лицом к зеркалу, в одних трусах, а лифчик был надет только на плечи, поэтому она его придерживала перед собой, и не обернувшись, сказала: «Извините, Вася, но не могли бы Вы помочь мне застегнуть сзади...» Я кивнул. Лифчик, конечно, упал на столик. Его заменили мои ладони...

«Вот, — шепнула она, — вот...» и мгновенно обнажившись полностью, пригнулась сильно прогнула спину, почти положив голову с тяжёлым узлом золотистых волос на туалетный столик, и поминутно взглядывая в зеркало, несколько раз наши глаза вот так встречались...

Не прошло и десяти минут... «Ну вот... И хватит». Она повернулась, и глядя в сторону, сказала, что я могу приходить, когда хочу, как только все уйдут на озеро или за грибами, и что она хоть каждый день рада, но только по одному разу. Я нагло ответил, что в Библии ведь сказано: «всякое даяние благо»... Всё это лето я время от времени забегал к ней. Именно забегал, потому что во-первых никогда она не ложилась: всегда вот так, как и в первый раз — пригнувшись, у туалетного столика, она всё время, но как бы тайком, взглядывала на наши отражения в огромном трельяже; а во-вторых, это был всегда действительно один раз. Странная дама...

В СВОЁМ РЕПЕРТУАРЕ

(1967—1972)

Белка в клетке и что из этого вышло. Фаина. Миша Юдкевич.

«Главное — во время смыться»

Мне было тогда 37 лет. Ольге Сергеевне — директорше детского сада — 43 года. Она была довольно тонкая, среднего роста, но вот груди... Таких я в жизни не видел ни до неё, ни после — даже тетка Мура и то, кажется, уступала ей... Казалось, что они вот-вот перетянут своим весом всю её стройную фигурку, и поэтому она ходила слегка откинувшись назад, отчего казалась ещё стройней... Когда я вечером забирал дочек из детсада, мы иногда перекидывались несколькими словами. Как-то я пришел днем: не за ними, просто надо было о капризной Таньке, старшей, с ней поговорить. В детском садике жила белка в большой клетке с колесом. Вхожу — во дворике шум и суета — белка сбегала и носится по участку (хоть деревьев там и не было, поймать её никак не удавалось).

Я включился в эту суету, а белка выскочила за калитку и на ближайшую стройку — там был наполовину выложен первый этаж кирпичного дома, и белка уселась на будущем подоконнике. Побежали мы за ней вдвоём с О. С. И вот я тихо, чтоб не спугнуть, протянул к белке руку, глядя только на нее, отчего слегка споткнулся, а споткнувшись, скользнул ладонью по торчащей груди Ольги Сергеевны. Случайно? Думаю, что скорее подсознательно-нарочно. И слышу: «В. П., это не белка! Белка ведь мааааленькое животное!» Со словом «догадываюсь» я повторил своё движение, и глянул ей прямо в глаза. Взгляд она выдержала, чуть улыбнулась и предложила «позднее продолжить наши игры», а то белка пропадёт.

Мы наконец «изловили» неподвижно сидевшего испуганного зверька и водворили его в клетку. Потом Ольга Сергеевна повернула к себе в кабинет, а я за ней. Вошел и закрыл за собой дверь. Тут она сказала, что дверь закрыл я зря: её рабочий день через пять минут закончится, и не пойти ли нам по этому случаю в кино. Пошли. По дороге начали говорить о чём-то третьестепенном. Я взял её под руку. Она остановилась: «Впрочем, что мы, как маленькие? Пошли-ка сразу ко мне!» — и решительно

повернула к дому, соседнему с моим. Едва захлопнув дверь, сказала: «Идите в ту комнату и ложитесь. Я сейчас приду». Я сделал, как было сказано. Одеждом не укрылся.

Хорошо, что я был тогда в самом пике возможностей — 37 лет. Такого буйного темперамента и такой ненасытности я ни до неё, ни после не встречал нигде и никогда... Разве что Марианну вспомнил... Но там-то нас было четверо, а тут я один. Когда часа через три я собрался уходить, чтобы забрать из садика дочек, она поднялась на локте и деловито спросила: «А Вы-то довольны?». «Вам Вийон за меня ответит», — усмехнулся я, и еще раз обхватив её, на прощанье процитировал:

Тут на меня Марго верхом садится,
Взлетают груди, ляжки — ходуном,
Как будто в щепки разнести грозитя
И наш кабак, и весь наш грешный дом!

Она встала, прижалась на миг и пошла босиком за мной дверь запирать. С тех пор мы с регулярностью школьного расписания встречались раз в неделю, чаще у неё, изредка у меня, обычно по вторникам, когда у неё был короткий день на работе. Её дочь, студентка, приходила из Университета не раньше шести. И так — до самой моей эмиграции. Почти шесть лет. С перерывами на лето.

* * *

Однажды, в самом конце шестидесятых мы с Марком Альтшуллером стояли в Детгизе у окна. Мимо прошла рыжая довольно крупная женщина с очень тонким, даже острым лицом и немислимо тонкой талией. Она поздоровалась с Марком и пошла дальше. Я спросил, кто это. Оказалось, критик Фаина Шушковская. «Очень сексуально выглядит, а?», пробормотал Марк. Я промолчал, но когда, через несколько дней, мы с Фаиной столкнулись в Доме писателей, я вспомнил слова Марка и решил с этой дамой познакомиться. Это оказалось несложно: общих знакомых и общих тем у нас было больше, чем надо для такого случая... Когда мы поехали к ней домой, выйдя из метро, она вдруг остановилась и спросила, где же букет цветов. Я сказал: «Вот» — и подойдя к ларьку, тут же преподнёс ей бе-

лые табаки. «То-то, — усмехнулась Фаина, — мы ведь почти ровесники, я всего-то на год тебя старше, а приходится галантно-сти тебя учить».

С тех пор я у неё иногда бывал, приходил поздно и оставался на всю ночь. Дневных встреч она категорически не любила. Одного я не знал: Фаина и Валя Тропинина были хорошо знакомы! Фаина многие годы была не только читательницей валиной библиотеки, но и валиной приятельницей — они бывали друг у друга в гостях, иногда вместе ходили на выставки. Но ни одна из них мне ни разу не намекнула на то, что они знакомы, Так и длились параллельно оба моих романа. Дамы эти наверняка делились между собой, уж не знаю чем, но я об этом узнал от Фаины только чуть ли не через тридцать лет, в 1995 году!

В 1972 же году, когда я точно понял, что пора мне эмигрировать, Фаина, так же как и Усова, и Тропинина, уехать со мной отказалась.

Наш роман, естественно оборвался, тем более что Вета Хармер, которая согласилась уехать со мной, была Фаине неприятна и даже враждебна. На прощанье я послал Фаине почтой короткое стихотворение:

* * *

Ф. Шушковской

В этом торчащем и многоэтажном
Хаосе книг, электричек и встреч,
Вдруг промелькнёт неизбежная жажда
Несберегаемое сберечь.
В городе тёплом, спешащем и мокром,
В городе, мчащемся наперекосяк,
Рыжие, молча не движутся окна,
Всё растеряв, что хранили всерьёз
Не сбережёшь... Так не надо быть страусом,
Прямо в глаза, словно в окна взглянуть!
Что мне за дело — мы правы, не правы ли?
Мне б только рёбра успеть застегнуть.

А когда я снова семнадцать лет спустя стал ездить в Россию, мы снова встретились с Фаиной на моём вечере в редакции «Звезды». Только тут я и узнал... Но обо всём в своё время...

Галин бывший ученик, Миша Юдкевич, был первым человеком, от которого я услышал, что он непременно уедет в Израиль. Я в это время и сам уже подумывал воспользоваться этой новой фантастической, как казалось поначалу, возможностью смыться из Отечества.

Возможность писать и печатать что хочется, без «вредакторов».

Возможность снять с себя усталость от постоянной напряжённости, копившейся десяток лет и всё стущавшейся в результате подпольной, хотя и не такой уж крупной, работы...

Просто желание сбросить, как змеиную кожу, статус «невыездного», наклепанный на меня когда-то кем-то почему-то, сбросить, и увидеть мир.

И далеко не последнее: возможность свободно работать на то, чтобы когда-нибудь рухнула эта вся советская бредятина... Вот явные плюсы эмиграции.

А минусы? Один очевидный минус, пожалуй: переводы стихов на русский там едва ли кому интересны. А впрочем, ведь есть там русские журналы и газеты (уж это я знал лучше, чем многие в СССР!), есть «Бибиси», «Свобода» и на крайний случай «Голос Америки». Можно переводить и печатать поэтов, «нежелательных», да и просто запрещённых в Отечестве... А их вроде на свете больше, чем разрешённых. А многие из них куда крупнее и интереснее, чем «друзья СССР». Так что, и этого минуса по сути нет.

Ура, еду! Конечно, еду! Уж там какая-никакая литературная работа найдётся. На самый худой конец — в каком-нибудь университете преподавать.

Так что стал я первым делом, пользуясь всеми своими связями, выяснять возможности. А их оказалось даже больше, чем я ожидал! Только хотелось уехать потише, чтобы чего раньше времени не выплыло... Так что лучше всего было уехать по еврейской линии. Оживить своих еврейских предков с маминой стороны и — в открытый мир! «Главное — ввязаться в дело, а там будет видно», — как говорил Наполеон.

Но прежде, чем «ввязываться», я хотел дождаться выхода трёх книжек с моим участием как переводчика, уже отправлен-

ных в типографию, очень уж не хотелось, чтоб их зарезали! И другие переводчики, уж точно ни в чём не замешанные, на этом бы пострадали... Одна из книжек, правда, была целиком в моём переводе, но вот две другие... Ну, а на книгу моих избранных переводов, которую мне обещала глава английской редакции московского «Гослита» Миронова приходилось плюнуть: улита едет, и ждать, пока она приедет, было страшно — можно прождать слишком долго и не суметь потом уехать... Кто их знает! Не будем жадничать.



фото прозаика-фантаста Андрея Балабухи. Конец 60-х.

Из книги Кузьминского «У Голубой Лагуны».

Был конец 71 года. Миша Юдкевич, к тому времени всего год как закончивший школу, подал заявление на отъезд, добыв «липовый вызов от какого-то однофамильца, назвавшегося его дядей». И тогда мишин отец, мелкий партработник, напечатал в «Вечорке» открытое письмо о том, что он «категорически против», что его сын, по строгому еврейскому закону, даже и не еврей, поскольку «является сыном русской матери», и что «настоящие евреи должны обязательно-таки выгнать Мишу с позором из их Государства и отправить этого самозванца обратно в Ленинград».

Хохотали в городе все, кто знал Мишу, а впрочем, не знавшие Мишу лично, а только читавшие «Вечорку» люди, хохотали тоже. И в конце концов, мишиному отцу сделали выговор в

каких-то партийных органах, сказали, что он, мол, компрометирует... не помню уж кого, и посоветовали тихо отпустить сына. Так что старый дурак действительно пошел в ОВИР и подписал бумагу о том, что он «не возражает против выезда сына в государство Израиль». Кстати, почему в СССР официальные инстанции всегда употребляли такое странное наименование? Ведь никто никогда не писал и не говорил «государство Англия» или «государство Чили»?

Миша уехал. Один из первых. Говоря о Мише, мне захотелось вспомнить об одном знакомстве, которое произошло благодаря Мише. Через Мишу я познакомился с пумой по имени Фрося. Фрося проживала на Тихорецком у одной мишиной знакомой, работавшей в зоопарке. Она (Фрося) была чрезвычайно приветлива и имела обыкновение ставить лапы на плечи входящего в дверь друга. Кроме того, Фрося была политически подкованным животным: на вопрос «Кто гад» она с завидным постоянством отвечала «Мао».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Начну ее с исторической справки.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Начиная с конца 60-х годов из СССР была отчасти разрешена эмиграция. Однако официально считалось, что существует лишь выезд для воссоединения с родственниками. Это существенно облегчало полный контроль над эмиграцией со стороны государства, так как при отказе всегда можно было сослаться на недостаточное родство. Практически «родственники» (совершенно несущественно, реальные или фиктивные) признавались лишь в трех странах и лишь для трех групп населения: в Израиле для евреев, в Америке для армян, и в Германии для «этнических немцев». Всё это явление, микроскопическое по размерам в конце 60-х, достигавшее нескольких десятков тысяч в год в 70-е, и снова практически закрытое в 80-е, получило общее название «третьей волны». Подавляющую часть её составляли евреи, или полуевреи, или четверть-евреи, или имеющие родственников-евреев, или, на худой конец, купившие документы, что они евреи («еврей — не роскошь, а средство передвижения», говорили в это время про русско-еврейские браки).

Таким образом, почти все получившие разрешение на выезд считались уезжающими в Израиль. Такая ситуация полностью устраивала и Израиль тоже. И все они ехали через Вену, где их встречал представить СОХНУТа (Израильское агентство, занимающееся иммиграцией евреев). Тех, кто в Израиль не собирался, «передавали» (то легко, то со скандалом) другим организациям. Главной «другой организацией» был ХИАС (HIAS —

Hebrew Immigration Aid Society) — еврейская организация, базирующаяся в США и помогавшая эмигрантам, направлявшимся в США, Канаду и некоторые другие страны. ХИАС организовывал и оплачивал проживание эмигрантов в странах транзита, транспорт, перевозку багажа и первоначальное расселение в странах назначения. Это происходило в тесном сотрудничестве с другой американской еврейской организацией — Джойнтом (Joint Distribution Committee). Эмигрантам — не евреям помогали другие аналогичные организации: Толстовский фонд, Каритас (католическая организация) и другие, опять-таки в тесном взаимодействии с ХИАСом.

Всё это было связано с тем, что при отъезде позволялось вывезти не более 90 долларов на человека и оплатить билет только до Вены. Гражданство терялось при пересечении советской границы. Это после того, как в ОВИРе, после получения разрешения на выезд (если разрешали!), с вас брали колоссальные по тем временам деньги — 400 рублей с человека «за отказ от советского гражданства» плюс 500 за «переселение на жительство в капиталистическую страну» — при зарплате, скажем, инженера в 110 рублей в месяц! (Не отказываться от гражданства евреям было нельзя, равно как отказываться от него было нельзя уезжавшим в США армянам). То есть жить было не на что и билет покупать было не на что, что означало полную зависимость от подобных ХИАСу организаций.

Чтобы ехать в Америку, или (реже) в другие страны, естественно, нужна была опять-таки виза. Получать ее в СССР было невозможно: официально ведь все направлялись в Израиль. Значит, нужна была страна, где можно было ждать этой самой визы. В самом начале, ещё до меня, такой страной была Австрия: все летели в Вену, а оттуда те, кто собирались в Израиль, отправлялись туда, а остальных кормили и давали жильё, пока они ждали виз в другие страны. Потом оказалось, что в Италии дешевле. Но по каким-то неясным соображениям итальянское правительство не хотело держать у себя транзитных эмигрантов нормальным способом, т. е. с итальянской визой. В Италию отправлялись из Вены, как Владимир Ильич, в почти что запломбированных вагонах. Документы венским ХИАСом отбирались и возвращались только в Риме. (Документы — это «виза выездная обыкновенная», сложенный вчетверо листок бумаги с фото-

графией, текстом только по-русски и проставленными в Москве израильской и австрийской визами. Никаких тебе паспортов). Так что Вена оставалась обязательным пунктом транзита, но основное время проводилось в Риме.

Тут надо добавить, что вся история эмиграции — это история вранья. Врали все: Советское правительство — что никакой эмиграции не существует, а существуют единичные случаи желания воссоединиться с близкими родственниками; Израиль — что советские евреи поголовно желают «возвратиться на историческую родину»; кандидаты на эмиграцию — сначала, в России, что едут к родственникам в Израиль, а потом, в Риме, что всю жизнь только и занимались, что борьбой с Советской властью; но все эти виды вранья были враньем с взаимопониманием и как бы и не враньем, а правилами игры. Было, однако, и другое вранье.

Теперь уже не все понимают, какое полное отсутствие информации о Западе было у людей, которым надоело жить в СССР. Информация получалась только из редких писем уже уехавших — писем, писавшихся в расчете на цензуру и, кроме того, писавшихся людьми, мало что еще понявшими в новом для них мире. Поэтому степень зависимости от ХИАСа определялась не только полным отсутствием денег — ХИАС не только кормил и поил, он еще и объяснял, что делать дальше. Так вот, первое, что говорил ХИАС — это что имеется считанное число «стран эмиграции»: Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия, и Южная Африка. «Европа не берет» — эту фразу знали все. Фраза была враньем. Европа прекрасно брала, т. е. давала статус политического беженца всем эмигрантам из коммунистических стран. Но, чтобы этот статус получить, его надо было попросить! А этого почти никто не делал, так как все верили ХИАСу. В результате, практически, в Европе остались только те немногие эмигранты, у которых с самого начала были зацепки: близкие родственники, рабочее предложение и т. п. В эту категорию попал и я⁸⁴.

⁸⁴ Справка уточнена и отредактирована Борисом Великсоном.

ЭМИГРАЦИЯ. НАЧАЛО

(1971—1973)

Вета. Корнеев и «Секретариат». Плата за страх. Женя Витковский. Что сказал Антокольский. Шутки над «овирицицей». Чемодан самиздата. Венские сосиски

К 1971 году я твердо решил, что так или иначе попытаюсь уехать на Запад. Мне страшно не хотелось уезжать одному, казалось, что это очень неудобно, почти невыносимо — оказаться в новом и знакомом лишь по книгам мире в полном одиночестве. Галя наотрез отказалась уезжать, мои тогдашние подруги Валя и Фаина — тоже. И как раз в это время у меня возник новый роман — с театроведом Ветой Хамармер, которую ко мне прислала Наталья Грудина, чтобы я помог ей отобрать стихи и составить первую её книжку. Вета ко времени нашего знакомства ушла из ТЮЗа, где прежде работала завлитом, и теперь водила экскурсии по Исаакию. Кроме того, ей тоже хотелось уехать и, в значительной степени, в связи с этим нашим общим желанием наш роман превратился в брак.

В начале 1972 года я с Галей развелся, женился на Вете, и мы стали в темпе готовиться к отъезду. Нам очень хотелось попасть в Европу, но Вете было «не совсем ясно, возможно ли это». Как запасной вариант мы с ней рассматривали отъезд в Америку, потому что о моих связях с Парижем, с НТС (и т. д.), я Вете ничего не рассказывал.

Мы уезжали втроём с Ветиной дочкой Диной, которой было 10 лет. Отец Дины, актёр, живший где-то на Севере, отпускал дочку без всяких разговоров. Галя тоже дала мне разрешение. Подготовка к отъезду начиналась с получения разрешения на отъезд от родителей, а также от бывших жен и мужей... Заручившись разрешениями, я сообщил, по своим каналам в Париж и во Франкфурт о моем намерении эмигрировать, не посвящая, понятно, ни во что, связанное с отъездом, никого из питерских знакомых. Кстати, за год до описываемых событий у меня появился ещё один канал связи с Парижем: жена моего близкого друга артиста Толи Шагиняна, француженка Мишель, по окончании Питерского Университета стала работать во фран-

цузском консульстве в Питере. И, естественно, стала ездить туда-сюда. И письма возить.

Как-то раз, когда я зашёл к Е. Г. Эткинду, он с места в карьер сказал, что прослышал о моих планах и тут же стал меня от них отговаривать⁸⁵. Я почему-то не спросил у Ефима Григорьевича, откуда он узнал это, автоматически решив, что узнал он от Гали, которая была к Эткиндам ближе, чем я. А потом, уже выйдя от Эткиндов, все-таки слегка обеспокоился — а вдруг в Союзе Писателей стало что-нибудь известно раньше времени. Так и оказалось⁸⁶.

Вскоре меня вызвали на секретариат. Собрались все одиннадцать секретарей, «футбольная команда Союза Писателей». Ведущая роль на этом заседании принадлежала Юрию Борисовичу Корнееву. О нем я уже писал во второй части этих мемуаров. Итак, Корнеев, «сначала партийный босс, а потом уж переводчик», спросил у меня, верно ли, что я собираюсь «предать родину». Я поинтересовался, а что он под этим понимает, и услышал в ответ, что ему, Корнееву, доподлинно известно, что я уже подал в ОВИР заявление на эмиграцию. Это была полная ерунда, никакого заявления я к тому моменту не подавал, но смысла в том, чтобы начать публично отрекаться от своих намерений, я тоже не увидел. Так что я сказал Корнееву, что если он, как парторг, добьётся для меня права вывезти все мои рукописи, то я, пожалуй, и верно подам в ОВИР заявление. Спасибо, мол, что надоумили, Юрий Борисович!

Кстати, то, что я к тому моменту никак не мог еще подать заявление в ОВИР, всем было очевидно — ОВИР не принял бы заявления без «характеристики с места работы, подписанной дирекцией, парткомом и профкомом».

⁸⁵ Отношение Е. Г. к этой теме не менялось никогда, даже во Франции. Позднее в «Записках незаговорщика» он писал: «...изгнанник — не турист. Увидеть мир ценой утраты своего воздуха, своих близких, своего читателя... непредставимо». А я, в своё время один из его учеников, поступил именно так, и поныне нередко чувствую себя туристом. Все 25 лет нашего общения в Париже мы, так или иначе, возвращались к этой теме, но так и не убедили друг друга ни в чём.

⁸⁶ Много позднее я выяснил, что информация эта пришла в Союз писателей из ГБ, а в ГБ... из Франкфурта, из «Руководящего круга» НТС, состоявшего чуть ли не из сорока человек, где был кто-то, то ли «внедрённый», то ли купленный, и возможно даже не один...

«Так что — сказал я, — либо Юрию Борисовичу, переводчику «Макбета» как-никак, три ведьмы внушили, что он такую характеристику мне уже дал, либо он еще только собирается её мне дать, а если уж собирается, то хорошо бы побыстрей, я ведь не очень терпелив». В общем, получилась вполне шекспировская сцена (из «шутовских», конечно).

Единственный, кто это шутовство
мог оценить, был только Миша Глинка:
хихикнул он. Корнеев на него
воззрился удивлённо,
«Ну так что ж... — промолвил он, —
Теперь я напишу характеристику».
А Глеб Горышин,
который был соседом мне по дому,
и, кстати, тоже был секретарём,
вдруг обернулся и промолвил:
«Вася, ну ты же пропадёшь,
ведь мы сейчас тебя из членов
исключим и только!».
«Ну, значит я, не то, что вы, — не член!»
Тут хохотнуло полсекретарьята,
Рытхеу⁸⁷ же за голову схватился,
он, видимо, свидетелем трагедии
себя почувствовал. Ну а Корнеев
сказал, что рукописи, впрочем,
можно и вывозить, но если
их прочтут, и всё печатью круглою
снабдят, но это ведь нелёгкий труд,
поймите, и за него положено платить,
а кто ему заплатит, если он, Корнеев,
перечтёт два чемодана? Никто.
На том и кончилось собрание,
и все одиннадцать секретарей —
гуськом, стесняясь, вон из кабинета,
как футболисты в раздевалку,
только я им не мяч...

⁸⁷ Юрий Рытхеу — русский писатель, единственный в среде питерских литераторов чукча. Приспособленец и алкоголик, но человек не вредный и забавный, думаю, что вне советских условий стал бы явно талантливым литератором. Впоследствии чем-то был при Юнеско в Париже... Пару раз забредал и в гости ко мне. О нём прекрасно написал Лев Друскине в своей «Спасённой книге».

...А двадцать лет спустя В. Топоров всё это в мемуарах описывал (конечно, понаслышке). Понаписал он всё совсем не так, придумал про какое-то наследство, которое я где-то получил... Ну, в общем, хватит, я вам не Лоханкин, хотя немного сходны имена... Да, прозой, верно, для меня труднее... но —

Первым делом пустили под нож весь тираж переведённой мной книги эвенского поэта Василия Лебедева. Это случилось в результате особо несчастного стечения обстоятельств. Я очень ждал выхода этой книжки и в ОБИР специально не шел: ведь пока мое заявление там не лежало, я оставался вполне законным автором. И вот звонит мне Лебедев и говорит, что книга вышла, следовательно...

Я понёс заявление в ОБИР. И так случилось, что грузовик, на котором с книжной базы книгу должны были развезти по магазинам, поломался. Развозка задержалась на два дня, и книга... Весь тираж накрылся прямо на базе... Оперативные оказались, суки! Говорят, что несколько экземпляров типографщины всё-таки спёрли, но я и поныне их не видал. Может кто видел? А? Или это враньё? Жалко было очень — ведь Вася Лебедев был настоящий, хотя, может, и не крупный поэт, но уж никак не «джамбул»⁸⁸. Кроме того, накрылись мои переводы в «Библиотеке Поэта» в книге Ваагна Терьяна. Их заменили, срочно заказав какому-то другому переводчику, так что тут никто не пострадал, наоборот, кто-то неожиданно заработал...

По разным делам, связанным с отъездом, я поехал в Москву. Зашел попрощаться с Ирой Озеровой и её мужем Олегом Пучковым. Он хоть и состоял на партийной работе, но был совершенно своим, надёжным человеком. У Иры с Олегом я, в то мое «прощальное» посещение, познакомился с молодым переводчиком «голландистом» Женей Витковским. Он тогда несколько

⁸⁸ Вот кусок из его «Пляски шамана»:

Вскачь, вскачь, вскачь, вскачь
Тень от каждой яркой тряпки,
Плач, плач, плач, плач —
Колокольчики на шапке,
Тень, тень, тень, тень
Пляшет под глухие вскрики,
На дыбы взлетает дикий,
Необузданный олень...

недель на радио, вещал на эмигрантов. Передачи эти по его на-смешливым словам, всегда начинались так: «Здравствуйте, дорогие соотечественники!». Женя знал десятки адресов эмигрантских литераторов во всех странах мира, открыто переписывался с некоторыми из них. С иными и не по должности, а так сказать, на свой риск... Так что он оказал мне неоценимую услугу, снабдив меня адресами русских поэтов и критиков в самых разных странах.

Я зашел попрощаться к Антокольскому. Он ахнул, пробежался раза три вдоль своей длинной гостиной и пробурчал, что «Фима прав, и уезжать не надо бы», но что сделано, то уже сделано. Потом, помолчав, сел на кушетку и сказал, чтобы я передал от него привет Площади Конкорд, которую он больше не увидит... А когда на следующий день я позвонил ему уже перед самым поездом в Питер, он заорал в трубку, что разговаривать со мной не хочет, пока я не вернусь на родину, и... Я, конечно, понял, что у него сидит кто-то посторонний, и повесил трубку. Но дурной осадок остался.



Перед эмиграцией 1972 г. Фото Вилли Оникула.

Потом, уже в середине семидесятых, я позвонил Павлу Григорьевичу из Стокгольма. Я считал, что если он не один дома или вообще что не так, то он безусловно заорёт и обругает меня. Ведь актёр-то он был профессиональный. Не обругал. Поговорили. И долго было мне от этого хорошо...

Наверное, Швеция была (кроме Финляндии) в семидесятых годах единственным на Западе местом, откуда разговоры с Питером, и даже с Москвой не надо было заказывать заранее: телефонистка (находившаяся в Хельсинки) просто набирала питерский номер. А заказ разговора из-за рубежа безусловно засвечивал абонента, и кроме того давал время «кому надо» подключить магнитофон «куда надо».

А потом я получил от Павла Григорьевича письмо, которое кто-то опустил в ящик в Париже. Он писал о многом, сделал в письме целый обзор московских и питерских поэтов моего поколения, а закончил так:

«...Что-то в Горбовском действительно очень невнятное, а если уж невнятное, то значит и несерьёзное. Так мне всегда казалось, кажется и сейчас. Надо быть ясным. Вот, милостивый государь, Васенька, мой сказ Вам и наказ по всем пунктам. Жду Ваших стихов, и не сердитесь на старика. Привет общим нашим друзьям.⁸⁹

Ваш П. Антокольский»

Но я забежал вперед лет на восемь.

А в сентябре 1972 года, вернувшись из Москвы в Питер, я узнал, что для всех «выезжающих в зарубежные страны на постоянное жительство» со вчерашнего дня введена плата «за высшее образование, полученное в советских государственных вузах». Плата была очень немалая, таких денег у меня отродясь не было. По природному оптимизму и любви к цирковым представлениям я решил, что из всего надо извлекать удовольствие, и что я имею шанс без риска попортить нервишки овировским чиновникам. Я отправился в ОВИР и заявил, что не должен ничего никому платить, поскольку никакого государственного вуза

⁸⁹ Имеется в виду Е. Г. Эткинд, иных «общих» и не было на всём Западе. Впрочем с Е. Г., старик переписывался открытой почтой, со мной же это было бы для него более рискованно.

я не кончал.⁹⁰ Ведь Литературный Институт Союза Писателей — не государственный, он принадлежит общественной организации. На возражение, что «у нас негосударственных вузов нет», я привел им в пример Высшие Школы Профсоюзного Движения, принадлежащие не государству, а профсоюзам.

«А те, кто с этим не согласен, — сказал я, — повторяют известную ошибку Троцкого, требовавшего огосударствления профсоюзов». И видя растерянное молчание струхнувшей чиновницы, сурово добавил, что вот и Партшколы (ВПШ) принадлежат не государству, а партии, ну а кто не знает разницы между партией и государством, тот политически малограмотен, и ему не место... ну и т. д. Как ни странно, эта дешёвая демагогия испугала овировскую мелкую сошку — ну, не готовили советскую чиновницу к такому разговору, не было у нее стандартного ответа. Так или иначе после беседы со мной чиновница взяла больничный. Несколько дней ее не было на работе, и очереди в Овире стали длиннее. Говорили, что этот бюллетень ей на неделю выписал невропатолог. Но, возможно, что это только слухи. Однако же на стенке в Овире появился приказ начальства, запрещающий инспекторам меня принимать. В Овир стала ходить Вета. Она вела себя вежливо, хотя по складу характера за словом в карман тоже не полезет.

Однако же, текст постановления о плате за образование был быстренько видоизменен, обогащён новым абзацем, и теперь рядом с «государственными вузами» упоминались Литинститут СП СССР и профсоюзные учебные заведения. А вот о партшколах все же умолчали. Так что их выпускники имели лазейку. Не знаю, может, кто ею и воспользовался...

Одновременно со мной уезжал Леонид Тарасюк, великий шутник и хранитель средневекового оружия в Эрмитаже⁹¹. У него в фондах было немало доспехов разных времён. И когда-то в мои «музейные годы» мы, несколько приятелей-музейщиков, собираясь у него в подвале, мерили доспехи и удивлялись, как малы ростом были люди и в средние века, и в эпоху Возрождения. Нас было семеро, и только трое самых маленьких могли

⁹⁰ Педагогический я просто скрыл, и никто о нём не вспомнил.

⁹¹ Вот одна его надпись в витринке: «Кинжал в ножнах. XIV в. Кинжал утрачен. Ножны не от того кинжала».

найти себе панцирь по росту. В Тарасюке было почти два метра, так что ему нечего было и думать о переодевании. Во мне 169 сантиметров, и на меня едва налез панцирь герцога Сфорца. А ведь Тарасюк сообщил нам, что этот герцог был чуть ли не самым высоким рыцарем в итальянских землях пятнадцатого века.

И вот все мы — и я, и Тарасюк, и многие другие мои знакомые застряли. Сидели и ждали у моря погоды. От скуки я начал писать венок сонетов «Посох»... Переводил старинные английские баллады... А через полгода, в середине марта 1973 года, нам вдруг начали звонить овировские чиновницы. Звонки были совершенно персональными. Чиновница доверительно говорила, что «вам, именно вам в порядке исключения позволено не платить за образование». Мы с Ветой были, вероятно, в самом начале списка, по которому звонили из Овира (алфавитный он, видимо, был...). Так случилось, что буквально через несколько минут после моего разговора с чиновницей (я еще не успел никому о нем рассказать) мне позвонил радостный Тарасюк, чтобы сказать, что он достал деньги, и сейчас идет в сберкассау платить. Тут я его перебил, заорав, чтобы он не платил, ни в коем случае не платил. Тарасюк засомневался, предположив, что от меня хотят избавиться скорее, чем от него, «чтобы овирниц не вогнал в истерики, а овирников — в инфаркты». Но через полчаса позвонили и ему, и он тут же пришел ко мне с двумя бутылками «Мукузани», сказав, что это «проценты за своевременное вмешательство по сохранению финансов».

18 апреля мы явились в аэропорт. До того мой чемодан с рукописями (а вовсе не два, как думал Корнеев) побывал в Управлении погранохраны, которому было известно, что КГБ не хочет пропустить рукописи к выезду⁹². Пограничники были в ведомстве МВД. Всем было известно, что два грозных ведомства между собой враждуют, и то, что запретили одни, могут с радостью, желая насолить конкурентам, разрешить другие. Со мной произо-

⁹² Впрочем, всё это было отчасти предосторожностью, отчасти комедией, поскольку очень большая магнитофонная бобина со всем мною написанным за все годы была отослана в Лондон прямо легендарному Анатолию Максимовичу Гольдбергу через английского журналиста Джулиана Нанди, которому по моей просьбе передали её сотрудники голландского посольства.

шло следующее. Начальник погранохраны аэропорта получил от своего начальства из Большого Дома приказ разрешить мне вывоз рукописей. Разрешение было дано по телефону в моем присутствии. Только в тот момент, когда мы проходили таможенно, начальника аэропортовской погранохраны не было на месте. Гебешник же этим воспользовался, втащил чемодан из комнаты пограничников в свою, гебешную, и ещё устроил мне личный обыск. У меня отобрали записную книжку с адресами, а вторую, в которой увидели какие-то каракули, вернули. На самом деле, во второй книжке были те же самые адреса, только записанные арабским алфавитом и разбитые на «четверостишия», вроде рубаи. И вот диалог с капитаном в голубых погонах:

«Это что, стихи?» — «Стихи, сами видите, вот, по четыре строчки». — «На каком языке?» — «На персидском». — «Изучаете?» «Изучал. Может, удастся и побывать теперь».

Капитан как-то завистливо глянул и книжку отдал. А тут явился как раз начальник пограничников, и я ему крикнул, что вот генерал такой-то ему звонил про меня. Пограничный начальник даже не дал мне договорить, и стал на гебешного капитана орать таким матом, какой и мне не снился. Потому что «пограничник» был полковником. Тут по радио объявили, что рейс на Вену «задерживается по техническим...». Услышав это, мой капитан, тоже с матюгами, подхватил чемодан, у которого в этот момент оборвалась ручка, так что он кое-как подхватил эти 33 кило подмышку, злобно потащил за мной и кинул в автобус, который тут же рванул к самолёту.

Так что, во-первых гебешник поработал у меня носильщиком, что уже приятно, а во-вторых и мои рукописи, и в основном всякие чужие, которые, естественно, без названий и титульных листов я вёз для «Граней» под видом своих, так со мной и полетели не в багаже, а прямо на сидении полупустого самолёта. Отлёт задержался только на пять минут.

Когда хриплый голос стюардессы торжественно сообщил по радио, что самолёт «пересёк границу Советского Союза», половина пассажиров, то есть полтора десятка эмигрантов, вытащили разные бутылки и, поздравляя друг друга, пили до самой Вены.

В венском аэропорту выяснилось, что в Израиль направляется только один молодой человек. Представитель Сохнута (изра-

ильского агентства, ведающего приемом эмигрантов) торжественно усадил его в огромный пустой автобус, который повез его в гордом одиночестве в замок Шенау, перевалочную израильскую базу. Остальные десять семей заткнули в автобусик вроде «Рафика», или чуть побольше, и отвезли в самый центр Вены, кого в пансион «Беттина», кого в «Хакенгассе» или «Цум тюркен», кого ещё куда. Все эти «пансионы», на самом деле полуотели-полукоммуналки, принадлежали одной и той же даме, безвозрастной, бесцветной, длинной и очкастой, которую и верно звали фрау Беттина.

При встрече представитель израильского агентства вручил каждому из прилетевших некоторое количество шиллингов, и я тут же, только положив вещи и оставив в комнате Вету и Дину, спустился в ближайшую лавочку и купил кучу настоящих венских сосисок! С них и началась западная жизнь. В Вене мы провели неделю: всю эту неделю я с удовольствием практиковался в немецком языке, а кроме того мы с Динкой облазили этот прекрасный город и побывали в Шёнбрунне — роскошном барочном дворце-музее. Там я рассказывал Динке об «Орлёнке», сыне Наполеона, умершем в этих стенах, о Меттернихе, о Венском конгрессе. А еще тут же был знаменитый венский зоопарк, тогда один из лучших в Европе...



В Вене. Я, Дина и Вета — она же Виолетта Иверни. 10.04.1973.
Фото кинооператора Ленфильма Жени Шлюглыта, тоже эмигранта.

В разных интервью мне потом неоднократно задавали один и тот же стандартный вопрос: «Каковы Ваши первые впечатления от Запада?». И моим ответом всегда было: «Собаки! Тут можно на улице погладить любую собаку, хоть страшную овчарку, они не злые. Наверное, каков хозяин, таков и пёс».

РИМ (ОСТИЯ), ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ (1973)

Рим! Книжная контора или АЛИ. (без сорока разбойников)

Остия. Хазановы. Дама в халатике и без.

Беркли, Франкфурт или Париж? Опять Шаховская

Поезд из Вены в Рим шел так, как будто он везёт Ленина: двери закрыты намертво, на стоянках нельзя выйти. Вдруг в начинавшихся сумерках за окном возникла и проплыла иллюстрация Конашевича. Замок на крутой и довольно высокой зелёной горе, башенки, башенки. Было сразу видно, что он не средневековый. Потом я узнал, что это один из замков «сумасшедшего Людвига», чудака-короля Баварии, который к тому же дружил с Вагнером. Но замок был не из Вагнеровских опер, этот замок на горе был из сказок братьев Гримм, да еще и увиденных Конашевичем.

Рано утром на рассвете мы проехали Венецию. Вдруг за окном возникла просторная вода лагуны и несколько островов вдали. На одном — собор с куполом, похожий на Исаакий без позолоты... Чушь, мелочь, трехминутный растерянный взгляд. И странное чувство, что вот оно, одно из главных оправданий моей эмиграции...

С тех пор я довольно часто чувствовал себя не столько эмигрантом, сколько туристом. И в 1990 году в первый мой приезд в Питер после семнадцатилетнего отсутствия я на своём вечере в Доме писателей сказал, что «вот стихи — это мой отчёт о творческой командировке в Европу, правда несколько затянувшейся...».

На римском вокзале Термини я узнал во встречавшем всю нашу толпу эмигрантов молодом человеке своего знакомого —

Сеню Климовицкого, московского барда и зубного техника! Я обрадовался, он тоже, хотя в «той» жизни мы были знакомы весьма шапочно. Пансион, в котором для начала поселили часть новоприбывших, содержала некая синьора Сильвия — в апрельскую римскую жару она ходила в трех лисах! А когда ей случалось кричать что-нибудь с третьего этажа кому-то, находящемуся на улице, то из окна вместе с тремя лисьими хвостами вертикально свисали с подоконника её длинные, банановой формы титки, оттягивая тонкое трикотажное платье...

Когда я работал в Павловске, мне надо было заниматься научной работой и сдавать «листаж». Так вот одна из моих работ называлась «Сравнительная планировка некоторых европейских столиц». Мне захотелось проверить свою память и заодно поразвлечься, и я, ничего не объясняя, предложил троим или четверым из эмигрантов, с которыми ближе познакомился, пойти к Колизею. План Рима сам всплыл у меня в глазах, несмотря на то, что с того момента, когда он лежал на моём письменном столе в кабинете в Павловском дворце, прошло почти пятнадцать лет.

Потом я слышал от людей несколько подобных историй. Одна моя знакомая, закончившая французскую школу, легко нашла дорогу от Монмартра к Нотр Дам — их в школе учили топографии Парижа, был даже такой вопрос на экзамене. Так что воистину всякое знание благо.

Я никому не объяснил, откуда я знаю дорогу к Колизею, и двое из моих недавних знакомцев явно ёжились, подозревая меня в том, что я тут бывал. Один даже робко шепнул: «Как это, ты был тут?». Я сделал вид, что не расслышал. Он совсем перепугался: от «выездного» лучше ведь подальше держаться... Короче говоря, я с полной бессовестностью забавлялся страхами своих попуччиков, и только у самого Колизея, в начале эдакой пижонской импровизированной «экскурсии», рассказал, в чём дело.

Через два дня с лёгкой руки Сени, работавшего «встречателем» в конторе ХИАСа, меня приняли туда переводчиком на временную работу. Работал я четыре дня в неделю. Основная часть моей работы состояла в том, что я должен был объяснять причитающим бабкам, в основном одесским, самые разные бытовые мелочи. Бабок было немало. А с итальянскими и американскими сотрудницами ХИАСа я вполне объяснялся на моём жутком английском.

Однажды мне пришлось посетить квартиру, где в шести комнатах толпой жило человек пятнадцать карманников обоего пола. Всем этим кланом одесского воря управляла одна старуха-пахан, которая приходилась бабушкой большей половине клана. Она будила своих внуков-карманников, матеря и расталкивая их: «Трамваи вже пийшли, працювати пора, гопники!» И воры послушно вставали, потягивались и отправлялись на ближайшую трамвайную остановку «працювати». А в квартиру эту я попал, зайдя в гости к новому знакомому, жившему в Риме ещё с войны, бывшему польскому офицеру и литератору, обнищавшему и снимавшему в этой «малине» одну из комнат...

А Сеня Климовицкий не только устроил меня на работу, но и повёл меня в «Ассоциацию Интернациональной Литературы», проще говоря, в американскую контору, покупающую оптом русские книги, издававшиеся в разных западных странах, чтобы потом тем или иным путём переправлять их в СССР. Пути и в самом деле были разные: от матросов советских судов, заходивших в порты Италии и Греции, до сотрудников посольств и консульств, работавших в Москве и в Питере. Многие люди охотно провозили книги! Я-то хорошо это всё знал: ведь я сам находился более десяти лет (до самой эмиграции) на другом конце этой «книжной цепочки»! Сеня познакомил меня с сотрудниками конторы. Их было двое кроме директора: Михаил Аронович Гальперин, бывший скрипач, потерявший на войне руку, прекрасно говоривший и по-итальянски, и по-английски, и ещё итальянский учитель на пенсии Николай Демьянович Шалдырван⁹³, крымский татарин. До революции он года три учительствовал в Крыму, потом пошёл добровольцем в Белую армию. С 23-его года жил в Риме. Окончил Лувенский университет в Бельгии и снова вернулся в Рим учителем русского и французского. Шалдырван поглядел на меня с минуту, потом просиял и просто сказал: «Ну вот, я вас ждал полвека».

В тот же день Николай Демьянович познакомил меня с директором Римской «конторы». Директора звали Джек Стюарт,

⁹³ Вот о нём словечко из советской газеты: «...а также Н. Шалдырван, служивший в бандах Врангеля и бежавший с ними на Запад. В послевоенный период Шалдырван был связан с НТС, являлся сотрудником радиостанции «Свобода» в Мюнхене...» («Известия» от 25/2/77. Статья «Контора г-на Шиманского», о Галиче, Максимове, Бетаки и др.)

но сам он называл себя студенческим прозвищем Гейтор⁹⁴. Это был длинный рыжебородый парень, младше меня лет на пять-шесть. По-русски он говорил прекрасно. Гейтор окончил университет Беркли в Калифорнии, тот самый с которого начался американский «1968-ой». Год студенческий, сумасшедший, весёлый, бунтующий и, в конечном счёте, принёсший гигантские социальные перемены во многих странах, особенно европейских и заложивший основы сегодняшней свободы и раскованности, сегодняшнюю «неформальность» западного общества.

Поболтали мы о том о сём, и Гейтор предложил написать обо мне своему профессору, заведующему кафедрой славистики в Беркли, известному эмигрантскому критику Глебу Струве, авось тот возьмёт меня «в аспирантуру с преподаванием». Я поблагодарил, но предложил подождать, поскольку у меня были виды на Париж, да что-то ещё наклеивалось в Мюнхене на «Свободе», к тому же я хотел понять, что на самом деле представляет собой НТС, с которым я был связан уже более десятка лет. Забегая вперёд, скажу, что оказалось, — НТС — это почти остапо-бендеровский «союз меча и орала», но разобрался я в этом только года через два-три.

Удивительное было тогда время. Интерес Западной интеллигенции к русским эмигрантам был огромный и неподдельный, соответственно и возможностей работы у русского гуманитария было немало. Лет через десять ситуация сильно изменилась, и людям гуманитарных профессий, приехавшим в восьмидесятых, было гораздо труднее.

В общем, я не спешил, больше всего меня привлекала возможность работать на «Свободе», живя в Париже, а не в Мюнхене, возможность, о которой мне уже на второй день пребывания в Риме сообщили местные энтеэсовцы...

А с Гейтором мы с тех пор время от времени встречались. Потом я переводил все его очерки, публиковавшиеся в «Континенте».

⁹⁴ Гейтор — сленговое название аллигатора. (Реплика из какого-то популярного мультика «See You later, aligator» — стала в США студенческой поговоркой, от которой в быту осталось нынешнее выражение «see You later» в смысле «до свидания» или точнее, «пока», причём многие уже не понимают, откуда взялось оно).

Итак, летом 1973 года в Риме собралось 800 человек эмигрантов из СССР. Сущая ерунда по сравнению с концом семидесятых, когда в Риме скапливалось и по восемь тысяч ожидающих виз в Штаты, Канаду, Австралию...

После нескольких дней, проведённых в «Пансионе» синьоры Сильвии, мы, как почти все прибывшие с нами, поселились в Остии Лидо — дачном городке на море в двадцати минутах езды от Рима. Там было тогда довольно дёшево. Мы жили во втором доме от пляжа, восьмиэтажном, как и все соседние. В лифте надо было вместо нажима кнопки опускать какую-то фантастически мелкую монетку, кажется, десять лир (коробка спичек стоила тогда 50). А внизу в соседнем доме было типичное итальянское кафе-бар, где по утрам к превосходному кофе давали «корнетто кон панна»⁹⁵. И было всё это тогда вполне доступно даже для живших на пособие эмигрантов. Италия ещё была «дешевой страной».

Среди восьми сотен новых эмигрантов был в Остии с десятков человек, с которыми приятно было общаться, большинство же, как мне тогда казалось, представляло собой почти зоопарк, а скорее даже скотный двор. Сейчас я понимаю, что это были просто растерянные необразованные и испуганные люди, которых забросило в чужой и непонятный мир.

Эти люди, пользуясь тем фактом, что «все мы эмигранты», или как говорили одесситы, тем, что «все мы евреи», претендовали на общение, хватали за пуговицу, чтобы рассказать о своих горестях. Они нудно расспрашивали о всяких мелочах, и из каждого вопроса выглядывала их смертельная растерянность в незнакомом мире. Один из них, наиболее отважный, говорил, что ему довольно только два слова итальянских выучить: «пиво» и «сАсисЪки».

Самое интересное, что, оказавшись в Америке, многие из этих людей довольно быстро преуспели и естественно вписались в американскую экономику, пооткрывав магазины, рестораны, гаражи... А тогда, в Риме, от этой назойливой толпы надо было отгораживаться всеми способами.

⁹⁵ Роголики с густейшей сметаной.

Несколько раздражали, хотя больше смешили, болтавшиеся на улице около ХИАСа молодые и довольно хорошенькие израильтянки, которые приставали ко всем выходящим из подъезда и затевали с ними по-русски разговоры, сводившиеся к тому, что надо тут же из «этого гойского Рима «репатриироваться» в Израиль», и что американцы «обязательно всех иммигрантов надуют». Однажды мой тогдашний сосед и приятель Боря Хазанов важно сказал одной из этих патриотических дур, что если они будут и дальше тут околачиваться, то американцы могут прекратить всякую помощь их стране. Эту тираду Боря произнес по-английски, и в результате девица, приняв его за американца, исчезла, больше мы её и не видели. Другой девице он как-то сказал, что она бессовестно грабит своё государство, зря тратя командировочные — ведь нулевой результат её местечковой в советском стиле пропаганды сомнений не вызывает. На это девушка возразила, что только сегодня за полдня она «уговорила» три семьи. Тут в разговор вмешался я и вместо того, чтобы спорить, нагло пригласил эту хорошенькую агитаторшу «провести время в постельке, а не у ХИАСа на панельке». Кругом стояло с десяток любопытных, начался хохот — громкий и вульгарный хохот в стиле бендюжников. Понятно, что красotka вспыхнула и смылась...

Был среди эмигрантов человек, который особо назойливо набивался на общение, говорил, что он — режиссер, и что снял он шестьсот (!) фильмов. «Вот осёл, — сказал мне Боря Хазанов, а ещё одессит! Да ведь зачеркни он один нолик, ему американцы бы поверили! А так даже дамам в ХИАСе, и тем, а не только курам, на смех!».

И действительно молоденькая быстроглазая синьора Баттони, солидная «mamma italiana» синьора Бамбини, а особенно смешливая миссис Уотерман, прыскали в кулак, когда этот «режиссёр» входил за мной в их кабинеты. Потом его кубическая жена, мешая украинские слова с русскими, рассказала, откуда взялась эта цифра «шестьсот»: он был «помрежем» на телевидении, то есть таскал стулья, заботился, чтоб на столах в студии во время передачи были графины с водой, и прочее. Так что за двадцать лет работы он вполне мог «поучаствовать» в шести сотнях телепередач, которые и называл «фильмами».

Почти каждый хвастал тут былым величием. Продавец становился тут завмагом, слесарь — мастером цеха и т. д... Непо-

нятно было из рассказов только одно — зачем же они эмигрировали. Тогда я ещё не знал высказывания журналиста Солоневича, человека-легенды, который в начале тридцатых годов бежал с Соловков и сумел добраться до Парижа! Солоневич писал: «В эмиграции каждая болонка рассказывает, что в России она была сенбернаром».

Квартиру мы с Хазановыми сняли одну на две семьи: иначе прожить было бы трудно, хотя ХИАС платил в те времена не так уж плохо.

Борис Хазанов, московский инженер, был, как и я, зачислен в «продвинутую группу» на курсах английского языка. Мы с ним за какую-то смехотворную сумму купили машину марки «Иноченти» (местный вариант микро-Остина, а по-русски — «блядовозка») и ездили на ней в город. А еще мы съездили на этой же машинке в Венецию, во Флоренцию, в два-три менее известных города, ездили по римским окрестностям. Бензина наша малолитражка жрала совсем немного, да и тот был дешёвый: до первого нефтяного кризиса оставалось, как оказалось, ещё больше года.

Меня удивляло, как высокий Борис умел складываться, чтобы поместиться за рулём этой машинки. Но водил, как правило, он: официальных прав у меня ведь не было, и хотя в Италии риск был не так уж велик, но «беспачпортным» эмигрантам, жившим тут на птичьих правах, полагалось делать вид, что «их тут не стояло». Покупать машины ХИАС вообще-то запретил, и попадаться итальянской полиции, несмотря на весь её либерализм, не стоило. По воскресеньям мы с Борисом, пока наши жёны лениво кудахтали на пляже, отстоявшем от дома менее чем на сотню шагов, облазили методично Рим с холма на холм, и к отъезду из Италии уже очень неплохо знали Вечный город.

Уютнее всего я чувствовал себя не среди античных руин и не в окружении блистательного римского барокко, а в тихих кварталах, где на зелёных полянах стояли среди пальм двухэтажные особняки начала XX века. Все эти постройки «модерна» были похожи на особняк Кшесинской в Питере, или на московские особнячки, раскиданные в переулках Старого Арбата...

Я уехал в Париж только 26 сентября 1973 года, Борис — в Сиэтл, штат Вашингтон, США, в начале того же месяца, а Сеня Климовицкий — аж в Новую Зеландию. Наши «римские кани-

кулы», таким образом, длились с конца апреля по сентябрь, почти весь купальный сезон.

Впрочем, не такие уж это были каникулы: я работал в ХИАСе, мы занимались на курсах английского, да и переписка с разными странами тоже требовала времени.

Обычно после английских курсов мы приезжали в Остию часам к восьми. Как-то я задержался и возвращался из Рима один, на поезде. Начинались сумерки. Двух домов не доходя до своего, я увидел вдруг на балконе Ганю Понятовскую, филолога-москвичку. Она глядела на улицу — платиновая, седая прядь (химическая, разумеется) блестит в лунном и фонарном свете, а китайский в драконах халатик сверху до пояса распахнут. Мне показалось, что это она, заметив меня, распахнула его. Правда, не уверен. Она махнула мне рукой и, перегнувшись через балкон, сказала: «Подожди, спущусь сейчас, пойдём купаться?».

В Остии, если отойти шагов сто от последнего дома — на километры вдоль берега тянется сосновая роща «пинета», и вечером — ни души. Ганя халатик скинула, — а под ним вовсе ничего. И бегом в воду: «Догоняй, ну!» Я побежал за ней, схватил за плечи, остановил и сообщил ей, что плавать почти не умею. И заодно прижал покрепче...

«Ну да, ну да! — крикнула она капризно, — и так ведь понятно!»...

Мы стояли в мягких ленивых волнах почти по самые плечи. Я медленно разжал руки, отпустил её. А она даже и теперь так и не шевельнулась. «Доволен?» — спросила деловито, а сама всё так же стоит, закрыв глаза.

«А ты как же?!»

«А я всегда так. Никак. Поэтому каждому, кто просит, никогда и не отказываю, не жалко ведь, и любопытно, ну а вдруг...

Мы вышли на берег, в лунном свете она вся была жемчужная. И уже не в воде, а на тёплом песке я очень старался, чтоб подольше, но результат для неё был тот же. «Вообще приятно. Но... никак!». Мы сели. «Так вот, я это из любопытства, — сказала она, — мужей у меня было четыре...»

«И со всеми так?»

«И не только с мужьями, как видишь...»

Меня вдруг осенило: «Ганя, а ты девочек не пробовала?»

«Нееет...»

«А если хорошо подумать?»

«Может, ты и прав, иногда ведь люблюсь такими молодыми, стройными, только стыдно ужасно...»

«А если мы сейчас проверим, а?» — сказал я весело.

«Это как же???»

«Ну, ты же не маленькая — ясно, как...»

Я внимательно на неё глянул и пошевелил кончиком высу-
нутого языка... И трех минут не прошло — все вышло, как я и
предполагал. Да ещё как мощно! «Вот как это бывает!!! Да,
а я...» — она так и не решилась выговорить, я ей помог: «Ну да,
лесбиянка природная, ну и что?⁹⁶ Тебе, поверь, не хуже будет,
чем другим бабам... зато гарантия от абортостопроцент-
ная! — и добавил — а в Америке этим никого не удивишь, заво-
ди себе девочек, сколько хочешь...» Она обхватила меня полны-
ми солёными руками и поцеловала: «Если бы ты знал, как я
тебе благодарна!»

Через три дня мы с Ганей встретились на базаре, и она сооб-
щила, что уже познакомилась с молоденькой итальянкой, и
сама ей дала понять. И...

«Ну?»

«Прекрасно, даже, извини, намного чудеснее, чем тогда, на
пляже. И теперь — она помялась, — вот *этого* я мужикам не
позволю, ни-ни! Только для женщин! Вот когда мне стало ясно,
зачем это бабам надо!!!»

Я страшно удивился, что ни один из её мужиков, хоть слу-
чайно... Но вот никто и никогда, хотя ей было далеко за трид-
цать! То ли потому, что она сама стеснялась, то ли почему ещё,
не знаю. Когда мы уже подходили к её дому, Ганя сказала: «Ес-
ли тебя не отталкивает, что я холодная, так приходи. Только *вот*
это повторять не будем, а так, по-обычному...»

Я заходил нередко. Половину времени, впрочем, мы с ней
тратили на споры по теории стиха...

Возобновилась моя переписка с Н. Б. Тарасовой. Письма от
нее я получал в Риме «до востребования», чтобы никто не уви-
дел обратного адреса. Наталье Борисовне хотелось, чтобы я об-
основался во Франкфурте. Она писала мне еще в Питер, что

⁹⁶ Впрочем, это не точно: изредка всё же встречаются женщины с чисто
клиториальным типом оргазма, и далеко не все они лесбиянки!...

меня, вероятнее всего, возьмут редактором в издательство «Посев». «Грани»? «Посев»? — ну, какой из меня редактор или даже корректор? Так думал я, не предполагая тогда, что проработаю почти двадцать лет в «Континенте», который тогда еще даже не намечался. Он появился только в конце 1974 года.

Я поблагодарил Наталью Борисовну и предложил отложить этот разговор до личной встречи. Я уже много лет был членом редколлегии журнала «Грани» и хотел продолжать им оставаться. Это ни к чему особенно не обязывало. Одновременно с переговорами с Тарасовой я выяснял подробности про радиостанцию «Свобода». Понял, что центральная станция в Мюнхене, где было уже около пятисот человек русских (в основном из военной, «второй» эмиграции), представляет собой банку с пауками. Причем, среди новых сотрудников есть и евреи, а среди бывших власовцев — некоторое число антисемитов. Сотрудники интригуют и грызутся за «грейды» и «степы»⁹⁷, а кроме того, на службу надо приходиться в галстуке, этого требовали американцы. Всё высшее начальство, естественно, было американское. Короче, в Мюнхене работали не столько журналисты, сколько государственные чиновники, и отсиживали — от звонка до звонка. Такая была свобода на «Свободе»! Так что «Thank you ever so much, indeed!».

Я предпочёл Париж: там была работа в филиале того же радио, но не штатная, а в качестве *free lance*, то есть вольным журналистом на договоре, которому платят «поштучно» за передачи, получает он, конечно, раза в три-четыре меньше, чем штатный, но зато времени навалом!

Из Рима я написал письмо в Бразилию поэту Валерию Перелешину, получил от него ответ, наша переписка стала ин-

⁹⁷ Грейд — на государственной службе в США «уровень», нечто вроде петровских 14 чиновничьих классов, сколько их этих грейдов, не знаю, и не знаю, кто имеет высший, может быть президент? Журналисты на «Свободе» — от одиннадцатого (девочки, не совсем и журналистки, скорее архивницы или вырезальщицы из газет), и до пятнадцатого — (зав. отделами, или «программами»). Напр. А. А. Галич, зав. всей культурной программой «Свободы», имел пятнадцатый. Редактор, в зависимости от стажа и «заслуг»(?) тринадцатый, иногда четырнадцатый. Степы — внутри грейда десять ступеней, это уровень зарплаты, зависящий от стажа или неизвестно от чего.

тенсивной, и он прислал мне свою книжку, а я ему кое-что из стихов.

На один вечер из Парижа приехал в гости к художнику Гарику Элинсону Миша Шемякин. Он тогда жил во Франции уже больше года. Дал мне свой адрес и телефон. Ещё когда-то в Питере Шемякин сделал иллюстрации к моим переводам из Эдгара По, но опубликовать там это отдельной книжкой нам, естественно, не удалось.⁹⁸

Приезжал брат Зинаиды Алексеевны Шаховской, американский православный архиепископ Иоанн Сан-Францисский, в миру Дмитрий Алексеевич Шаховской, по «поэтическому» псевдониму — Странник. Стихи, надо сказать, он писал чудовищные.

Поглазеть на «арчбишопа» собралось у нас человек пятнадцать: кроме нас и Хазановых — Ганя, Серёжа Лурье (муж Маши Эткинд), киношник Женя Шлюгляр, известный московский биолог и шутник Серёжа Мюге, мой приятель питерский художник Гарик Элинсон и ещё не помню уж кто. «Странник» предложил почитать стихи и, естественно, зачитал нас какой-то дурацкой графоманией. Потом он долго объяснял, что такое октавы: искренне думал, что никто из нас этого не знает. Потом стал читать какие-то октавы... «духовные».

Когда он наконец заткнулся, я сказал, что у меня тоже есть октавы и прочёл несколько смешных, отчасти не слишком пристойных. Он послушал и, как только я замолк, тут же, злобно покраснев, стал прощаться — уехал, жутко обиженный, с таким видом, будто октавами никому, кроме православных архиепископов, и писать-то не разрешается...

Когда я уже в Париже рассказал об этом его сестре Зинаиде Алексеевне Шаховской, она заметила, что брат ее с пелёнок был

⁹⁸ С разрешения тогдашнего директора Эрмитажа ак. Артамонова была году в 70-м в подвале музея устроена выставка «Самодельные художники — сотрудники Эрмитажа», где свои работы показывали Шемякин, Уфлянд и ещё кто-то из молодых художников, работавших в музее грузчиками и такелажниками. На ней и были выставлены мишины рисунки к «Колоколам» Э. По. Был скандал, выставку закрыли на третий день, а художников завхоз Эрмитажа, бывший «похоронщик» Союза Писателей, стукач и жулик, заставил поливать из шлангов Зимнюю канавку горячей водой, «пока не растает».

очень обидчив. Но в поэтах Зинаида Алексеевна его всё же считала, что делать — младшенький! Впрочем, Евтушенко, тоже держит этого «Странника» за поэта — по его же собственному свидетельству.

И ещё одно знакомство — Эдуард Штейн, преподаватель Йельского университета, библиограф и международный мастер по шахматам. По происхождению польский еврей, уведенный родителями из Варшавского гетто по знаменитому «туннелю», затем москвич, окончивший в СССР и среднюю школу, и университет, затем снова поляк, а теперь уже несколько лет, как американец. В бытность свою поляком он тренировал по шахматам кардинала Войтылу. Будущий папа Римский играл тогда, по мнению Штейна, на твёрдый первый разряд.

С Эдиком мы сразу подружились. Он пробыл в Риме дня три и куда-то поехал по шахматным делам. Потом мы регулярно перезванивались и встречались до самого конца его жизни. Он часто гостил у меня в Париже, приезжая то по книжным, то по шахматным делам, а я дважды был у него в Нью-Хейвене.

Еще я получил в Риме письмо из Парижа от Никиты Алексеевича Струве, он предложил мне работу в Женевском университете ассистентом профессора Жоржа Нива, известного слависта. Но к тому времени я уже выбрал работу вольного журналиста на радио «Свобода», так что я только поблагодарил Никиту Алексеевича и сообщил ему о своих «легкомысленных» планах.

Потом на два дня приехала из Парижа З. А. Шаховская. Мы пришли с Ветой к ней в гостиницу. Перед этим я условился с Зинаидой Алексеевной по телефону, что мы с ней сделаем вид, будто незнакомы. Она не хотела, чтобы кто бы то ни было знал что-либо о моих давних контактах с западными людьми (и разведками). Я тоже всегда придерживался точки зрения, что лучше, чтобы о тебе знали поменьше.

Кстати, не могу не отметить случайную «объективность» советской печати: меня ведь ни разу не обозвали ни шпионом, ни диссидентом, а только «идеологическим диверсантом», им я и являлся года с 1959, когда начал получать книги с Запада и раздавать их в Питере. А вот публиковать свои стихи на Западе я тогда не хотел. Я считал, что «подпольщики» не должны отсвечивать, а открытые «диссиденты» не должны широко общаться с подпольщиками.

Почти все свои чисто политические старые связи я от Веты тщательно скрывал, потому что она долго боялась НТС, боялась ЦРУ, боялась за семейство своего брата в Питере, в общем, много чего боялась, и не без оснований...

Мы не виделись с Зинаидой Алексеевной примерно пятнадцать лет. Она стала за это время весьма пожилой дамой. А ее муж художник и дипломат, граф Малевский-Малевич умер незадолго до нашей с ней встречи в Риме.

Зинаида Алексеевна долго меня обо всем расспрашивала и пообещала позаботиться о французской визе, считая, что она ее сделает «быстрее, чем это радио будет возиться». И точно сделала быстро: связи у неё были немалые. А Вету она официально пригласила работать в «Русской Мысли».

Вот и кончилась глава о Риме, о моем любимом городе. А получилась она не о Риме, а обо всякой ерунде. Но о Риме нельзя написать всего лишь главу — хочется целую книгу.

...В белом фонтане вода стеной.
Длинная пьядца Навона.
Жарко? Так прислонись спиной,
Охладит любая колонна,
Даже если ей
только триста лет,
Опыт с жарой бороться
У нее есть,
а у тебя — нет,
И ещё — как вода из колодца —
Воздух из тяжких церковных дверей
Прохладою по ногам...
Не знаю, спускался ли Пётр
с этих вытертых ступеней,
Но Микеланджело — там!
Поставь, если хочешь свечку. Возьми.
А лучше — стань частью от
Улиц, где смешаны боги с людьми,
И с этим светом — тот.
Ищешь ты Бога, или богов —
Этот слоёный пирог
Из семи холмов
с начинкой веков
И тебе кусок приберёт:
Вдоль парапета платаны толпятся

Над желтой водой реки.
Мимо таверн, церквей, палаццо —
Весёлые каблучки.
Женский смех на руинах миров
Воистину неистребим,
Вечен Amor — А наоборот
Читается Roma — Рим.
Но это известно, само собой,
Зачитано аж до дыр —
По-русски есть перевертыш другой:
Рим — Мир.
И вот со всех семи холмов
Катится ночь. И вот —
Неизвестно кто, зачем, у кого
Подсохшие лавры крадёт —
И смешиваются
Стен квадраты
С колоннами,
И спешиваются
Императоры,
А пешие статуи
Становятся конными.
Над ними фонарный белый шар,
И если взглянуть построже —
Неважно, форум или базар —
Почти что одно и то же!
...Во все глазницы глядит на Рим,
Вокруг себя Колизей:
Вдруг снова сведут с Палатина над ним
Больших полосатых зверей?
И цезарь в ложу изволит войти
В лавровом венке? Да нет —
Тут полосаты только коты
А лавром пахнет обед...
(Из цикла ROMA—AMOR)

ПАРИЖ (1973—1974)

*«Русская Мысль». В. Перелешин. В. В. Вейдле.
Н. Струве и книга стихов. Два Лифаря. Полковник Раллис.
Радио «Свобода», Н. Н. Рутченко.
Пан Ризер и дама с одной камелией. Книжная контрабанда*

Шаховская встретила нас на Лионском вокзале и сразу повезла на машине в редакцию «Русской мысли». Дорога шла через такой узнаваемый Париж, тот самый, в который я столько раз всматривался на фотографиях: улица Риволи с аркадами, площадь Согласия, Елисейские поля, площадь Звезды...

А на второй день после моего приезда в Париж в редакцию «Русской мысли» заявился из Бразилии Валерий Францевич Перелешин! Он путешествовал по Европе и, зная, что я должен оказаться в Париже, подогнал своё расписание так, чтобы мы сумели повидаться. Причём, в Рим он мне не сообщил, что приедет, решил, что сюрпризом интереснее. Встретившись после полугодовой переписки, мы оба сразу почувствовали, что мы очень хорошо знакомы.

Перелешин писал стихи по-русски, получил в Китае филологическое и юридическое образование, перевел на русский немало стихов китайских классиков... Он поражал блестящей памятью и универсальной образованностью. А тут еще оказалось, что он только что выпустил первую книжку написанных по-португальски стихов. И удивляя окружающих, в русском кабаке «Петербург», против православной церкви на улице Дарю, Перелешин стал громко читать свои стихи, сначала португальские, потом миниатюры по-китайски, потом их автопереводы на русский, а закончил несколькими новыми сонетами. Сонеты были написаны по-русски и посвящены Жене Витковскому, который нас с Перелешиним, по сути дела, и познакомил, снабдив меня перед отъездом его адресом.

Потом Валерий Францевич сказал, что ему сегодня шестьдесят лет. Вот так совпадение: мне в этот день, 29 сентября 1973 года, исполнилось сорок три. По этому поводу мы с ним выпили пару бутылок вина, и я прочёл ему стихотворение, написанное в мой первый вечер в Париже:

В окна мне глядят Юпитер и Париж.
Где-то там — ночная питерская тишь.
А в Воронеже — вороны на крестах,
У них чёрные короны на хвостах.
И растаяло созвездье Гончих Псов,
И пластается туман из-за лесов,
Где молчит, как берендеева страна,
Вольной Вологды белесая стена.
А за ней — морозцем тронутая ширь,
Там затерян Ферапонтов монастырь,
Там над озером, где низкая трава,
Тают в воздухе неспетые слова,
Цвет лазурный не отдавшие зиме —
Дионисиевы фрески в полутьме.
Там, в приделе, за безлюдный этот край
Заступись ты, Мирликийский Николай,
За осенний, за желтеющий рассвет...
Помяни, что мне туда дороги нет,
Помяни, что в Граде-Китеже живу,
Только воду осязаю, не траву,
Помяни, что я молился за леса
И над озером тугие паруса,
Ты, взлетающий в подкупольную высь,
За меня, святой Никола, помолись...

28 сент. 1973, Париж

Вернувшись в гостиницу, я перепечатал Перелешину экземпляр, благо портативная машинка у меня всегда с собой была, а ксероксы даже в Париже тогда были ещё редки.

На следующий день мы встретились снова, и наши разговоры затянулись у него в гостинице уже до утра. Он подарил мне новую книжку переводов из китайских классиков «Стихи на вее-ре». В отличие от профессора В. В. Алексеева, переводы которого почему-то считаются в России классическими, Перелешин, как и блестящий питерский переводчик А. И. Гитович, переводил китайцев в рифму. По его словам китайские стихи, прочитанные вслух, звучат глубоко рифмованными, и «белый» стих Алексеева, который мне кажется неприятно скучным, на Перелешина производил то же впечатление.

На четвёртый день Перелешин улетел, а вскоре прислал мне из Рио-де-Жанейро свою книгу сонетов «Ариэль», посвящённую

Жене Витковскому, с надписью «На память о «Парижскихъ ночахъ». Он упрямо писал по старой орфографии, даже редкостную «ижицу» в каком-то письме употребил...

У меня есть все его книги, и только одна из них, последняя, без его дарственной надписи. У него — почти все мои, вышедшие до начала девяностых. Умер Перелешин в 1992 году, но года за три-четыре до того переписка, становившаяся всё менее интенсивной из-за его всё стужавшихся болезней, постепенно прекратилась совсем.

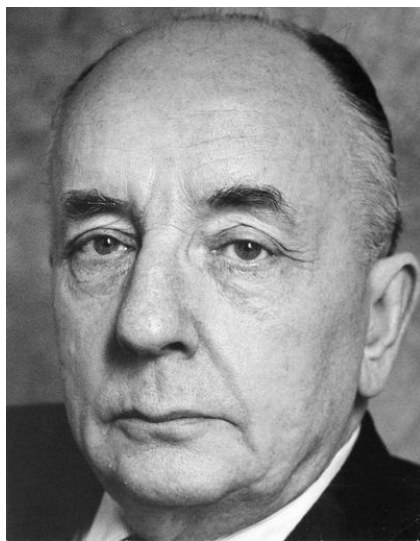
И еще одна очень важная для меня встреча произошла почти сразу после моего приезда в Париж. Я тогда проводил много времени в «Русской мысли», трепался с сотрудниками, которые рассказывали мне самые разные байки о парижской жизни. И вот однажды К. Д. Померанцев позвал меня к себе и спросил, Павлович я, или нет. Услышав, что да, он, ничего не объясняя, передал мне лежавшую на столе телефонную трубку. Я растерялся, алёкнул и услышал голос. Он назвался Владимиром Васильевичем Вейдле, сказал, что был когда-то знаком с моим отцом и добавил, что приятель юности моего отца, художник Юрий Анненков, «просит Вас побыстрее прийти к нему, пока он, Анненков, ещё дышит. Езжайте ко мне, пойдём вместе».

Я поехал по указанному адресу. Дверь открыл Вейдле, огромный и слегка одутловатый, уже в шляпе, в пальто и с тяжёлой тростью. Мы поехали с ним на метро к Анненкову, к которому нас пустили только на четверть часа. Чувствовал он себя явно плохо, но для меня увидеть живого Анненкова, знакомого по старым альбомам, было каким-то вневременным чудом. Показалось, что не только Анненков, но и все давным-давно исчезнувшие люди вдруг ожили и оказались вовсе не где-то в прошлом времени, а вот тут, на парижских бульварах, и с ними можно разговаривать! Может, не только эмигранты, а Блок и Маяковский тоже в Париже? — мелькнула на миг идиотская мыслишка. Но следы Серебряного века, постепенно бледнеющие и стирающиеся, я ещё долго замечал то тут, то там...

На обратном пути Вейдле пригласил меня зайти к нему. Сразу сказал, что ему понравились мои стихи, которые он видел в «Русской мысли» и в «Гранях». Расспрашивал о самых разных вещах, сказал, что обязательно напишет предисловие к моей

книге, которую, как он думает, охотно издаст или «Имка-Пресс» тут в Париже, или «Посев» во Франкфурте.

С тех пор я бывал у него не реже раза в месяц. Иногда он предлагал пойти прогуляться. Куда именно он меня поведёт, он и сам обычно не знал, но, как правило, мы оказывались в местах его молодости, в местах довоенной парижской жизни. Особенно живым и «тогдашним» мне показалось кафе «Deux magots», а Вейдле показывал: «Вот тут, за этим столиком у окна, как говорят, обычно сидел Аполлинер; а вон там, в центре за круглым столиком — Корбюзье с приятелями, его я нередко тут встречал; а в этом тёмном углу, только немного позже, было постоянное место Хемингуэя, который говорил, что лучше сидеть в тени, чтобы не видели, что у него под свитером рубашки нет — обедать каждый день в кафе он мог себе позволить, а вот рубашка, это тогда было сложнее...».



В. В. Вейдле.

Он водил меня в сад Palais Royal, в парк Butte Chaumont, ещё куда-то. И всюду вспоминал о писателях и художниках, с которыми дружил, или просто был знаком. В нем жил Париж тридцатых-пятидесятых годов, и казалось, что всё это было только вчера. Вейдле когда-то был молодым профессором Петербургского университета, читал там историю искусств, а в 1924 году, вскоре

после высылки многих из его коллег, эмигрировал.⁹⁹ Кроме искусствоведения, он занимался теорией стиха, написал по ней несколько работ и в послевоенные годы был отмечен французским орденом «кавалера заслуг в литературе».

Главные книги Вейдле все-таки искусствоведческие, но рассчитаны они не на специалистов, а на широкого образованного читателя. Одна из лучших — «Рим». Это не путеводитель, не история искусств, это лирическое эссе, требующее от читателя немалых знаний и в истории архитектуры, и в истории религий. Несмотря на популярность изложения — никакого «ликбеза». Сами извольте и понять, и почувствовать. Это книга-собеседник, а не книга-учитель. Такая была манера общаться, хоть на бумаге, хоть устно, у этого человека, одинаково легко писавшего книги по-русски, по-французски, по-итальянски, а статьи ещё и по-английски... Вот только стихи... Пусть они вторичны, пусть даже просто слабы, но стихи он писал только по-русски.¹⁰⁰ И говорил, что не представляет себе ни у одного поэта ни одной полноценной строчки на ином языке, кроме родного. Да и то верно: французские строки Пушкина или немецкие Цветаевой, даже английские стихи Бродского (хоть тут, пожалуй, есть исключение) — никак не на уровне русского творчества этих поэтов...

Никита Струве, главный редактор «Имки», предложил мне принести ему рукопись книги стихов, и спросил, сколько у меня лежит неизданных книжек. Когда я ответил, что шесть, он сказал, что печатание шести книжек растянется года на три, и тут же посоветовал составить из них всех «Избранное», где каждый раздел будет соответствовать одной из книжек. Так получилась книга «Замыкание Времени», около двух сотен страниц «в подбор». Вейдле написал предисловие, и когда через месяц из типографии Л. М. Лифаря пришел тираж, то половина его была по предварительной договорённости тут же куплена «конторой Аниты Рутченко»,¹⁰¹ а остальные разошлись по русским книж-

⁹⁹ 120 учёных Питера и Москвы были высланы на известном «философском пароходе» по приказу Ленина в 1922 году.

¹⁰⁰ Единственная книжка стихов В. Вейдле «На память о себе» издана в Париже в 80-х годах профессором Рене Герра (см. электронное воспроизведение книги здесь: http://www.vtoraya-literatura.com/publ_109.html).

¹⁰¹ Аналог римского АЛИ, «конторы Гейтера».

ным магазинам Парижа, Мюнхена, Франкфурта и ещё не знаю уж каких городов.

Мне сообщили, что она продаётся в Нью-Йорке и в Бостоне, а Эдик Штейн специально позвонил сказать, что видел её в русском книжном магазинчике аж в Сан-Франциско. Потом мне позвонил хозяин типографии Л. М. Лифарь, рассылавший книгу, и сказал, что раз она «так быстро разбежалась», то он предложит издательству сделать ещё тысячу экземпляров. Струве согласился, и дополнительный тираж через месяц был готов. Фон обложки, вместо серого, Лифарь сделал на этот раз темно-синим. Две тысячи, да ещё для книги стихов, считалось для эмигрантского издательства очень большим тиражом, как мне объяснил тот же Лифарь, который, привезя мне домой сорок экземпляров, «чтобы я мог дарить, не оглядываясь», пригласил меня поехать с ним: он хотел познакомить меня со своим братом — великим танцовщиком и в то время главным танцмейстером Парижской Оперы. Мы оставили машину прямо у входа в какое-то очень претенциозное кафе на площади Альма и вошли. «Великий Лифарь», когда-то «молодой спутник Дягилева», сидел за столиком и потягивал «Перно» — разведённую водкой анисовку, любимое питье южных французов.



Разговаривая, я исподтишка разглядывал звезду балета. Был он тогда уже довольно пожилым человеком, и первым делом по-

жаловался, что стоило ему только перестать танцевать, как он немислимо растолстел, и что вообще, наверно, он неправ, что ушел со сцены, может, надо было всё же продолжать танцевать. Его речи звучали полувопросительно-полуутвердительно, и сразу становилось ясно, как нелегко старому танцору, хоть и работает он главным танцмейстером Парижской Оперы... Я вспомнил Лифаря, когда в той же Grand Opera в последний раз пела Галина Вишневская. Она пела Татьяну, и это было ее прощание с парижской публикой. Уж на что Вишневская — человек выдержанный и вовсе несентиментальный. И то...

На радио моя работа началась с того, что меня отправили рецензировать передачи. Рецензированием занималась отдельная контора, которой заведовал пожилой американец Макс Ефимович Раллис, куривший кривую трубку и, кажется, никогда не выпускавший её из зубов. Ироничный и очень доброжелательный, как выяснилось вскоре, полковник ЦРУ и главный резидент ЦРУ в Париже, Раллис был сыном одного из руководителей русских меньшевиков Е. Израэля.

По его предложению для Института Общественного Мнения при ЦРУ я как-то составил довольно длинный вопросник, в котором ставились вопросы обо всех радиостанциях, вещавших на СССР. Вопросов о работе «Свободы» было намного больше, чем вопросов о других станциях, и сами вопросы, касающиеся «Свободы», были детальнее прочих. ЦРУ хотело понять, собрав мнения слушателей, что даёт именно радиостанция «Свобода» со своим «специфическим радиостилем». А слушатели, которых пытались опрашивать, это были иногда советские моряки в разных портах Европы, иногда всякие другие граждане, приезжавшие в Париж «в командировки, или ещё как». После недели чистого рецензирования я начал делать и свои передачи. В редакции радио я познакомился с четырьмя очень разными людьми.

Александр Васильевич Бахрах, заведующий парижской «культурной программой», когда-то был секретарём Бунина. Близкий приятель М. И. Цветаевой, особенно в берлинский и пражский периоды ее жизни, он теперь заведовал культурными передачами из Парижа. По основным интересам он был пушкинист, и недавно ушел из университета на пенсию. Ну а еще,

как в обеденный перерыв сразу выяснилось, большой любитель и знаток китайской кухни¹⁰².

Николай Николаевич Рутченко был до войны аспирантом на истфаке ленинградского университета. Солженицын пишет о нем в «Гулаге», утверждая, что Рутченко вывел болотами из блокадного города большую толпу студентов-дезертиров, не желавших иметь никакого отношения к войне.

Сам Рутченко, однако, никогда не рассказывал мне ничего подобного, а только сообщил, что под Ленинградом он сдался в плен. Потом, когда в 44-ом году генерал Власов набирал солдат и офицеров, Рутченко стал лейтенантом в Первой (единственной!) дивизии, единственный бой которой был, как известно, бой за освобождение Праги от немецкого гарнизона...

Советские войска обогнули город: то ли Сталин, то ли Жуков отдал секретный приказ не помогать (!) пражскому восстанию, ведь никакого приказа начать восстание чешские коммунисты-подпольщики из Москвы не получали, так что восстание, хотя и организованное «комитетом», в котором было большинство коммунистов, сочтено было в Кремле стихийным, а, следовательно, некоммунистическим. Тем более что весь этот «пражский эпизод» произошёл уже после падения Берлина! И тут-то врезалась первая (и единственная) Власовская дивизия, только что сформированная при помощи немцев из русских пленных, и выбила своих же немецких «союзников» из Праги. А советские войска в это время стояли за Влтавой и ждали, пока немцы зальют город чешской кровью. После этого боя Николай Николаевич остался с половиной своей роты. А когда из немецких тюрем вышли один за другим руководители ещё довоенного НТС, Рутченко присоединился к ним, и его, как и многих бывших советских людей, американцы тщательно скрывали от англичан, аккуратно выдававших всех бывших пленных советским комендатурам¹⁰³.

¹⁰² Книги А. В. Бахраха — «По памяти, по записям» и «Бунин в халате», (о которой я говорил без знаков препинания: Бунин в халате Александра Бахраха).

¹⁰³ Американский журналист, а в восьмидесятых годах директор радио «Свобода» (на этот раз не чиновник, а настоящий, крупный журналист) прекрасно говоривший по-русски, Джордж Бейли, спас несколько сот бывших советских людей, военнопленных, от выдачи гебешникам. Он был в

Жена Рутченко Анита, или Анна Анатольевна, была дочерью «первых эмигрантов». Она жила во Франции с трехлетнего возраста, с 1922 года. Заведовала «книжной конторой», такой же, как римская. Кстати, в Париже эта контора называлась СІЛ — Centre International Littéraire.

Третий же сотрудник парижского филиала «Свободы», тбилисец Златкин (имени не помню), был племянником слегка знакомого мне главного редактора русских книг в Грузинском Госиздате. Златкин в том же 1973 году «проехал через Израиль», попал из Израиля в Париж, проработал при мне с месяц и в один прекрасный день исчез. Как мне рассказывали, его уволили в течение нескольких часов после того, как один из недавно эмигрировавших братьев Маркишей, сыновей расстрелянного в 37 году советского поэта Переца Маркиша, под присягой показал на сенатской комиссии США, что Златкин принимал участие в допросе его, Маркиша, в Москве на Лубянке.

Через месяц после увольнения, как мы случайно узнали, Златкин снова оказался в Москве. Мне это ничуть не показалось удивительным, потому что Златкин, «редактируя» тексты моих передач из цикла «Поэт говорит о поэзии», совершенно по-советски выкидывал самые острые места. А передачу о стихах Евтушенко, к примеру, вообще не принял от меня даже как тему! Короче, как потом говорил о нём М. Е. Раллис, «мелкий агент влияния на крупном по возможностям месте».

Четвёртой сотрудницей радио «Свобода» была москвичка Фатима Салказанова. Она была замкнутой, немногословной, и я, честно говоря, поначалу удивлялся, что во многих отзывах из СССР о работе «Свободы», Фатиму называли лучшим радиожурналистом этой станции. И только позже, прослушав в конторе Раллиса несколько её передач, я удивляться перестал. Из людей, начинавших приблизительно одновременно, Фатима проработала на «Свободе» чуть ли не дольше всех и ушла на пенсию с должности заведующей русским отделом. И еще о ней, к делу не относящаяся: когда-то в Москве школьным учителем литературы в ее классе был Натан Эйдельман.

1945 г. одним из посредников в отношениях между американскими и советскими оккупационными администрациями в должности офицера связи. Во времена «Континента», который он от ЦРУ курировал, он много помогал нашей редакции. Он и рассказывал мне, как сам отправил Рутченко в «безопасное место».

Начальник всей парижской конторы, чиновник высокого грейда мистер Коди, имел красный от пива нос, серый костюм, не сходившийся на брюхе, и преклонный возраст. Месяца через три после моего появления на станции, он ушёл на «пьянсию», как выразился я по этому поводу. Все были этому очень рады, ведь толку от него не было никакого, поскольку мистер Коди не понимал ни слова по-русски.

Через некоторое время после того, как я начал делать свои еженедельные передачи о поэзии, мой однокурсник по Литинституту Эма Коржавин, поселившийся в Бостоне, предложил «Свободе» идею «контрпередач». Заключалась эта идея в том, чтобы каждый раз после моей передачи о том или ином поэте, в эфир выходил Коржавин. Он по его замыслу должен был рассказывать о том же самом поэте, но «по своему». Затея выдержала всего четыре передачи: дело в том, что Наум не о поэте говорил, а просто спорил. Вот как заканчивались три из его четырёх «контрпередач»: «Вообще Василий Бетаки сторонник такой поэзии, для которой весь мир и его реальные приметы ничто по сравнению с *внутренним миром* поэта, который вообще непонятно откуда берётся и на фоне чего проявляется».



Н. Коржавин с женой.

Этот «рефрен», вполне в стиле соцреалистической критики, звучал по «Свободе» комично. При том, что Коржавин — чело-

век до крайности антисоветский, такого рода высказывания всё-таки очень походили на окрик из Москвы, о чём я и сказал своему бывшему однокурснику, специально позвонив ему в Бостон после первого же его выступления.

Прекратились эти его «контрпередачи» только, когда директор радиостанции в Мюнхене, бывший московский корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Фрэнсис Рональдс прослушал одну из них и поразился следующей фразе: «Ну, а об этом я буду говорить с вами и спорить с Бетаки после других его передач». Рональдс, как мне говорили, очень смеялся и, процитировав Эму на каком-то совещании, сказал: «мистер Коржавин из Бостона, как мне кажется, угрожая новым спором, заранее знает, о чём и, главное, как будет говорить из Парижа через неделю мистер Бетаки».

Примерно тогда же «Свободу», вещавшую на русском и прочих языках «народов СССР», слили в одну контору со «Свободной Европой», передававшей на языках «народных демократий». Начальником парижского отделения стал старый польский интеллигент, милейший сибарит, похожий на Кола Брюньона, большой, округлый, добрый и остроумный «пан Ризер». Когда-то он был лондонским корреспондентом «Свободы», потом одним из редакторов в Мюнхене, и вот этот «подданный её Величества», у микрофона известный как «Виктор Шиманский», перебрался в Париж. Природный поляк, а по менталитету, пожалуй, всё же англичанин, Ризер прекрасно говорил по-русски и по-чешски. Так что свои зачастую очень весёлые передачи он делал на трех языках. В первый же день работы Ризера на радио, когда он по одному знакомился со штатными и внештатными сотрудниками, к концу рабочего дня к нему в кабинет впорхнула его жена. Она была, по-моему, намного моложе его, примерно моя ровесница, и одета несколько экстравагантно — в пёстром коротком платье колоколом с предельно возможным декольте и с живой камелией в черной замысловатой причёске. Я в тот момент как раз беседовал с Ризером. Он представил нас друг другу и тут же объяснил, что она черкешенка, родившаяся в Лондоне.

Ризеры пригласили меня спуститься с ними вниз, в кафе. Мы разговаривали с паном о польских поэтах запивая чёрным пивом. Она молчала, но разом оживилась, когда отчего-то за-

шла речь о лошадях и скачках. Поняв, что я в этом немного разбираюсь, она тут же предложила мне иногда сопровождать её на ипподром, потому что «Виктор там засыпает, несмотря на рёв тысячеголосой толпы», и ей делается скучно. Я охотно согласился. После скачек мы с ней посидели в кафе. А когда я проводил её до дому, она настояла, чтобы я поднялся к ним «выпить стаканчик с Виктором», что я с удовольствием и сделал, в результате просидев у них ещё пару часов.

Оказалось, что свежую камелию ей приносят каждый день из цветочного магазина в соседнем доме. Мы бывали с ней на скачках примерно раза три-четыре в год в течение нескольких лет — до самого выхода Ризера на пенсию и их отъезда «домой», то есть в Лондон. Но ни я, ни она никогда не играли, хотя, почти в половине случаев, верно угадывали победителей. Азарт и любование лошадьми были для неё такими же несовместимыми вещами, как для меня.

После моей передачи о песнях Жака Бреля Виктор Владимирович попросил Толю Шагиняна спеть их по-русски в моих переводах. В результате получилась передача, в которой Жак Брель «в подлиннике» перемежался с Шагиняном певшим ту же песню в переводе. А комментарии принадлежали Ризеру. Потом части этого концерта передавались по «Свободе» несколько раз.

Между тем в советской печати разгулялась очередная идеологическая «кампания» против эмигрантов вообще и против книжных контор в частности. Видно, кого-то в Москве всерьёз беспокоили масштабы проникновения «тамиздата» через «границы на замке», — стало похоже, что замок начал ржаветь. А может быть, соответствующие советские организации просто хотели показать, что работы у них невпроворот, и получить на этом побольше штатных «единиц» и ставок. Так или иначе, началось с того, что «Литературка» дала чуть ли не целый разворот под огромным заголовком «Лютеция 8». Статья сообщала советским читателям об идеологических диверсиях. Главный удар, что видно из заголовка статьи¹⁰⁴, почему-то пришелся по римской книжной конторе и по Джеку Стюарту лично, которого, не разобравшись где имя, а где кличка, «Литературка» совершенно серьезно

¹⁰⁴ Via Lutezia — тихая улочка в центре Рима, где располагалась «контора Гейтора».

именовала «Гейтор Стюарт». Затем в «Известиях» появилась уж вовсе дурацкая статья «Контора г-на Шиманского» про сотрудников «Свободы», потом опять где-то статья о «книжных» конторах, и ещё, и ещё...

«Книжные конторы» эти курировал из Вашингтона высокопоставленный чиновник ЦРУ Джордж Минден. Он считал, что «скандал» в советской печати — это явление, с которым «надо считаться», и сократил финансирование контор чуть ли не на 20%. Надо сказать, что сокращение финансирования не помешало самому Миндену, когда он приезжал в Париж, останавливался тем не менее, как и раньше, в отеле «Георг Пятый». Ну что ж, многие американские советологи тоже, боясь, что им могут отказать в советской визе, играли с СССР в поддавки.

«Книжных контор» было четыре. Римская, в которой Джека Стюарта, когда он ушел в вольные журналисты, сменила высокая дама в джинсах по имени Кароль; нью-йоркская, о которой я почти ничего не знаю, кроме того, что самым активным раздатчиком был там бывший моряк и одессит Яша Фокерман¹⁰⁵; была ещё крохотная лондонская, в раздачах книг вообще не замеченная; и самая активная, имевшая десятка полтора более или менее постоянных раздатчиков, живших в Германии, Бельгии и Франции, — парижская с уже упомянутой Анитой Рутченко.

Существовали, естественно, «дипломатические» каналы передачи литературы, но пропускная способность у них была невелика, так что в обязанности раздатчиков входила главным образом раздача книг морякам и водителям-«дальнобойщикам».

Зарплату раздатчикам, естественно, не платили, но покрывали расходы на бензин, гостиницу, питание и на «расходы при передаче литературы», то есть на пиво, коим мы и угощали советских моряков. На раздачи мы ездили парами, и я чаще всего ездил с моим другом Ариком (Артуром) Вернером, присвоившим себе кликуху «Жуль Верн», что означало «жулик Вернер». Этот ловкий парень, полуеврей-полунемец, эмигрировал из Свердловска, пожил в Израиле, где был шофёром генерального штаба, и перебрался в Германию. Работал Арик на «Немецкой

¹⁰⁵ Поскольку Яша вполне по русски произносил свою фамилию, превращая звук «О» в «А», то знакомые американцы немало над ней потешались...

волне». Позднее, как фотожурналист, он специализировался на фигурном катании.



Артур Вернер, парижская журналистка Кира Сапгир, немецкая студентка Герда Майер и я. Бодензее. 1979.

Кроме Артура, ездил я иногда с Ник. Ником (Н. Н. Рутченко), порой со старым энтенэсовцем Вигеном Нарсесяном, парижанином с двадцатых годов. Иногда — с Юрой Чикарлеевым, во время войны бежавшим совсем мальчишкой из-под Ленинграда. Потом он служил в «Иностранном легионе» во французской Африке и, в конце концов, поселился в Бад-Хомбурге, недалеко от Франкфурта. Юра был функционером НТС.

Со временем каждый из нас обзавёлся приятелями среди моряков, и порой поздно, почти ночью, тебе могли позвонить из Антверпена или Гавра, чтобы сообщить, что вот «на три дня мы тут, чинимся. Так не прикатишь ли?». И тут же в трубку — список нужных книг. Эти поездки по портовым городам все же давали какой-то эффект, пусть даже только четверть книг в конечном счёте доходила до читателей, — но игра стоила свеч.

Бывали и смешные случаи. Как-то в Антверпене я встретил у входа на пирс того старпома, который лет семь подряд возил мне в Питер книги, а порой и письма. Он изумлённо остановился в трех шагах от меня и растерянно произнёс что-то вроде: «Ты — здесь? Как?». Я вовсе не хотел пугать старого знакомого,

и спросил: «Мне книжки в Питер возил?» «Ну, возил...» «Вот, а теперь от меня повезёшь!» Он расхохотался, и мы пошли с ним в ближайший каба́к, где я его снабдил тремя надёжными адресами для доставки книг, ну а кроме того он и разные письма от меня брал при встречах, ну уж не говоря о том, что несколько важнейших рукописей мне привёз из Питера и даже из Москвы для «Континента» и для «Граней» за те четыре года, что он ещё плавал на европейских линиях. Несколько лет, пока не вышел на пенсию, плавал и мой старинный питерский приятель, капитан Лёша Т. Так он вообще набивал книжками (в основном поэзией) свой капитанский сейф: доступа к этой «святая святых» корабля не имел кроме капитана никто, даже «помпа»!

А однажды мы от моряков случайно узнали, как корабельные «помпы» т. е. на жаргоне моряков, помощники капитана по политчасти, оказывают медвежью услугу советскому государству. Мы знали, конечно и раньше, что наши фотографии были у всех корабельных помполитов в сейфах, но однажды «помпа» какого-то сухогруза из серии «Балтийский» нас аж в стенгазету бортовую поместил, «и надпись написал»: «Эти провокаторы (пять фамилий) навязывают нам антисоветскую литературу». Вот уж точно «услужливый дурак опаснее врага». Естественно, что многие лично не знавшие нас моряки тут же стали нашими клиентами. Были у нас и «профессиональные клиенты» среди моряков, это в основном были опытные фарцовщики, они каждый рейс звонили Артуру, мне или ещё кому-нибудь домой и говорили, сколько и каких книг им надо.

Историй, связанных с раздачей книг морякам и водителям дальних грузовиков, много. И о «подвигах дипломатов» тоже много можно бы порассказать. Я бывал раз десять в год то в Антверпене, то в Роттердаме, а иногда в Гавре или в Руане. Туда ехал с полным багажником книг, обратно — с пустым. А вот Арик Вернер или Юра Чикарлеев, да и ещё кое-кто, пожалуй, всё своё время делили пополам между «книжной» и журналистской работой.

Продолжалось это лет пятнадцать, года до 86, когда Анита Рутченко ушла на пенсию, и на её месте стала работать моя восьмьюродная племянница Мариша Жесткова из «первой

эмиграции».¹⁰⁶ Но это уже было начало «перестройки». Раздачи вскоре стали ни к чему: гости из СССР, и даже туристы вскоре стали сами лично заходить в контору. Адрес стал передаваться из уст в уста — такая вот местная достопримечательность. Какое-то время советская таможня ещё иногда отнимала книги, но не всякие, а только изданные «Посевом». В конце 1989 года и это прекратилось. А вскоре и контора прекратила свое существование.

В ПАРИЖЕ И ФРАНКФУРТЕ

(1974—1976)

Н. Б. Тарасова и «Грани». Поремский. Явление Эд. Лимонова.

Поэты в Израиле. Мой вечер и Одоевцева

Зимой 1974 года в Париж приехала из Франкфурта Наталья Борисовна Тарасова. Рутченко сказал мне об этом по телефону, и я тотчас к ним поехал. Первое, что я услышал от Тарасовой, — это, что у нас с ней есть общий знакомый, мой однокурсник по Литинституту Эма Мандель, он же поэт Наум Коржавин, живущий теперь в Бостоне. Эма уже успел ей про меня в письмах что-то смешное насплетничать. Ну, а я в ответ поведал ей о его «контрпередачах». Она смеялась и повторяла, что «ничуть Эма с довоенного времени не изменился, лишь бы спорить! А если не с кем — так хоть с самим собой...» Оказалось, что Коржавин — её друг юности ещё по Киеву, где они перед войной ходили в один литературный кружок. Кстати, другой её приятель по кружку, Ваня Матвеев, давно уже стал американцем, ещё в пятидесятых годах получил поэтическую известность, а к моменту нашего разговора был профессором в Питтсбурге, это — Иван Елагин.

¹⁰⁶ Когда-то мать Мариши, Марьяна, урождённая Татищева, случайно сказала мне, что её мать из семейства Карбури-Ласкари, а поскольку этот екатерининский пират, был двоюродным братом моего предка, мы с ней веселись, потрудились, как говорит Грибоедов, «родными счастясь», и легко просчитали, что она, Марьяна, мне приходится «семиюродной кузиной».

Тарасова привезла с собой номер «Граней», в котором была напечатана полностью моя «трилогия» «Пляски истории»: «Менуэт», «Мазурка» и «Танго». Примерно через месяц после знакомства с Тарасовой я поехал в Мюнхен для участия в групповых передачах. Их иногда технически неудобно было делать с телефона в прямой эфир из разных городов одновременно, и участники собирались в Мюнхене. Оттуда я заехал и во Франкфурт. Тарасовы встретили меня на вокзале вместе с новым приятелем и соседом, большим и неуклюжим мужиком, который представился «Йоффе из Яффы». Н. Б., как вскоре выяснилось, очень старалась отучить Юру Йоффе от пьянства, но этот московский диссидент даже в Израиле, в сумасшедшую жару, не просыхал, а уж во Франкфурте и вовсе спивался. Так что, несмотря на все усилия Тарасовой и её мужа Сергея, альпиниста и скаутмейстера, вообще капли в рот не бравшего, Йоффе всё-таки года через два спился окончательно и от энного инфаркта скончался.

На второй день моего пребывания у Тарасовых к ним зашел, Владимир Дмитриевич Поремский, которого друзья и знакомые звали ВДП. Немецкий известный радиоинженер, недавно вышедший на пенсию, он был одним из пяти главных руководителей НТС. Более того, когда-то он был и одним из организаторов этой партии, которая до войны носила длинное название «Народно-трудовой Союз Нового Поколения». Образовалась эта новая партия в знак протеста против глупости и никчёмности «нафталиновых эмигрантских организаций», которые уже году к тридцатому стали сущим «союзом меча и орала». Новая партия тут же раскололась на две — часть НТС образовала группу «русских фашистов», впрочем, они как-то незаметно сгинули ещё до войны.

А Поремский, как и несколько других «возглавителей» НТС, при Гитлере года три сидел в тюрьме, их выпустили только за год до конца войны.

ВДП пригласил меня к себе на обед, он жил минутах в десяти на машине от Тарасовых. У него в доме я познакомился с энтеэсовцем из Женевы, знатоком научной фантастики, Сергеем Крикоряном. Он оказался родственником ростовского поэта и латиниста Лёни Григоряна. Я не был лично знаком с Григоряном, но как раз незадолго до приезда во Франкфурт сделал по

«Свободе» передачу о его первой книжке стихов, которая недавно вышла в СССР. Сергей слышал в Женеве мою передачу, записал ее на магнитофон и собирался переслать в Ростов.

Поремский, хотя и был одним из руководителей НТС, не особенно обольщался насчёт нынешнего состояния этой организации. Преисполнившись ко мне доверия, он сказал, что опасается, что НТС уже недалёк от того, чтобы в свою очередь стать «остапо-бендеровским Союзом», и с этим ничего не поделаешь: организации, как и люди, стареют...

В следующий раз я приехал во Франкфурт той же осенью на ежегодную конференцию журнала «Посев», которая, по сути, была очередным съездом НТС. На эту конференцию к Тарасовым приехала из Калифорнии Наташа, вдова Аркадия Белинкова. У нас с Наташей было очень много общих знакомых: и Юлик Поляков, и московские «учителя шестидесятники». Мы, конечно же, долго о них говорили, а Тарасова слушала, слушала, да и попросила Белинкову написать для «Граней» очерки об этих людях. Та обещала, но, по-моему, она и до сих пор пишет...

Тарасова показала нам письмо только что объявившегося в Вене «московского поэта Эдуарда Лимонова». Он возмущался моей статьёй в «Гранях» о новых абсурдистах. Я в этой статье писал, что тех из них, кто «серьёзничает», читать скучно, а вот те, у кого есть чувство юмора, пишут гораздо забавнее. К этим последним я отнёс не печатавшихся в СССР Кузьминского и Лимонова. И вот Лимонов в бесконечно-длинном письме утверждал, на полном серьёзе и раздражённо, что никакого у него «чувства юмора нет, и не было», и что он даже и не поэт, а «русский национальный герой»¹⁰⁷.

Это, допустим, можно было принять за «стёб». Но кроме того он писал, будучи уверен, что за границей ничего про Москву не ведают, что он «с 71 года возглавлял группу авангардных поэтов, куда входили (*кроме него — В. Б.*) поэты Генрих Сапгир, Игорь Холин, Вагрич Бахчанян, Всеволод Некрасов...». Не помню уж, кто еще входил в этот не слишком короткий список, но все люди, которых он помянул, были давно известны и никак не юны. Так что «главенство» молоденького Лимонова вызывало

¹⁰⁷ Потом это письмо было напечатано в нью-йоркском «Новом русском слове».

некоторое, мягко говоря, удивление. В общем, типичное «сен-бернарство». Ну, а еще Лимонов совершенно правдиво сообщал редакции, что он в Харькове и в Москве шил на заказ брюки, в силу чего и «являлся символом непокорённого существования». И вот финал письма: «моя фамилия Савенко, но как Лимонова знает меня Россия».

Всё это было бы веселым и забавным шутловством, — «стёбом», хотя тогда этого слова ещё и не существовало, если бы не то, что в какой-то момент возникало ощущение, что этот человек вовсе не шутит. Казалось, он болезненно озабочен только тем, чтобы, не дай бог, не прошло и дня без упоминания его, Лимонова, хоть где-нибудь.

Видел я его всего один раз: в Париже на дне рождения Киры Сапгир. Она подвела меня к нему и стала нас знакомить. Он протянул руку и представился: «Лимонов». «Как, простите?» — спросил я. «Лимонов! — удивлённо повторил он, — неужели не слышали?» «Нет...» — ответил я с удивлённой интонацией. Кругом захихикали, а он продолжал сидеть с каменным и важным лицом бодисатвы...

Юмор у Лимонова бесспорно был, но и комплекс Герострата тоже. К сожалению, юмор, если судить по печатным выступлениям, уже давно и бесследно исчез, а вот комплекс Герострата доминирует и поныне... Несмотря на то, что из его прозы по крайней мере два романа «Подросток Савенко» и «Молодой негодяй» написаны хорошо, легко, и читаются с интересом. То же относится и к фильму, снятому по этим книгам.

Белинкова попросила Тарасову показать, что за стихи «Грани» собираются публиковать в ближайших номерах. Наталья Борисовна раскрыла папку со стихами, присланными в редакцию новыми эмигрантами. Стихи были из Америки, Германии, Израиля. Тарасовой, как и мне, понравились стихи Лии Владимировой, москвички, приехавшей в Израиль совсем недавно. Многие из новых эмигрантов в Израиле картинно отрубали всё своё прошлое, будто его и не было. Нередко это случалось как раз с людьми, которые, живя в России, были вполне лояльны к советской власти. Вот у них-то и возникала судорожная лояльность новому образу жизни. По сути такие люди — конформисты даже не по убеждению, а по психологическому складу.

Лия Владимировна ни от чего не отрекается, более того, главной темой поэзии у неё стали оба её корня:

И блещет двуединым светом
Крыло у каждого плеча,
И две судьбы, как два Завета
В меня вошли, кровотока.

Потом она назвала одну из своих книг «Снег и песок».

Тарасова, будучи человеком религиозным, немислимо радовалась этим стихам. Она видела в них вполне реальную последовательность, преемственность, воплощённую в поэзии в этой вот русско-еврейской тематике, и «противостоящую нечестному и надуманному конфликту иудаизма и христианства». «Не думайте, что пришел я отменить Закон и Пророков, не отменить пришел я, но исполнить», — процитировала Тарасова слова Христа. Лия Владимировна оказалась не одинока в своем эмоциональном подходе. Позднее в Израиле вышла талантливая, но, кажется, до сих пор единственная, книжка молодого тогда поэта Дмитрия Малкина «Иордан на Невском». Название само за себя говорит. «Если Мессия, сойдя на землю, ступит в Летний сад, не удивляйтесь», — пишет Малкин.

Раз уж я заговорил о русских поэтах в Израиле, то воспользуюсь возможностью и скажу об Илье Рубине. Мне очень хочется, чтоб его вспомнили и прочитали. Этот москвич прожил в Тель-Авиве всего два года и погиб, не дожив до издания своей первой и последней книги стихов и прозы, ее издала уже его вдова.

...Я так бежал, что поднимались трупы,
Припоминая ремесло живых,
.....
Не дай мне Боже умереть во прахе,
Мой одинокий бег благослови.
Я так бежал, что спотыкались плахи,
Припоминая ремесло любви.

Вечный странник бежит из Содома и оглядывается на Содом, и становится соляным столбом там, где «тень свободы в лысом парике» выдаёт себя за истинную свободу, и вот:

...и полоумные хирурги
России делают аборт,
Уже людей боятся люди,
Деревья просят топора,
Уже деревня голой грудью
Бросается под трактора...

Так обидно, что эта точная экспрессивная поэзия забыта, что её знают только те, кто читал давно разошедшуюся на западе книгу Ильи Рубина¹⁰⁸, или стихи его в «Континенте» и в «Границах»! Я сделал о нём передачу, потом напечатал статью в «Континенте», потом написал о нём в моей книге «Русская поэзия за 30 лет (1956—1986)». Назвал я статью о нём «*Дуэль с Каином*». Вот и вся тощая библиография весьма значительного, на мой взгляд поэта, который, надеюсь, ещё всплывёт, если правда, что «рукописи не горят»... Все же это утешение сформулировал, хоть и симпатичный, но ведь дьявол...

Я тут называю пишущих по-русски и живущих в Израиле поэтов «русскими поэтами». Вроде бы, мысль о том, что только язык определяет, к какой литературе принадлежит поэт, совершенно тривиальна, но у неё немало противников, особенно в Израиле... Не могу удержаться от анекдота: На конференции «Континент культуры», собранной в мае 1983 года в Милане редакцией «Континента», ко мне подошёл молодой и лохматый Михаил Гробман, представился и произнёс: «Это вы Василий Бетаки? Так вот, Вы меня оскорбили печатно!»

«???»

«Вы обозвали меня русским поэтом, а про меня даже журнал «22» писал, что я еврейский поэт, только пишущий на русском языке. Пока на русском». Ну, о чём можно было разговаривать с этим шутком-патриотом? При этом моем обмене репликами с Гробманом присутствовал американский профессор и издатель Карл Проффер, и его жена, прекрасная великанша Эллендея. Они оба залились веселым смехом, глядя, как Гробман гордо удаляется, вздернув плечи.

¹⁰⁸ Илья Рубин «Оглянись в слезах» изд-во «Москва-Иерусалим». Иерусалим 1977 год. Редактор Наталья Рубинштейн, вступительная статья Рафаила Нудельмана. Так же о нём см. в моей серии очерков «С неводом по берегу Леты» (в нескольких номерах ж. «Звезда» СПб).

Миланская конференция была очень наполненная, приехало много народу отовсюду. Я на ней познакомился с остроумным, парадоксальным и провокационным автором нашего «Континента» Борисом Парамоновым, и впервые после Питера встретился с Димой Бобышевым.

Впоследствии «Р. М.» напечатала некоторые доклады из этой конференции. Самым ярким, как в устном исполнении, так и при чтении глазами, мне показался доклад Льва Лосева «Цензура как эстетический фактор». Лосев говорил, в частности: «Культура действительно расцветает при советском социализме вопреки советскому социализму... Всё создаёт энергию культуры, в том числе и цензура». И дальше он цитирует Бродского: «Цензура невольно обуславливает ускорение метафорического языка». Я вспомнил, как Антокольский однажды мне сказал, что эзопов язык быстро «превратился в один из путей развития метафоры, хотя и продолжает — попутно — защищать литературу от дураков».

Что же до журнала «22», то, вполне готов поверить, что там Гробмана «обозвали» еврейским поэтом. «22» отпочковался от журнала «Сион» и продолжал глупую вульгарно антирусскую, но к сожалению вовсе не антисоветскую агрессивно-израильскую традицию последнего. Впрочем, я, со свойственной мне злоязыкостью, называл его «перебор по очкам», а Максимов звал их «22 несчастья». Во всяком случае этот довольно самостоятельный, хотя крикливый, патриотический и претенциозный до смешного журнал не шёл ни в какое сравнение с журналом «Время и мы», который делался бывшим многолетним сотрудником «Литературки» Вадимом Перельманом¹⁰⁹. Поначалу там тоже, правда, появлялись всякие смешные разности вроде того, что слово Бог, в какой-то из статей кого-то из «новых патриотов» писалось «Б-г», «Б-га», «Б-гу» и так далее. (Автор не хотел согрешить, написав это слово полностью, поскольку по полуграмотности посчитал его *(vсyе!)* божьим именем собственным. А таковое (то есть Яхве или Йегова) полностью писать действительно правоверному еврею не рекомендуется. Но к «видовому понятию» — бог, — хоть он и с прописной теперь пишется, это вовсе отношения не имеет).

Блистали там поначалу и перлы вроде статьи некоего Орлова, науськивавшего израильско-русское «общественное мнение» на

¹⁰⁹ Журнал «Время и мы» в ближайшее время будет полностью выложен в электронном виде здесь: http://www.vtoraya-literatura.com/razdel_97_str_1.html

так называемых «прямыков», т. е. на всех, кто выехал из СССР по израильской визе, но посмел себя почувствовать свободным человеком и поехал не в Израиль, а в Америку или в иные страны.¹¹⁰ Позднее тоже на эту тему уже не в журнале, а в каких-то короткоживущих газетках, старался изо всех сил только выехавший из СССР Эдуард Кузнецов. Видимо, чтобы правоверные патриоты не попрекали его за его «полугойское происхождение»...

Со временем журнал «Время и мы» утратил, к счастью, всю эту патриотическую прыть и стал вполне культурным и даже интересным. Там стали появляться такие шедевры, как роман Говарда Фаста о Маккавейской войне «Мои прославленные братья» и знаменитейший, но по-русски, естественно, никогда до того не публиковавшийся «Прекрасный новый мир» Олдоса Хаксли (оба романа в переводах Георгия Бена). Печатались там статьи Е. Эткинды, Б. Парамонова, Натальи Рубинштейн и многое другое столь же высокого уровня...

Но возвращусь к более ранним временам. Вскоре после выхода моей книжки «Замыкание времени» в Париже состоялся мой вечер. Было это в зале Парижской русской консерватории. Когда-то ее основал Рахманинов, купив для этого два соседних и соединённых между собой особняка на берегу Сены. Зал на 400 мест оказался полон. Это был явный успех в русском Париже в семидесятые годы, ведь большая часть старой эмигрантской интеллигенции уже перемёрла, но, оказывается, русская жизнь все же шла, и не так мало народу в ней участвовало.

После вечера Вейдле стал тут же в зале знакомить меня с пожилой, но очень молодящейся и с «памятью о красоте», дамой, носившей большой синий бант на затылке. Пока В. В. церемонно говорил что-то вроде: «Позвольте представить Вам...», я догадался, кто это, и, перебив старика, произнёс: «Я маленькая поэтесса с огромным бантом».

Они оба рассмеялись, и дама сказала: «А Вы, однако, мои забытые стихи знаете? Ну, будем друзьями, Вы не ошиблись: я — Одоевцева». После этого вечера я стал бывать у неё, и заходил к ней, хоть редко, но регулярно — почти до самого её отъезда в Питер уже в годы «перестройки».

¹¹⁰ «Время и мы», № 14, 1977 (см. электронное воспроизведение журнала здесь: http://www.vtoraya-literatura.com/publ_254.html).

Ирина Одоевцева была неутомимой рассказчицей, и в её увлекательнейших воспоминаниях «На берегах Невы» и «На берегах Сены» не содержится, наверное, и одной десятой всего того, что она могла просто так за чаем порассказать.¹¹¹ После того, как в «Р. М.» появилась моя большая статья о поэзии её первого мужа, Георгия Иванова, названная его же строкой «Отчаянье я превратил в игру», Одоевцева сообщила всем, кому надо и не надо, что на вечерах памяти этого поэта «доклад о его стихах должен делать только Василий Бетаки». Так с её лёгкой руки я совершенно случайно попал в «специалисты» по Георгию Иванову, да заодно и по Гумилёву: когда Н. Струве выпускал его в «имковской» серии «избранная поэзия», он предложил мне быть составителем этого сборника. Сборник я составил (нужно было отобрать ровно сто стихотворений), но статью писать не стал, а вместо неё поместил статью самого Гумилёва «Читатель».

Так или иначе, на приём, оказанный мне «первой эмиграцией», жаловаться не приходилось. Были, конечно, «чинные и старинные», которых коробило от «этих странных манер», — особенно от моего хлёсткого и не очень-то сдержанного языка. Они поотворачивались от человека, который «вроде бы должен был быть из наших, ведь отца его кое-кто знал», а оказался эдакий *enfant terrible*. Надо сказать, что и советская печать, если уж вдруг ненадолго с чего-то на мне сосредоточивалась, то называла меня исключительно «скандалист» и порой «интриган». Хотя уж звания «интриган» я никак не заслужил: чтобы интриговать, надо иметь особый талант, а я, если бы и захотел интриговать, так сел бы в лужу — хитрости, нужной для этого дела, у меня всегда было процентов десять от необходимого количества. А с характеристикой «скандалист» я скорее согласен, хотя вообще-то во мне не скандальность говорит, а привычка произдевать над всем, что не нравится и на зуб попадается... Некоторые совсем старые эмигранты пожимали плечами и говорили, что «иного от футуристского сынка и ждать не приходится: футуристы они, знаете ли, были... ну а яблочко от яблони...».

¹¹¹ Одоевцеву часто упрекают в том, что мемуары её полны вранья. Когда это утверждает А. А. Ахматова, то понятно почему, но всем прочим-то какое дело? Тем более, что это скорее автобиографические романы, чем обычные воспоминания, да и написаны они ярко и живо...

И чтоб закончить про Одоевцеву, расскажу про ее особое чувство юмора и необидчивость. Когда она позднее вышла замуж за очень уже старого бывшего журналиста Якова Горбова, я катанул на неё эпиграммку, которую тут же ей принёс и прочёл, предва- рив словами, что это мое подношение ей к свадьбе:

Она спала когда-то с Гумилёвым,
Но всё не вечно — он давно в аду.
Потом случилась случка с Ивановым,
Но дама бредит наваждением новым
В историю войти через
(калитку).

Ирина Густавовна расхохоталась и сказала, что за эти строчки Гумилёв меня вызвал бы на дуэль, а вот Георгий Иванов, на- верняка бы смеялся... И сквозь смех добавила, что, кстати, Георгий Ива́нов терпеть не мог, когда его обзывали простонародным Ивано́вым.¹¹²

ЛЮДИ И ЖИВОТНЫЕ (1974—1976)

*Шагинян. Шемякинский кот и другие звери. Никита Струве.
Синявские. Виктор Некрасов. Дела в НТС... Поэма Ярослава Сей-
ферта. Валькирия Тинтин. В. Максимов и «Континент». Вадик
Делоне. Е. Г. Эткинд. Вера Френкель*

В 1976 году переехал в Париж мой друг Толя Шагинян — быв- ший тюзовец, прославившийся в Питере, как создатель «театра одного актёра». Мы с Толей познакомились и подружились ещё тогда, когда он сделал моноспектакль «Чужая страна», построен- ный на стихах американского негритянского поэта Ленгстона Хьюза. Значительная часть использованных Шагиняном стихов

¹¹² Сам он, однако в каком-то стихотворении писал:

«...И — ни похода ледяного,
Ни капитана Иванова,
Ну, словом, вовсе ничего...»

была в моих переводах. На афишке спектакля, которую он мне подарил когда я уезжал, он надписал «соавтору этого спектакля». Потом он сделал ещё спектакль (кажется назывался он «ВРЕМЯ») в котором умудрился соединить сатирическую фантастику Варшавского с Шекспиром! Для этого спектакля я перевёл заново несколько отрывков из «Ромео и Джульетты».

Толя был уже несколько лет как женат на француженке по имени Мишель, но жили они в Питере, так как Мишель служила в питерском французском консульстве в должности пресс-атташе. И вот они переехали в Париж. Это было для меня большой радостью, но к сожалению на их переезде в Париж терялся один из надёжнейших каналов для передачи писем и книг. Пока Шагиняны жили в Питере, я раз в два месяца через диппочту министерства иностранных дел Франции посылал на имя Мишель посылки предельно разрешённого веса: 22 килограмма книг и журналов! В посылках, естественно, были книги, которые тут же раздавались друзьям и знакомым, разумеется, с соблюдением всех возможных предосторожностей.

Шагиняны, приехав в Париж, решили сразу покупать дом на деньги, доставшиеся Мишельке после смерти матери, за год до того погибшей в автокатастрофе. А на время поисков они поселились у нас в большущей квартире, которую мы тогда снимали. В это же время им кто-то подарил щенку сенбернара. Это была очаровательная зверюга, о которой Толя говорил, когда бывал недоволен её поведением: «Ума-то — во, а зубов-то ВОООО!». Верность Толиной характеристики Марфа попыталась однажды доказать тем, что сгрызла один том «Театральной энциклопедии», в котором, кстати, и была буква «Ш». «Зря старалась, — заметила Мишелька, — твоего хозяина там всё равно нету». Я же заступился за собаку и ответил Мишельке, что потому-то и сгрызла.

В Париже Толя сразу стал работать звукорежиссёром на радио «Свобода», и его актёрская биография, к сожалению, кончилась: он так и не освоил французский язык, да и никакого другого не знал, а как без этого стать актёром на Западе? Правда, один раз он всё же снялся в кино: сыграл Сталина в американском сериале «Ялта», но больше ролей по-русски ему так и не подвернулось...

Как-то позвонила нам Рива Шемякина, жена Миши, и предложила взять их огромного рыжего котищу, пригрозив, что если не возьмем, они «снесут гада на сосиски». Когда Рива привезла кота, все испугались, что шагинянская Марфа перекусит его пополам, но собака решила его усыновить, и кот действительно стал ходить за ней по пятам, как щенок. Потом я заметил у него на шее вытертость, вроде бы от ошейника, и при встрече спросил Шемякина, отчего это. В ответ Миша, совершенно не стесняясь, рассказал, что он держал кота на цепочке в ванной, как цепную собаку. Оказывается, кот налил на несколько рисунков, и они так воняли, что их никак нельзя было тащить на очередную выставку.

Была у этого кота по имени Рыж одна дурная привычка: он неожиданно кидался сзади на всякого не знакомого ему человека, если тот садился в одно определённое кресло, которое кот считал своим. Прыгнув на спину, он с визгом ударял человека — всегда один раз — по шее, но когтей не выпускал, совесть котью имел всё же... Рыж прожил у нас недолго. Он имел обыкновение уходить гулять в Медонский лес, до которого от дома было шагов двести. Возвращался Рыж домой в меру ободранным и дожидался внизу, пока ему кто-нибудь из соседей откроет входную дверь, после чего взбегал на шестой этаж и орал под дверью квартиры. Как-то он ушел и не вернулся. Динке показалось, что она видела его на опушке леса, среди десятка других кошек, на том месте, где всегда происходит «котья тусовка».

Вообще с животными Шемякин обращался весьма странно. Когда ему почему-либо надоедал его белый бультерьер, он загонял пса в конуру, стоявшую тут же в огромной кухне, и поворачивал её вместе с псом дыркой к стене. Пёс сначала выл, что хозяина совершенно не беспокоило, а потом засыпал. Иногда Шемякин спускал на несчастную собаку попугая. Это был громадный ара, обычно сидевший на цепочке, — клюв его мог внушить уважение не только псу средних размеров! Года через три Шемякин (говорили, что по «налоговым причинам») переехал в Америку, и наше общение как-то само собой оборвалось.

Однажды мы с Толей, Ветой и Мишелькой ехали во Франкфурт на очередную ежегодную конференцию «Посева», где соскучившемуся по сцене Шагиняну был обещан вечер с его концертом. По дороге, уже в Германии, Мишелька очень нас насме-

шила, спросив, что это за огромный город, о котором она никогда не слышала, на который был уже десяток указателей с автострады.

«Где, — спросил я, — о каком городе ты говоришь?».

«А вот, на стрелке! Что это за город — «Аусфарт»?¹¹³

* * *

В 1973 году, когда мы ещё только-только обосновались в Париже, нас пригласил к себе Никита Струве. Жил он в пригороде Вильбон, в старинном домике, где живёт и поныне. Мы договорились, что он встретит нас на станции. В электричке, в почти пустом вагоне, через несколько скамеек от нас сидела пара: он с седой бородой «лопатой», она — в огромных круглых очках Мы узнали Синявских. Из русской печати нам было известно, что они приехали в Париж в августе, то есть примерно на месяц раньше нас. Когда мы вышли из вагона, Струве нас с ними познакомил, усадил всех в машину и повёз. Проехали километра полтора. Сели ужинать. Всё было чинно, даже дети Никиты вели себя уж слишком воспитанно, в общем, было скучновато. Вежливые Синявские скрывали, что им скучно, а я ленился скрывать, и думаю, что обидчивый Никита это заметил.

Обратно ехали на такси, мы с Синявскими распрощались у нас в Медоне, а они поехали дальше, пригласив нас заходить к ним. Мы их тоже пригласили. Между нашими пригородами, точнее между нашими домами, как увидел я позднее на спидометре своей машины — пять километров и сто метров.

Весной 1974 года приехал в Париж Виктор Платонович Некрасов. Поселился он поначалу у Синявских, на третьем этаже их старинного скрипучего дома в Фонтене-о-Роз, купленного на скопившиеся в разных странах гонорары. Вскоре с Некрасовым случился приступ аппендицита, кажется, давно запущенного, затем перитонит, и уж все, даже врачи, думали, что он не выживет. Проболеl Некрасов что-то около месяца. Но после того, как врачам удалось лошадиными дозами разных антибиотиков

¹¹³ *Ausfahrt* (нем.) — выезд.

сбить температуру, и прямая опасность миновала, боевой офицер готов был хоть снова «в окопы Сталинграда»¹¹⁴.

А Марья рассказала, что когда Синявский услышал, что дела Платоньча вовсе плохи, он сел и написал некролог. Это по живому-то! И вот после этого Некрасову сразу стало лучше. «Это и понятно, Синявский ведь колдун!», — то ли пошутила Марья, то ли не совсем... Колдун, может, и не колдун, но человек, который знает, на какую сторону пробор у лешего, уж точно с кем-то неназываемым водится...

В 1975 году Андрею Синявскому за «Голос из Хора» была присуждена премия «Лучшая иностранная книга года». Вручали премию в каком-то вызолоченном зале отеля «Лютеция», а после церемонии коллега Синявского по университету, профессор Мишель Окутюрье, повёл Синявских, а заодно и нас с Ветой, в какой-то выдающийся ресторан, где кормили улитками, а также устрицами и прочими «фрюи де мер». Я там впервые попробовал эту экзотику и, надо сказать так с тех пор улиток и не полюбил. А вот устриц оценил с «первой попытки». Примерно в это же время «Свобода» очень захотела устроить серию выступлений Андрея Синявского. У Марьи в ответ на это предложение появилась другая идея — сделать серию получасовых передач, гораздо более широких, чем выступления одного Андрея Донатовича, и назвать этот цикл — «Мы — за границей». Радиостанция согласилась. Каждая передача состояла из нескольких кусков или эпизодов, и авторов-участников было всегда несколько. Синявский появлялся очень часто, но все же не всегда. В этих страшно живых и разнообразных передачах были и интервью, и стихи, и рассказы о путевых впечатлениях. В последнем жанре особенно преуспел Виктор Некрасов. Потом он сделал из своих радиоэпизодов две книги: «Записки зеваки» и «По ту сторону стены». Как-то раз я рассказывал о поездке по

¹¹⁴ В восьмидесятых годах в среде эмиграции ходила эпиграмма на Некрасова, авторство которой упорно приписывалось Н. Коржавину:

Архитектор, актёр, офицер,
А точнее — Д'Артаньян в Сталинграде:
Девы, дамы, монашки и бляди —
Все бывали на этом конце.

В авторстве Коржавина. я сомневаюсь: он боится непристойностей, как чёрт ладана.

университетам Англии и Шотландии. А составляла и вела весь этот винегрет Марья Розанова-Синявская.

Один раз я выступил с маленьким очерком о том, что на границе Франции и Швейцарии стоит пограничная будка, и в полдень, когда французский пограничник, как водится, уходит обедать (вместе со своим швейцарским коллегой), он навешивает на свою будку медного цвета амбарный замок. И машины в отсутствие пограничников спокойно пересекают границы, а замок сияет, как самовар. Назывался мой очерк, понятное дело, «Граница на замке». А когда случилось в Париже редкое происшествие — пошел снег — Марья рассказывала по радио, как выглядят в эти дни парижане. А надо сказать, что когда в Париже вдруг делается холодно, создается впечатление, что прохожие сошли с гравюр, изображающих французов под Москвой в 1812 году. Мне Марья предложила написать к этой передаче стихи. Вот тогда и появился «Снег в Париже», ей по справедливости и посвященный:

М. Розановой

Ночным десантом, саранчой,
Над каждой лужею,
Над Эйфелевой каланчой, над углем кружев,
На зеркала, на фонари в ночи речистой,
Белея падали в Париж
Парашютисты,
И возле каждого кафе
Заложниц брали,
В чертовок превращая фей,
Чтобы не вдали...
Снег предлагал антистриптиз,
Привычки руша,
Ломился чистотою риз
В чужие души.
Он верил только сам себе —
О, как бесстыже
Хозяиничал в чужой судьбе
Тот снег в Париже!
Рябил чернильный сон воды,
Бродил садами,
Морозил груди и зады в кинорекламе,
Как пьяный гангстер ослеплял автомобили,
Химерам пасти залеплял,

чтобы не выли...
Хоть час — да мой! Хоть до зари
грязь будет белой,
И старым липам в Тюильри
причёски делал Людовик,
бронзовый старик, не веря в утро,
Надменно пудрил свой парик неверной пудрой,
А завтра — завтра хоть потоп
Всё к чёрту слижет,
Зато сегодня он...
Зато...
Он — снег в Париже!
Снег, сотрясатель бытия афиш и спален,
Он был мой брат,
Он был как я,
парадоксален,
Как знак 13 на часах,
Как в Ницце — лыжи,
Как хиппи в Муромских лесах,
Как... снег в Париже!

В самом начале 1976 года вышла наконец написанная ещё в лагере книга Андрея Синявского, точнее Абрама Терца: «Прогулки с Пушкиным». В своё время эту книгу Синявский пересылал Марье по кускам в письмах из лагеря (количество писем строго лимитировалось, а вот объём мог быть любой!).

Мы с Эдиком Штейном, который на Новый год как раз гостил у меня в Париже, когда книга вышла, заранее визжали от удовольствия: во-о-о как зашипит патриотическое стадо староэмигрантских гусей! А советские? Ну, кто громче? А Эдик ещё, вспомнив о моей эфиопской четвертушке, заметил, что, вероятно, «вбегать в литературу на тонких эротических ножках»¹¹⁵ — это национальное эфиопское поведение! В общем, мы веселились вместе с Синявскими, ну, и ждали скандала. А когда скандалы разразились, то больше всего нас удивило то, что стилистика и лексика эмигрантских газетных скандалов были просто *не отличимы* от стилистики и лексики аналогичных советских! Тут-то я и понял, что люди «ещё той эпохи», неважно, белые или красные, вылупились из одного и того же обывательского яйца нико-

¹¹⁵ См. «Прогулки с Пушкиным» (см. электронную версию книги здесь: <http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=377>).

лаевской России. Именно на них был направлен эпатаж, хоть футуристов, хоть шестидесятников, и реагировали разные мещане на него, что в десятых, что в шестидесятых годах совершенно одинаково. И в России и за рубежом. Будь то хоть древний годами Роман Гуль, хоть мой ровесник Никита Струве...

Кстати, что касается Никиты, то наши отношения весьма охладились после следующего эпизода. Однажды он приехал к нам несколько встрёпанный, вынул из портфеля гигантскую пачку листов. Это была корректура солженицынского «ГУЛАГа», которую он, по его словам, «из соображений конспирации» (авторство ещё «там») не хотел давать новенькой девушке-корректору. Мы с Ветой стали вычитывать. Когда через пару дней Никита приехал, чтобы забрать готовую часть рукописи, я обратил его внимание на тот факт, что слово «юрисдикция» в этой книге употребляется в несуществующем смысле. Солженицын говорит «юрисдикция», имея в виду судебное заседание: «Юрисдикция началась с опозданием на полчаса» — за точность цитаты не ручаюсь, но что-то очень похожее там было. Когда я заметил, что слово-то употреблено не по назначению, Никита поправил очки, задрал козлиную бородку и произнёс: «Не критиковать надо, а преклоняться!». И уехал. Возмущённый.

А мы долго хохотали, особенно двенадцатилетняя Дина, дружившая с его младшей дочкой Малашей, которая втайне от отца часто посмеивалась вместе с Динкой над его пафосом. Так что я уже не рассчитывал на то, что Струве издаст в «Имке» мою следующую книжку. И когда где-то к 1980 году у меня накопилось достаточно новых стихов, я к нему с этим даже не сунулся. С «Посевом» мне тоже уже не хотелось связываться. И вот почему.

В 1979 году я и ещё несколько «раскольников» с шумом вышли из НТС в знак протеста против новой «политической линии». На заседании «руководящего круга» НТС Е. Р. Романов, бывший тогда председателем исполнительного бюро, или, говоря по-советски, «генсеком» НТС, сформулировал эту «линию» так: «опираться не на третью эмиграцию, а на здоровые силы в советских верхах»¹¹⁶. А некто М., человек в НТС новый, бывший

¹¹⁶ Почти двадцать лет они ещё ждали, пока эти «здоровые силы» в лице М. Горбачёва появятся. Но внимания, как известно, «здоровые силы» на НТС не обратили никакого...

еще недавно мелким советским дипработником, вроде бы смывшимся месяцев семь тому назад из Алжира, и попавший во Франкфурт месяц тому назад, но уже ставший членом совета (??),¹¹⁷ предложил превратить журнал «Грани» из литературного в чисто политический. Очевидным образом, М. рвался в главные редакторы! Читателей у «Граней» бы поубавилось сразу, да и зачем было дублировать «Посев»? Многие заворчали, услышав такое предложение, и Романов тут же — на попятный: останется, мол, журнал литературным, останется.

Тут Тарасова, которой стало противно, отказалась быть главным редактором. Её, правда, уговорили остаться, но ещё года через три она всё же ушла, проработав в журнале более двадцати лет. Короче говоря, Романов искал союзников там, где по нашему мнению искать их никак не следовало. Мы (эмигранты третьей волны) с этими его «здоровыми силами», естественно, дела иметь не хотели, и я, взяв слово, сообщил ёрническим тоном всем членам «руководящего круга», что теперь-то всяких внедрённых из СССР во Франкфурте заметно прибавится, так вот пусть эти «здоровые внедрённые силы» нас и заменят. «А выступление М. против журнала «Грани» содержит, — сказал я, — несколько фраз, буквально выдернутых из доклада Жданова «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». А надо сказать, что я подготовился к выступлению — я ведь, как всегда жил у Тарасовой, которая прекрасно знала, о чем пойдет речь на заседании. Так что доклад Жданова я взял у Тарасовых с книжной полки и нужные цитаты там заранее нашёл.

После того, как я процитировал выбранные мною фразы из Жданова, кто-то сбегал в помещение библиотеки и принес, не доверяя моим словам, указанный доклад. Я быстро нашёл в нем то, что нужно, показал Романову и Артёмову, а потом еще и прочел вслух. Это привело к немой сцене. Что было дальше, не знаю: Арик Вернер, Юра Чикарлеев и я ушли с этого совещания, и вообще из НТС. Выйдя на воздух, Юра Чикарлеев сказал, что лучше уж пойти в пивную, чем торчать на заседании и смотреть, как «Романыч» снимет пиджак, наденет его навыворот

¹¹⁷ Полгода, казавшиеся нам с Вернером поначалу необъяснимыми (где же он пропал, после исчезновения из Алжира?) со временем объяснились просто: этот «беглец» провёл их, не более не менее, как в Карлсхорсте — советской штаб-квартире около восточного Берлина.

и окажется в советском кителе с голубыми погонями, которые М. ему, наверное, уже привёз из Москвы...

С издательством «Ардис» я в 1980 году ещё не был знаком, так что не к кому мне было обратиться с моей новой книжкой «Европа-остров». В результате, набор я сделал сам, а типографию мне предложил оплатить Алик Гинзбург (как он выразился, «из шальных гонораров за выступления в США»), на что я с благодарностью согласился. Эта вторая моя книга на западе вышла с обложкой начинавшего тогда художника Ясика Горбаневского и под маркой моего собственного крохотного издательства «Ритм», выпустившего до того несколько книжек разных поэтов, не публиковавшихся в СССР¹¹⁸.

Но я опять сильно нарушил приличную солидную хронологию, так что придется вернуться назад в 1974 год. В конце 74 года в Париж приехал Владимир Максимов. Он поселился на улице Лористон 11-бис, около Триумфальной Арки, в свободной квартире инженера Ниссена. А. А. Ниссен был из первой эмиграции и познакомился с Максимовым ещё в Москве, когда приезжал туда, как турист. Через какое-то время Максимов лично получил финансирование для журнала, задуманного им и Синявским ещё в Москве. Идея была — соединить силы литераторов из всей Восточной Европы. По предложению А. Д. Сахарова журнал был назван «Континент». Он начал выходить с осени 1974 года.

Редакция была в Париже, в том же доме, где жил Максимов, типография во Франкфурте (она принадлежала «Посеву и называлась «Полиглот»), а финансирование приходило от берлинского «короля немецкой печати» Акселя Шпрингера.¹¹⁹ Я несколько раз ездил с Максимовым в Берлин к Шпрингеру в качестве переводчика, так что познакомился с этим незаурядным человеком, известным немецким издателем и журналистом. Он же организовал как-то в Западноберлинском «Дворце Конгрессов» первую всемирную конференцию «Континента». Изредка Шпрингер писал и материалы в «Континент», они всегда шли в

¹¹⁸ Это были первые книжки стихов Е. Игнатовой, В. Иверни, В. Кривулина, стихи старика К. Померанцева и др.

¹¹⁹ Половина денег, однако, была исходно не шпрингеровская, а американская, в основном от «Дома Свободы», который финансировался разными частными фондами, а частично и ЦРУ.

моём переводе¹²⁰. Шпрингер был не лишён истинно немецкого юмора: высоченное здание своего основного издательства «Ульштайн-Пропилеен» он построил прямо над пресловутой Берлинской стеной. Так что гигантские световые буквы — названия издательства и важнейших принадлежащих ему газет, естественно строго запрещённых в ГДР — висели высоко над Восточным Берлином, дразня и государственных гусей ГДР и советских хозяев их.

Однажды Марья Синявская, поначалу недолго работавшая в редакции «Континента», предложила мне перевести для четвёртого номера журнала «несколько сонетов» чешского поэта Ярослава Сейферта и пообещала принести подстрочник. Я тут же попросил её достать мне и чешский текст, считая, что как-нибудь, хоть отчасти, но худо бедно читая по-польски, я в чешском тексте разобраться смогу, а никакой подстрочник не может дать поэтической сути, особенно звучания, которое для меня всегда было особо важным. В данном случае, русский подстрочник был очень тщательно сделан чешским физиком Франтишком Яноухом и его женой Адой Кольман, жившими тогда в Стокгольме. Это оказалась, старательно отредактированная, заглаженная проза, но без неё мне всё же пришлось бы туго... Когда Марья принесла чешский текст, я открыл стихи и увидел, что речь идет не о «нескольких сонетах», а о венке сонетов под названием «Праге». По подстрочнику этого понять было нельзя, поскольку его тщательный, грамотный и «залитературенный» русский язык пренебрегал «всякими повторениями» — поэтому венков и верно был в подстрочнике не венком, а действительно «несколькими сонетами». Я к этому времени запасся хорошим чешско-русским словарём, так что радостно

¹²⁰ Чтобы не заказывать на стороне, и быть оперативнее, всё, что требовало перевода, мы старались перевести сами, в редакции. С польского переводила Н. Горбаневская, с французского могли переводить трое: я, Вета и та же Горбаневская, а вот английского, и тем более немецкого, никто кроме меня в редакции вовсе не знал. Впрочем, Максимов за двадцать с лишним лет, что он прожил в Париже, — по-французски тоже не выучил ни слова. Причём он утверждал, что это ему русский язык его может попортить, так что всеми «французскими делами» в быту занималась его жена, Таня Полторацкая. Она же приводила в порядок редакционный архив, который, впрочем, дня через два нашими стараниями снова становился прежним бардаком.

ухватился за задачу — перевести венок венком! Кажется, переводных венков в русской поэзии еще не было. Причем, случилось так, что этот венок был *впервые* опубликован в «Континенте» в моём переводе — а по-чешски по цензурным причинам его не печатали еще несколько лет!

Через несколько дней после выхода четвертого номера «Континента» старик Ярослав Сейферт позвонил из Праги в редакцию, узнал мой телефон и, перезвонив мне, на прекрасном и сочном русском языке благодарил в таких выражениях, которые, несмотря на всю мою хвастливость, я все же приводить тут не буду... Я и до сих пор считаю, что этот венок — одна из моих главных удач, наряду с Эдгаром По и Сильвией Плат, которую я перевел уже в конце девяностых годов. Так что я помещаю Сейферта¹²¹ в каждую свою книгу, в которой есть хоть какие-то переводы. Уже в «перестроечное» время венок был перепечатан журналом «Иностранная литература» со статьёй того же Франтишка Яноуха. А позднее Евгений Витковский включил этот венок в свою пузатую антологию переводов «Строфы Века — 2»¹²².

Видимо, Сейферт сказал что-то хорошее про меня и Володе Максимову, потому что Володя при встрече отвесил мне несколько неуклюжих комплиментов на эту тему. А вскоре он пригласил нас с Ветой работать в редакции. Сначала Вету, которая ушла для этого из «Русской Мысли», а потом и меня. Вете Максимов поручил отдел критики, а я заинтересовал его поначалу, как переводчик и человек, участвующий в переправке книг в СССР. Максимов справедливо решил, что у меня налажены кое-какие каналы, по которым вполне могут идти из СССР рукописи для «Континента». В общем, мне поручалась организация переправки рукописей на Запад. Мою работу мы ирони-

¹²¹ В конце 1984 года, в честь присуждения Ярославу Сейферту Нобелевской премии, я перевёл и опубликовал в «Русской мысли» ещё одну его поэму «Памятник Чуме», позднее включённую в моё «Избранное» (СПб, 1998).

¹²² Видимо, ему было почему-то очень важно представить меня переводчиком именно разных славянских авторов, (которых он тщательно перечислил в аннотации), и тем самым сделать максимально незаметной главную в моей жизни переводческую работу — английскую и американскую поэзию. Не знаю, зачем это было ему надо, но предполагаю, что Витковский, находящийся вроде и поныне в некоторой зависимости от Е. Евтушенко, слушался своего «патрона».

чески назвали отделом писем: ведь в каждом журнале есть такой отдел! Только решили, что в силу специфических условий «детективной» работы, будет лучше, если имя того, кто этим делом занимается, на обороте обложки в списке сотрудников журнала присутствовать не будет. Но конспирация была, как сказал Некрасов, «ух, ещё та», поскольку моё имя в полном виде или в форме инициалов всё равно присутствовало почти в каждом номере «Континента», только не в списке сотрудников, а в оглавлении.

Кроме стихов и переводов, я очень много писал для «Критики и библиографии», да и три четверти раздела «коротко о книгах», где у нас публиковались маленькие рецензии, тоже, в основном, писал я, так с номера шестого и примерно по шестьдесят какой-то. А «зав. отделом критики» валялась дома на диване, уткнувшись в телевизор, и только в последний момент что-то иногда лениво, хотя и неплохо, пописывала. Правда таким телевизионным образом она, в отличие от меня, в совершенстве выучила французский.

Журнал выходил в Париже в течение двадцати с лишним лет регулярно — по четыре номера в год¹²³. Редакция неизменно состояла из пяти человек: Владимир Максимов, Виктор Некрасов, Наталья Горбаневская, Виолетта Иверни (то есть Вета под её псевдонимом) и я¹²⁴.

¹²³ О популярности в СССР этого журнала (кроме прямых отзывов из Москвы, Питера, Новосибирска, Архангельска и ещё нескольких городов) косвенно свидетельствует тот факт, что в порту Калининграда, как нам сообщили из двух независимых источников в 1979 году, моряки расплачивались с проститутками экземплярами «Континента».

«Платит флотский проститутке —
Вынимает «Континент» —

Так откликнулась на этот факт Н. Горбаневская в ироническом стихотворении, помещённом на задней странице обложки журнала.

Это же, кстати, свидетельствует и о том, что раздаваемые морякам в портах Европы книги отнюдь не все «летели за борт», как утверждают порой некоторые эмигранты, попавшие на запад уже в восьмидесятых годах и позднее.

¹²⁴ Вот высказывание Сергея Довлатова о редакции вообще и о Некрасове в частности: «(Некрасов) Красиво председательствует на совещаниях. Мирит главного редактора с обиженными писателями (Виктор Платоно-

Помогали во всяких секретарско-технических делах Таня Максимова и Оля Свинцова, молодая француженка русского происхождения. В редакцию постоянно заходил народ потрепаться — часто забредали бывший московский актёр Лев Круглый и, приехавший в Париж в конце 1975 года, Вадим Делоне, самый младший из семи участников демонстрации на Красной площади против советского «наведения порядка в Чехословакии» в 68 году. Вадик писал довольно интересные стихи, но когда я ему говорил, что пора уже собрать первую книжку, он всегда как-то неуверенно отмахивался.



В редакции «Континента».
В. Максимов, В. Бетаки, Н. Горбаневская и В. Иверни.

Однажды он лег днем поспать и больше не проснулся. А было ему 36 лет. Книжка стихов Делоне вышла в Париже посмертно, в 1984 году. Мне кажется, что он погиб оттого, что ни-

вич так себя и называет «облезлый голубь мира»). Практическую работу выполняют Горбаневская и Бетаки. Распоряжения отдает Максимов. А вот отдуваться пришлось Некрасову. «Континент» — журнал влиятельный и солидный. Более того, самый влиятельный русский журнал. Огромные его заслуги — бесспорны. Претензии к нему — естественны. Предъявлять их можно и нужно. Но — по адресу».

как не мог жить не в Москве, не мог найти себе нишу. И то, что один из его предков был француз — сын убитого в 1789 году последнего коменданта Бастилии, во времена Французской революции эмигрировавший в Россию, нисколько не помогало. Легенды и предания, в том числе и семейные, мало кому помогают выжить. Так что Вадик пил пиво в неумеренных дозах и ходил трепаться в редакцию «Континента».



У входа в редакцию:
В. Максимов, А. Галич и В. Делоне.

Теперь — о Максимове. Он был человеком неожиданным и даже тяжёлым. Подозрительность, которую он, видимо, унаследовал от блатного мира, не давала ему покоя, и он про каждого нового человека задавал себе, а иногда и кому-нибудь из близких людей, всегда один и тот же вопрос: «предаст или не предаст». При этом он был добр и помогал многим людям, оставшимся в России, в частности, регулярно переправлял деньги

своему старому другу Юрию Левитанскому, хорошему поэту и житейски неприспособленному для борьбы за место под солнцем человеку. Помогал он и своим родным. Максимов происходил из семьи рабочих-железнодорожников, и его родственники продолжали жить в провинции и работать на железной дороге, так что можно легко представить себе, каково им пришлось в начале девяностых годов.

Максимов уделял непомерное внимание одежде, а поскольку вкусы у него остались вполне советские, стандартные, то дорогой (обычно светлосерый) костюм с модным галстуком был для него главным показателем социальной значимости человека. Пожалуй, манеру одеваться, как попало, он терпел только у меня, довольно быстро примирившись с моим упрямым нежеланием обращать на это внимание. Да ещё на Наташу Горбаневскую, с её хипповатой манерой, тоже махнул рукой: а вот от прочих женщин, отчего-то требовал (молча и в пределах своего вкуса) какой-то «элегантности» в одежде...

Была у него одна беда: нечастые, раз в три-четыре месяца, но очень тяжёлые запои. Случайно на каком-нибудь приёме чутков выпив, он уже не мог остановиться. По сути дела, это был пивной алкоголизм в самом классическом виде: от пяти до восьми дней он пил только пиво и воду, ничего не ел. В такие дни он иногда мне звонил, просил приехать. Я приезжал, и Володе этого было довольно: я читал или работал, он пил, спал, снова пил, только просил посидеть с ним подольше — будто боялся оставаться сам с собой. Если же дома была его жена, Таня, он и вовсе успокаивался, но пива требовал примерно раз в полчаса...

Он старался быть справедливым во всём, но удавалось ему это, в основном, в мелочах. При этом он любил повторять, что если Бог был бы справедлив, он бы всех нас в порошок стёр...

Когда в 1976 году из редколлегии «Континента» ушли Синявские, Максимов очень злился: «левые и есть левые, что тут поделаешь!». Сначала он только бросал в их адрес упреки, что они «сознательно, или нет, неважно, но полезны советским властям, что раскол в эмиграции выгоден только левым...». Ну а потом по логике развития ссоры начал верить, что Синявские — агенты влияния. Написал довольно хамскую, несправедливую, с передёргиваниями, раздражённую, книгу, «посвященную», в основном, европейским левым — «Сагу о носорогах».

Но когда в «перестройку» из архивов КГБ выплыл документ, посвященный разработке гэбэшного задания по дискредитации Синявского в глазах эмиграции, Максимов на следующее же утро позвонил Синявским и пришёл к ним в дом с извинениями, закончив тем самым пятнадцатилетнюю вражду.



Обложка «Континента» № 23, 1980

На фотографиях: В. Бетак, В. Барка, В. Чалидзе, К. Сапгир и Г. Андреев.

Иногда бывал Володя даже человеком «церковным». Но религиозность его была какая-то интеллигентская, с философствованием, и потому мои весёлые кощунства его не шокировали. У него была отличная память, и начитан он был невероятно, при этом очень бессистемно, с огромными неожиданными пробелами.

У него было одно очень мне близкое и нечасто встречающееся свойство: всякий раз он начинал писать с чистого листа, перешагнув через всё, что написано в прошлом... Уменье и писать и жить, не таща на себе груз прошедших лет. Изредка он писал и стихи, но очень стеснялся и показывал их, вроде бы, мне одному, зная, что ни льстить, ни ругаться попусту я уж точно не стану.

На отдел поэзии в «Континенте», претендовал и я и Наталья Горбаневская. Володя решил, что составлять подборки стихов мы с ней будем через номер. Скоро, конечно, всё смешалось, четкая очередность нарушилась, и все двадцать лет мы с Наташей переругивались, поскольку подход у нас совершенно не совпадал. Горбаневская отчего-то старалась публиковать побольше «крайних модернистов» или «абсурдистов», при том, что сама не относилась ни к тем, ни к другим. Впрочем, и поэтам со склонностью к абсурду Наташа иногда, без всяких оснований, тоже ставила палки в колёса. Старый поэт, оберегствовавший Игорь Чиннов, писал мне как-то из Майами:

«...Ке фер-то, фер-то ке?» — спрашивал генерал в рассказе Тэффи. Так вот, кстати, о «Континенте»: охотно бы послал стихи, да боюсь. Наташа Горбаневская не числит меня среди своих фаворитов. Не хотелось бы ткнуться в захлопнутую дверь. Что скажете?..».

Что я мог сказать старику? В утешение ему напечатал в следующем номере свою рецензию на его очередную книгу стихов. Я и поныне считаю, что Наташа охотно печатала только тех поэтов, которые работали в совершенно несвойственной ей манере, хотя бы просто в силу разности поэтического подхода. И глядя на это, я вспоминал Твардовского, который на вопрос, почему в «Новом мире» печатаются плохие стихи, ответил, что так и должно быть у редактора-поэта: если он, Твардовский, к примеру, торгует селёдкой, сосед пусть лучше хоть кружевами торгует, но не селёдкой же!

Самым любимым делом Наташи были корректуры. Тут она разгуливалась, как могла. Она словно бы питалась корректированием. Кто-то во Франкфурте нарисовал карикатуру: Наташа на четвереньках, хвостатая и с корректурой в зубах, вроде собаки с костью, урча, убегает за угол дома... Ещё одна забавная деталь. Наталья очень просила нас всех в редакции, не материться в её присутствии: «Я всё буквально тут же вижу», сказала она как-то почти серьёзно. На это Максимов заметил, что чью-то, даже незнакомую маму представить себе в непристойном виде, это ещё куда ни шло, а вот если произносятся... моржовый, то что тогда Наташа видит??? Была тогда, как я помню, у неё какая-то

субъективная несправедливость... Но при всем при этом поэт она настоящий и ни на кого не похожий! И это главное¹²⁵.

* * *

В 1975 году отмечали юбилей Ростроповича. В связи с этим я взял по телефону интервью для «Континента» у знаменитых музыкантов Стерна (США) и Фон-Караяна (Германия), а вот к великому пианисту Артуру Рубинштейну я за тем же интервью просто ходил пешком, он жил, как оказалось, в пяти минутах от нашей редакции. Никогда бы не подумал я, что с огромной авеню Фош, идущей от площади Этуаль к Булонскому лесу можно, пройдя какой-то переулок, вдруг попасть на маленькую площадь, вполне сельскую, всю в платанах и акациях. На неё палисадниками выходили 4 одноэтажных домика, а уж за ними виднелись густые сады, и только за садами — задние стены восьмиэтажных домов на каких-то авеню...

На следующий день после пышного празднования в квартире у Ростроповича, он пригласил всех нас на торжественный концерт. В антракте я вместе с французским журналистом Кшиштофом Глоговским вышел в фойе. И тут Кшиштоф представил меня яркой и крупной даме лет на десять постарше меня, которую он называл Тина. Она была в тяжёлом и длинном сером «капе», (накидке-крылатке) и я отметил про себя, что цвет этого капа точно повторяет цвет её глаз. Глоговский извинился, и убежал. А она задумчиво смотрела сначала в пространство, потом на меня:

— Так Вы — Бетаки? Ваш отец художник? Да?

— Был... Он погиб в блокаду в 1942 году... А что?

— Да просто я помню хорошо от моего отца эту фамилию — они в юности вместе работали в РОСТА... Ах, да. Я — Тина С., если вам это что-то говорит...»

Мы разболтались, и в зал на второе отделение, понятно, не пошли. А Тина среди других разговоров предложила мне утром поехать к ее отцу.

¹²⁵ См. статью «За гранью трагедии» о её поэзии в моей книге «Русская поэзия за 30 лет». Нью-Хейвен, США. 1987.

— Да, у меня вон внизу, за углом в церковном дворике машина — начал я, но она смело перебила: «Ну, уж нет, в Ниццу на машине? Поедем утренним экспрессом...» И, заметив моё смущение, добавила: «Да вы не стесняйтесь, для меня это не деньги, смотрите на вещи проще. А сейчас...»

Но я перебил её тоже со смехом: «Утренним? Согласен, но... если до утра мы время проведём вместе! А?»

— Ну а почему бы и нет? — засмеялась она. — Я ведь уже месяца два как совсем свободная: с мужем разошлась... Этот Ваш приятель, Кристоф у него в журнале работает... Ну так вот... — она секунду помолчала, и решительным тоном добавила, — выпиваю я... лишнее... Да и дети оба взрослые, остались у мужа... А я вот тут за углом, на Курселе снимаю пока «шамбр де бон». У отца вообще-то в доме на юге места много, моя комната тоже там есть... Она запахла свой широкий «кап». Что ж, пошли!

Мы поднялись на лифте до восьмого этажа, а затем перейдя на чёрную лестницу ещё на один этаж пешком. В длинный коридор выходило более десятка дверей. Я впервые видел такой «этаж для прислуги». Мы вошли в маленькую комнатку, где помещалась широкая кровать и какой-то ломберный раскладной столик. С одним стулом. Я тут же сдёрнул с неё кап. «Не торопись, у нас вся ночь есть ещё. А ты, скажи, не против, если я сначала выпью? Хочешь тоже?». Я не отказался и бутылка «бордо» опустела минут за 15. Она пила и одновременно раздевалась. И я увидел, что не ошибся. Была она невероятно соблазнительная: «вырезная». Полная, но не толстая и... вся бронзовая от загара.

Заснуть, короче говоря, нам удалось только утром часов в пять. И ясно стало, что успеваем мы кой-как лишь на десятичасовой поезд. В вагоне я вёл себя поначалу как дикарь: впервые видел такое роскошное двухместное купэ. После того, как проводник проверил билеты, Тина заперла дверь и весело глянула на меня. Мы мгновенно разделись и до самой Ниццы одеваться не хотелось (да и некогда было)... Я вспомнил Ольгу Сергеевну, (директоршу детского сада): они были схожи и фигурами и темпераментом...

На такси мы приехали с вокзала в какой-то крохотный городок минутах в 15 от Ниццы. Оказывается, Тина уже успела по-

звонить своему отцу и предупредить его о нашем приезде. Старый художник встретил нас в дверях. «А ведь Вы похожи на Павла... — пробормотал он... Однако, вместе с тем что-то и еврейское я в лице у Вас замечаю. А?.. Ах, мама Ваша? — Да, — ответил я и вкратце рассказал то, о чём старик не мог знать, поскольку эмигрировал он году в 24-ом.... Во время обеда он всё расспрашивал о моём отце, и видно было, что разговор переносит его в те двадцатые годы, которые для меня существовали только по рассказам и книгам.

— Вижу — Тинтин Вас уже прибрала к рукам? — ехидно сказал старик — ну ладно, идите-ка на пляж. Сейчас там пусто. Ещё пару недель, как не будет никого...

Тина очень удивилась, что я плавать не умею. И заставила меня ждать на этом пустом пляже с полчаса, пока она приплыла. Расстелила огромное полотенце морского цвета... Но тут лучше всего расскажут о ней стихи, написанные в те же дни, и слегка переделанные несколькими годами позднее...

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ

(Обнажённая в золотистых тонах)

Где в море душу вливая,
Опять дрожит река,
Осоку раздвигая —
Оливковая рука...
Валькирия тяжёлая,
Звенит глухою медью,
Отряхивая волосы,
Над виноградом мидий.
Июнь — белее белого —
Он даже ночью белей
Цветков жасмина, сделанных
Из платиц мелких фей.
На фоне ветра белого,
Чуть влажная и медная,
Она идёт так медленно
По краю летних дней...
Звонят по меди искорки
Опавших лепестков —
Фарфоровые осколки
От статуй старых богов.
Давным-давно покинуты

Античные они,
И в воду опрокинуты
Обычные огни.
С холмов седого ветра дым
Над яркостью осок
И сквозь зелёный свет воды —
Коричневый песок.
Валькирия тяжёлая
Звенит глухою медью
И отжимает волосы
Над виноградом мидий,
И волосы — как водоросли,
И тёмн медный цвет...
По камушкам.
Над водами.
Вдоль края летних лет...

Я прогостил у С. три дня и должен был возвращаться в Париж — подходил день моей радиопередачи. А Тина осталась ещё у отца. После этого эскапада мы время от времени с Тиной встречались, но к зиме встречи становились всё реже, и как-то сами собой «ушли в песок». Хотя к старому Мастеру я ещё раз года через два заезжал, когда ездил навещать в Йере старушку Одоевцеву.

* * *

В начале 1974 года в Питере шла свинская возня вокруг Ефима Григорьевича Эткинда. Его книги изымали из библиотек, его в один день уволили из института, лишили звания профессора и даже — чего и в СССР ещё не бывало, — докторской степени! Ему вменяли в вину разное, но все же самое дикое: «методологические ошибки 1949 года». В общем, власти перед всем миром расписались в том, что они и ныне стоят на тех же самых мракобесных позициях, что и четверть века назад, и являются без какого-либо преувеличения наследниками сталинской опричнины! Обо всём этом — о том, как его вынудили уехать — Е. Эткинд позднее написал книгу «Записки незаговорщика».

Когда я в очередной раз уже осенью позвонил ему в Питер, Е. Г. сказал мне, что, вероятно, мы скоро увидимся. А через пару недель после этого моего звонка Никита Струве сообщил мне, каким поездом Эткинд с семьёй прибывает из Вены в Париж.

На вокзал приехал Струве, я и двое профессоров-славистов из «Нантера» (университет «Париж—10», где Эткинда, естественно, уже ждала профессорская должность). С вокзала мы все поехали на временную квартиру, принадлежавшую одному из друзей Никиты, который уехал в это время на полгода читать лекции в Америку. Хотя квартира была невелика, и Ефим Григорьевич с Екатериной Фёдоровной, двумя взрослыми дочерьми и маленькой внучкой там едва разместились, но зато она находилась на первом этаже и огромное окно-дверь гостиной выходило в небольшой замкнутый палисадник на «Марсово Поле» метрах в двухстах от Эйфелевой башни.

Часа через полтора, когда Струве и другие профессора уехали, мы вышли, вдвоём с Е. Г., побродить по дорожкам. Он сказал, что самое непривычное ему не то, что вот он, прочно «невыездной», разгуливает около Эйфелевой башни, а то, что зима уже на носу (это по его питерским представлениям: ведь был всего лишь конец октября!), а трава всё ещё ярко зелёная. Про башню все пишут, а вот про траву эту никто и не рассказывает.



Е. Г. Эткинд
с обложки его последней книги «Барселонская проза».

Потом разговор перешёл на нашего общего друга и моего учителя — Павла Григорьевича Антокольского. Ефим Григорьевич вспомнил, как на спуске к Неве в сотне шагов от «Большого дома» Антокольский как-то «прорычал» ему стихотворение, которое, как я думал, мало кто знает: «Мы все лауреаты премий»:

Пускай нас переметит правнук
Презрением своим,
Всех одинаково, как равных —
Мы сраму не таим...

Это были стихи об ответственности поколения. Они и поныне не напечатаны...¹²⁶ А теперь, когда нет «Самиздата», этому, стихотворению, возможно, и вообще грозит забвение...

Первое, что Е. Г. собирался сделать в парижской жизни, — это подготовить к печати свою, как он считал, главную и много-страдальную работу: «Материя стиха». Он ещё в Питере узнал, что парижский «Институт Славистики» взялся ее издать. Потом работа затянулась: ему всё время хотелось что-то добавить или переделать, и эта замечательная книга вышла только в начале 1978 года. А еще Эткинд привёз мне архив покойной Веры Френкель. И рассказал, что Вера выкинулась из окна. Произошло это в марте. Она почему-то в прошедшую зиму — впервые против своего обыкновения — не уезжала из города на юг...

Я тут же сделал о ней невесёлую передачу по «Свободе». Называлась она «Дожди, дожди»... Мало кто помнит в наши дни об этой трагической личности, об этой очаровательной и странной женщине — Вере Френкель. Она была очень маленькая, с очень «вырезной» фигуркой, одета подчёркнуто архаически, всегда со шнуровкой спереди на талии, с огромной копной пепельных пенных волос и в огромных очках. Лица поэтому было почти не видно. Возраст тоже ускользал от собеседника. С одинаковой вероятностью ей можно было дать и двадцать пять, и сорок пять... Я до сих пор точно так и не знаю. Наверно, где-то посередине... Когда-то она посещала литобъединение Глеба

¹²⁶ Я ошибся: эти стихи полностью приведены в очерке Е. Г. об Антокольском. (См. «Барселонскую прозу»). И ещё, они с подробным комментарием входят в книгу избранных стихов Антокольского, составленную и прокомментированную мной, которая готовится к изданию в серии «Новая Библиотека Поэта» (СПб).

Семёнова. А мы познакомились, на заседании секции переводчиков в Доме Писателей, она тогда ходила в скандинавский семинар Сергея Владимировича Петрова. Она открыла польского поэта, Тадеуша Ружеви́ча и перевела множество его стихов.

Как-то раз она принесла мне стихи позднего немецкого романтика Э. Мёрике, и стала настаивать, чтобы я перевёл несколько его баллад для готовящейся книги. Я перевел то, что она просила, и пришёл с этим к ней. Она жила в одной квартире с двумя своими сёстрами (обе намного старше её). Вера не вылезла из постели: сказала, что слегка болит голова. Переводы я в этот день так и не достал из сумки: пока мы беседовали, что-то меня заставило пристально вглядываться в это лицо, впервые увиденное без очков. Я её лица до тех пор и разглядеть-то ни разу не мог, хотя знакомы мы были уже лет пять. Она сидела, ноги под одеялом, в какой-то белой полураспахнутой рубашке, и сама невероятно белая, по крайней мере, и шея, и плечо, с которого рубашка чуть сползла, были белей бумаги. Я спросил осторожно об этой бледности, может, она себя плохо чувствует? Но она беззвучно засмеялась и сказала, что всегда такая... Я придвинулся с креслом ближе. Она улыбнулась... Я молча протянул руки. Она молча наклонилась ко мне. Дальше всё было тоже молча.

Она была вся очень тихая, очень белая. Но это была вовсе не анемичность, я бы сказал про неё одно: белопенная. Пенились не только волосы, распущенные, как всегда, пенной казалась она вся. Беззвучная, легчайшая, белая пена... Это была какая-то потусторонняя русалочья сексуальность, тихая, белая и всё же ненасытная. Но — ни одного движения, ни разу даже не шелохнулась, только каждый раз — длинный, немислимо длинный выдох.

Потом, до самого моего отъезда, наш «молчаливый роман» то на несколько месяцев затихал, то вдруг снова оживлялся непонятно как, когда и отчего... Я изредка заезжал к ней, когда её сестёр не было дома, да и она иногда приезжала ко мне, но только в солнечную погоду. Словно её пенность боялась питерских дождей и серого неба. Так оно и было: с конца октября и по крайней мере до Нового года она исчезала из города: не выносила темноты и промозглости питерской осени и зимы. Куда? А «на юг», подробнее не знал, наверное, никто.

В один из её приездов ко мне, несмотря на её крайнюю немногословность, мы всё же разговорились как-то более откровенно, чем обычно, и она спокойно сказала мне, что ей всё равно, сколько у меня баб, и что она «ни одного из своих любовников» не ревнует: «Лишь бы хотел *меня*, а прочее неинтересно», — спокойно и как бы лениво прошуршала она.

И вот в конце 74 года в Париже Ефим Григорьевич передал мне её архив. Сказал, что такова была ее воля. Как и когда она сказала об этом Эткинду, я, разумеется, не спрашивал, а он не говорил... В архиве не было ни одного перевода. Только стихи. Короткие тихие миниатюры, тихие и белопенные, как сама Вера...

Но почему вовсе нет переводов? Ефим Григорьевич предположил, что просто все её переводы давно опубликованы. Но я не уверен и в этом. Переводила Вера со всех скандинавских языков и почти со всех славянских. А еще с немецкого, который знала, как второй родной. К подстрочникам она относилась ещё непримиримей меня: «Переводить, не слыша звучания, да это же исполнять музыку композитора, которого никогда не слышала, нот которого не видишь, а так, потому что тебе о нём рассказали».

А стихи... Вот одно из них, из всего двухсот, примерно, написанных за тридцать лет:

Ветки сами блестят. Без солнца.
Солнце боится до них дотронуться.
Там на дереве выросли коготочки
Белые.
Разве поверишь, что это — почки?

В чём она, трагичность этой тишайшей, как и её автор, миниатюры? В неуловимой интонации? Кто-то недавно сравнил миниатюры Веры со стихами Г. Айги, но я не согласен: снежно-рябиновые строчки Айги — все — писались как бы специально «под перевод», для западных поэтов-переводчиков, чтоб им проще было... Так мне кажется...

А тут тихий белый выплеск, всплеск. Так её и не напечатали никогда... Я хотел издать в Париже небольшую книжку её стихов, художник Генрих Элинсон, в свой очередной приезд из Калифорнии, сделал серию полуабстрактных иллюстраций, но

тут моё крохотное издательство «Ритм» закончило своё краткое существование. А больше издавать было негде...

ДРУЗЬЯ, СТИХИ И...

(1976—1980)

Валя Павлова. Синявские и Максимов.

В память о Татьяне Григорьевне Гнедич. А. А. Галич.

«Некто, именуемый Аллой». Стихи Юрия Одарченко.

Поездки в Америку. Эдик Штейн. Алексис Раннит

Весной семьдесят седьмого года у художницы Валентины Шапиро я познакомился с другой Валею — Павловой. Мы с ней мгновенно подружались. Валя была из детей первой эмиграции, родилась в Париже перед войной. Отец умер. После войны Валина мать вышла замуж вторично — за человека, жившего в городке Труа на востоке Франции и руководившего во время войны местным сопротивлением, по происхождению гагауза из Молдавии. Отчим Вали был человек интереснейший. Великолепный рассказчик, он, к сожалению, был уже стар и слеп, когда Валя привезла меня с ним знакомиться.¹²⁷

Старики жили в небольшом домике, который Валя купила им недалеко от «французской Венеции», города Монтаржи в ста с лишним километрах от Парижа. Было у них две собаки и четыре кошки. Одна из них в первый мой приезд как раз принесла двух котят, один был полосатый. А второго дымчатого и пушистого котенка нарекли Гри-ша.¹²⁸ Эта вот Гри-ша побила все рекорды продолжительности кошачьей жизни: дожила до двадцати двух лет и умерла несколько лет назад.

Мы с Валею стали много, используя практически все свободное время, путешествовать по Франции, то на поезде, то на моей машине, а то и просто пешком. Вот когда я действительно узнал эту, наверное, самую разнообразную страну Европы...

¹²⁷ Поскольку название городка «Труа» по французски означает и гоме-ровскую Трою, то я называл старика «троянцем».

¹²⁸ По французски это звучит как «серый кот».

Само собой разумеется, что мы сошлись на третий день нашего знакомства. И я лет пять, по сути дела, жил «равновесно» на два дома. Совсем откочевать к Вале я не мог: она, добрейший и умный человек, была тогда настоящей зависимой алкоголичкой, и вечером, когда напивалась, часто становилась трудно выносимой.

Лет через десять наши отношения постепенно перешли в просто дружеские...

По Валиной просьбе Валя Шапиро написала для неё мой портрет, причем в шутку и к моему большому удовольствию, сделала меня неудовимо похожим на Вольтера...¹²⁹

Валя — человек удивительный, в ней превосходно сочетается отличное владение русским языком с полнейшей принадлежностью к французской культуре. Есть среди эмигрантских детей люди почти начисто забывшие о своем русском происхождении, и наоборот — знаю я пару очень уродливых случаев, когда человек родился во Франции, но не знает ее и живет бессмысленными грезами о несуществующей старой России... А вот таких, как Валя, француженок русского происхождения я больше не знаю. Она открыла мне Францию — и страну, и людей. Ну а она, общаясь со мной, стала читать больше русских книг. При всей ее прекрасной образованности русскую культуру Валя долго вообще знала только пятнами. Так что мы всегда общались «на границе двух сред обитания, встречаясь в полосе приобоя», как я это когда-то сформулировал.

Валя много лет работала личным переводчиком директора крупной инженерной фирмы, часто ездила в СССР, так что совершенно независимо от меня её язык становился лучше и богаче. Появилось у нее и несколько русских подруг из третьей эмиграции. Одна из Валиных подруг, Оля Абрего, оказавшаяся в Париже, благодаря испанскому мужу, стала французской актрисой, что тоже не часто. Её потом в театре прозвали «самая большая женщина Франции». В 1991 году Оля познакомила Валу с новым своим «пети ами» (он и верно рядом с ней был весьма «пети»), русским скульптором Гуровым. Он «эмигрировал» из СССР сразу после «перестройки» весьма забавным способом: приехал в громадном контейнере вместе с собствен-

¹²⁹ См. этот портрет в начале книги.

ными огромными скульптурами, которые должны были быть на выставку вовсе даже без автора. Поболтавшись немного в Париже без документов, Гуров решил попроситься в Австралию. Идея эта всем гуровским знакомым показалась бредовой, однако же, физик Боря Великсон, наш близкий друг и сосед по Медону, заполнил для Гурова нужные анкеты на нормальном английском. И вот чудеса на свете бывают — наш скульптор получил из Канберры положительный ответ. На радостях и в благодарность за услугу Гуров предложил Боре выбрать в подарок любую скульптуру. Однако же выбирать было практически не из чего — большая часть скульптур не могли поместиться в комнате с современной высотой потолков. Так у Бори появилась самая из них маленькая — «Железная Маша». Узорная с прихотливыми изгибами; в ней, по-моему, слегка проглядывает матвеевская фактура в обработке поверхности, хотя статуя и тонирована под позеленевшую бронзу.

Гуров в Австралию так и не поехал. Валя показала его скульптуры своему другу Лорану, директору лицея в Монтаржи, а Лоран, которому скульптуры очень понравились, заинтересовал ими мэра города. В результате, мэр пригласил Гурова на должность «главного скульптора города Монтаржи». К сожалению, у этой рождественской истории оказался очень печальный конец. Гуров на радостях поехал в Россию, и там, пьяный, угодил в смертельную автокатастрофу около Пскова...

У Вали я познакомился и с её французскими друзьями, в том числе и с Лораном. Он был одним из руководителей студенческих волнений 68 года, по специальности — учитель биологии, по происхождению — маркиз, по интересам — великий гастроном. Года за четыре до нашего знакомства он своими руками построил себе дом, а когда-то ещё раньше прожил некоторое время в монастыре траппистов («молчальников»).

И сама Валя, и её друзья, с которыми я у неё познакомился — всё это люди 68 года. Но, пожалуй, эти мемуары повело такими тропками, что французы в них никак не могут поместиться. Не знаю уж почему, но так. Так что я — только про Валу. Она — один из лучших фотографов, каких я когда-либо знал. Каждый год, а теперь, выйдя на пенсию, и дважды в год, она ездит по разным экзотическим странам и привозит каждый раз сотни слайдов. Почти целая стена занята у неё ящичками с

этими слайдами, систематизированными и размещёнными так, что любой можно в минуту отыскать.¹³⁰ Но, кажется, лучшие Валины фотографии посвящены острову «Сан Луи» в Париже. Это ее квартал, где она живет в старинном доме, в квартире, в которой на трёхсотлетних дубовых балках держатся высоченные потолки. Когда-то во время войны Валя с мамой вселились в эту квартиру, потому что их дом разбомбили. Тогда старинные дома на «Сан Луи» были трущобами, а сейчас квартиры на этом острове из самых дорогих в Париже. Но живет там, к счастью, множество старожилов, и до сих пор, несмотря на туристов, там сохранилась та особая атмосфера, которая делала разные парижские кварталы отдельными деревнями со своей жизнью. Вот эту жизнь и удастся Вале ухватить на своих фотографиях. А еще есть у нее серия «сад». Бывший мамин сад в деревне зимой, летом, весной, осенью... А сад чудесный — у Валиной мамы был талант — любая посаженная в землю веточка приживалась.

* * *

В 1976 году из редколлегии «Континента» вышли Синявские. Это никого не удивило — их несовместимость с Максимовым была видна за версту. Я тоже постепенно перестал бывать у Синявских. Их я воспринимал, как слишком «левых», а политическую позицию считал в те годы важнее человеческой. Я считал себя твёрдым центром, и мне казалось, что водиться с Гюнтером Грассом или с Генрихом Бёллем, при их сочувствии к террористам, да и к СССР — это невыносимая слепота. Каким образом я ухитрялся тогда не увидеть, сколько тот же самый Бёлль на самом деле сделал для людей, боровшихся с советской властью, не знаю.

В момент «обозления на политической почве» я опубликовал в «Стрельце» какой-то обзор очередного номера «Вестника РСХД», и походя лягнул столь любимые мной «Прогулки с Пушкиным». В общем, выставил себя с голой жопой... Стыдно мне за это стало очень скоро, и я долго думал, как бы вообще научиться не смешивать политику с эмоциональными порывами.

¹³⁰ Это всё относится к времени, когда цифровые аппараты практически ещё не существовали.

вами. Но если этого сам Юлий Цезарь не мог придумать, куда уж мне...

А ведь с другой, с «правой стороны», — всё было куда хуже. Всякие дураки, чаще всего из «второй», то есть военной эмиграции, водившиеся с кем попало, лишь бы «справа», всей толпой делали реверансы перед Солженицыным. Ну а сам Солженицын, который, едва приехав, начал учить жить западных людей?.. И так — с одной стороны интеллигентность, раздражавшая некой непоследовательностью и тем, что я называл «левацкими всплесками» (скорей идущими от Марьи, чем от Андрея). Марья вообще-то любит повторять, что она, мол, очень любопытна, и в сферу ее интересов входит «гельминтология», а посему она общается со всякими, вплоть до ультрасоветских, исследует их... Ну, а с другой стороны «справа» была антикультурная охранительная тупость и жлобство. И полное отсутствие чувства юмора. Слово у всех у них оно было ампутировано! В моем тогдашнем представлении о жизни оставалось только жить по анархистской частушке:

Эх яблочко
цвета ясного,
Бей слева белого,
а справа красного!

1976 год. Осень. Звонок Эткинда. Умерла Татьяна Григорьевна Гнедич. В проклятый день, в годовщину октябрьского... восстания, пугча, переворота? — да не всё ли равно, как это называть! Потом, когда я опубликовал в «Русской мысли» большой очерк «Памяти Т. Г. Гнедич», Ефим Григорьевич написал мне: *«Вы сделали важное и необходимое дело, верней начали его... прочтут и оценят подвиг и жизнь человека, которого мы любим и который достоин преданной памяти».*

...Как сообщила мне из Питера уже в ноябре 2002 года Галя Усова, в Царском Селе на доме на Дворцовой улице, где Татьяна Григорьевна прожила последние годы, в день её смерти, но двадцать шесть лет спустя, 7 ноября 2002 года, установили наконец мемориальную доску. *«Уходят, уходят уходят друзья...»* — и превращаются в мемориальные доски. *Вот, наверное, что такое на самом деле «экзистенциальный ужас»...*

Гитара Галича (вторая, из служебного кабинета на радио) висит в доме у Толи Шагиняна... Мы познакомились с Александром Аркадьевичем на конференции журнала «Посев» в июне 1974 года во Франкфурте. Он был тогда только-только из России — утром прилетел во Франкфурт из Вены, а на следующий день уже уезжал в Норвегию по приглашению известного художника Виктора Спарре, с которым подружился ещё во время поездок того в Москву. Мало того, Галича еще в Вене ждало предложение получить норвежское гражданство (по указу короля), только Галич гражданства не взял — он хотел остаться политическим эмигрантом, тогда ему это казалось очень важным, как и многим из любой эмиграции...

Вечером Галич пел. Было два отделения: в первом разные песни, а во втором он исполнил целиком «Кадиш» и поэму «О бегунах на длинные дистанции» (Она же — «Поэма о Сталине»). После вечера мы с ним долго разговаривали, сначала в редакции «Посева», где нас было четверо вместе с двумя сотрудниками журнала, а потом в пивной мы болтали уже вдвоём.

Около года Галич прожил в Норвегии, где он читал в Университете лекции по истории русского театра, а потом переехал в Мюнхен и стал работать консультантом при главной редакции «Свободы». Он регулярно выступал в программе «У микрофона Галич». За время, пока Галич жил в Мюнхене, мы с ним виделись довольно редко, иногда в Париже, а иногда в Мюнхене — я периодически должен был бывать в главной редакции «Свободы».

А потом Галич с повышением в должности был переведён в Париж и стал заведовать всей культурной программой радиостанции. Интересно, что этот его переезд, о котором он сам просил, и его просьба тут же была удовлетворена директором «Свободы» Ф. Рональдсом, в советской печати был истолкован, как «ссылка» в Париж из Мюнхена! Дескать, не справился Галич с консультантскими делами, вот его и сослали заведовать всеми культурными программами радио «Свобода»¹³¹. Мы с Некрасо-

¹³¹ Вот как пишет «Неделя»: «В Мюнхене Галича ждал *новый удар*. Вашингтон решил перевести своего барда вместе с „культурной“ секцией радиостанции „Свобода“ в Париж на должность *руководителя этой секции*». С. Григорьев, Ф. Шубин. «*Это случилось на „Свободе“*» «Неделя». 1978. № 16. А вот и ещё: «Хозяева радиостанции «Свобода», недовольные его поведением, приняли реше-

вым на второй день после приезда Галича в Париж провожали его из редакции «Континента» пешком на другой берег Сены в помещение радио. «И ЩУКУ БРОСИЛИ В РЕКУ», — сказал Галич, войдя в свой новый кабинет на улице Рапп. «А как тебе название улицы?», — спросил Некрасов. «Да, не очень подходяще!» засмеялся Галич¹³². А минут через десять после нашего прихода Ризер вызвал из студии Толю Шагиняна и повёл нас четверых в бретонский ресторан на той же улице Рапп — отпраздновать прибытие Галича.

До самой своей гибели Галич был редактором всех моих передач. И чаще всего первым читателем моих новых стихов. Даже не читателем, а слушателем. Я ещё очень горжусь тем, что мы в соавторстве с ним сделали несколько больших радиопрограмм. Особенно я люблю нашу тридцатиминутную композицию «Париж в русской поэзии». Мы оба читали стихи поэтов разных времён, рассказывали о них и о Париже, Галич пел. Вёл эту передачу, как и все другие такого рода передачи, Толя Шагинян. Все эти парижские годы Галича мы встречались, как минимум, раз в неделю в редакции радио¹³³, время от времени у него дома, иногда в редакции «Континента», или двумя этажами ниже, в квартире у Максимова.

В Париже Галич написал «Осенние прогулки», — свой вариант «Оперы нищих».

Совершенно в соответствии с традицией жанра, идущей ещё из семнадцатого века, от Джона Гей, Галич выпустил на сцену

ние о понижении Галича в должности. Так Галич стал рядовым сотрудником парижской секции „Свободы“». (Догонов В. Закон Судьбы. О трагедии Александра Галича // Человек и закон. — 1989. № 6.) Так рядовым или руководителем??? Стоворились бы врать одинаково!

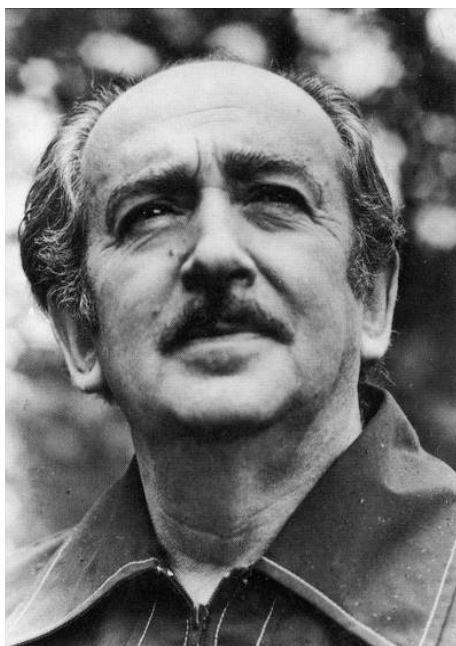
Привожу подробно эти ссылки на недостойные газеты и журналы, поскольку страна должна знать не только своих стукачей, но и своих самых наглых лжецов!

¹³² На самом деле, понятно, никакого отношения эта улица не имеет к отвратительному детищу Ленина и Луначарского «Российской ассоциации пролетарских писателей», (игравшей, кстати, главную роль в травле В. Маяковского). Улица носит это название с 1864 года. Названа в честь наполеоновского генерала Раппа (1773—1821).

¹³³ Поскольку я, не желая служить в штате (тем более что одновременно работал в «Континенте») был «free lance» все двадцать лет моей работы на «Свободе», то приходил в редакцию только раз в неделю записывать свои передачи.

ленинградского шалмана персонажи из всех классов советского общества. И всё это нынешнее «дно» — от спившегося работяги до «действительного члена» КПСС заговорило, запело, закричало смехом и горем, позором и яростью...

У Р. Бёрнса в его «Весёлых нищих» — солдат, маркитантка, вор, кузнец, цыган. У Галича — работяга, «два учёных алкаша», буфетчица Света (бывшая учительница), партийный чиновник... У каждого своё горе, своя тема, и своя мелодия. Когда эта поэма появилась, сразу стало ясно, что очень многие песни Галича к ней естественно примыкают. И «Генеральская дочь» из «Караганды», и напуганные маляры со всезнающим истопником, и солдат из «Вальса посвящённого уставу караульной службы», и бывший зек из «Облаков», и палач из «Заклинания», и Зоценко, и Ахматова и Блок, и Мандельштам, и незадачливый муж Парамоновой...



А. А. Галич.

Да просто все его герои. И сам автор, пишущий «Письмо в XVII век» или беседующий с чёртом...

И Галич действительно хотел поставить в Париже этот грандиозный мюзикл! Хотел в нём играть сам, а Шагиняна пригла-

сильно сорежиссёром, да и на несколько ролей сразу, и Некрасова тоже — он ведь бывший актёр! Мне планировалась роль чёрта. Об этом будущем спектакле он не раз говорил, всё собирался сесть за «сценарий»... Не успел.

А я всё думаю: может, отыщется в России режиссёр, который сможет поставить этот спектакль?

Мы все довольно часто бывали у Александра Аркадьевича дома — Шагинян, Некрасов, Эткинд, я... Входила неслышными шагами Ангелина Николаевна (Галич называл ее Нюша), седая и элегантная, садилась всегда в одной и той же позе в широкое кресло у окна в углу. Иногда он пел для нас, троих или четверых. Пел новые песни, а по нашим просьбам, и старые. Я читал новые стихи и переводы, Эткинд читал свои переводы. Разговаривали... Последний мой разговор с Галичем был о Николае Алексеевиче Некрасове. Просматривая в редакции радио перед записью на плёнку мой очередной текст, Галич предложил мне вместе с ним написать и прочесть получасовую передачу к столетию со дня смерти Некрасова — он его очень любил. Разговор был 15 декабря 1977 года около 11 часов утра. Уговорились, что я приду к Галичу домой в три часа, чтоб вплотную заняться передачей. До моего прихода он собирался заехать в специальный магазин, купить какую-то особенную американскую антенну к недавно приобретённой радио-магнитофонной системе.

Перед тем, как идти к Галичу, я примерно в половине третьего завернул с Ветой на улицу Лористон к Максимову. Поднимаясь по лестнице, я громко сказал, что найду только на минутку — Галич ждёт меня в три (он жил в пяти минутах от улицы Лористон).

Наверху скрипнула дверь, на площадку вышел Володя Максимов и сказал, что Галич умер полчаса назад и что он, Максимов, только что оттуда. Мы все пошли туда. В квартире ещё были пожарники с врачом-реаниматором.

Когда Галич вернулся домой с новой антенной, Ангелины Николаевны не было дома. Он прошёл прямо в свой кабинет и уже там скинул пальто на стул. Ангелина Николаевна, вернувшись и не увидев его пальто в передней, решила, что его ещё нет, и пошла в кухню. А он в это время уже лежал в кабинете на полу...

Галич совсем ничего не понимал в технике, и ему страшно хотелось поскорее испробовать новую антенну. И вот он попытался воткнуть её вилку в какое-то первое попавшееся гнездо. Расстояние между шпёнками вилки было большим и подходило только к одному гнезду, которого Галич, наверное, не заметил. Он взял плоскогубцы и стал сгибать шпёнки, надеясь так уменьшить расстояние между ними. Согнул и воткнул-таки в гнездо, которое оказалось под током.

По чёрным полосам на обеих ладонях, которые показал нам врач-реаниматор, было ясно: он взялся двумя руками за рога антенны, чтобы её отрегулировать. Сердце, перенёсшее не один инфаркт, не выдержало этих 220 вольт. *Рядом с ним на ковре лежали плоскогубцы и антенна...*

Когда Ангелина Николаевна вошла в комнату и увидела это, она распахнула окно, стала кричать, звать пожарников, казарма которых была напротив, на другой стороне узкой улицы, потом тут же позвонила Максимову. Прибежали пожарники с врачом-реаниматором (в каждой французской пожарной команде он непременно есть и на все вызовы едет впереди команды). Но было поздно...

Естественно, тут же пошли слухи о том, что Галич погиб «от рук КГБ». Только это был чистейший несчастный случай, результат полной неспособности Галича что-нибудь сделать руками.

Отпевали Галича 22 декабря 1977 года в парижском Соборе Александра Невского. Была уйма народу: вся редакция и многие авторы «Континента», редакция «Русской мысли», «Вестника РСХД», журналов «Грани» и «Посев», русские писатели-эмигранты, художники, друзья... Многие приехали из Германии, Англии, Швейцарии. Из Норвегии прилетел Виктор Спарре. А в «Континент» пришли только две телеграммы из СССР — от академика А. Д. Сахарова и от А. Марченко из ссылки¹³⁴.

ФУГА

Памяти А. Галича

А скрипка вопит в переходах метро,
Играет венгерку мальчишка лохматый,

¹³⁴ Возможно послано телеграмм было больше, но только эти две дошли...

И в шапку — чуть брякнув — то зло, то добро,
То смерть, то любовь, то взгляд виноватый.
И плачет смычок в лабиринтах подземки,
О чём-то никчёмном ещё беспокоясь,
Когда по кольцу, пляя жёлтые зенки,
Забыв остановки, — взбесившийся поезд...
И каждые, каждые сорок минут
Вся серия станций опять повторится,
Всё в том же порядке, те самые лица
И те же стоп-краны бессмысленно рвут;
Кольцо — без концов. Состраданье — старо.
Ни улиц, ни смеха, ни ветра, ни горя —
Есть просто взбесившийся поезд метро
И вовсе за ним никаких аллегорий.
И скрипка вопит в переходах метро,
Вопит, как болотные выпы в России.
Не жилы воловьи, а нервы людские
Кричат, как расплавленное серебро!
Тот белый смычок в перехлёстах реклам
Их наглого крика и мельче, и тише —
Тебя не раздавят, но и... не услышат,
Хоть руку смычком распили пополам!
А поезд несётся всё тем же маршрутом,
И некому — стрелку... Ну, хоть бы в тупик!
И кто-то не хочет, а кто-то привык,
И плечи одеты, и души обуты.
Там, сверху дома, магазины, бюро...
Где — сверху? Нет верха: там тоже подполье.
Ты свыкся, ты смялся с навязанной ролью.
А скрипка вопит в переходах метро!
О, нет, не устанут цыганские струны,
Корявые луны и ветер ничей!
В афишном удушьи бессмысленно юны
Лесные перуны басовых ключей,
И пляшет на кафелях ломаный свет
Под смешанный запах дождя и камелий,
Резины горелой, порубленных елей,
Дерьма и Диора, блядей и газет...
А там минотавра железная выя
Нам в души гудит, как в пустое ведро,
А люди всё мимо спешат, как живые,
А скрипка вопит в переходах метро
О тех, кто засунут в летящий без цели
Скрежещущий поезд, кружащийся век,
Которым не метры, а сотни парсек

До каждой мелькающей лампы в тоннеле...
А скрипка вопит в переходах метро.
Не струны так рвут — парашютные стропы,
Так болью в подполье, в пещеру циклопа,
Вываливается живое нутро.
Не струны так рвут, а рубаху враспах,
Не жилка смычковая — нож гильотины!
Так лопаются при пожаре картины,
Так сам над собой измывается страх...
Но — прёт минотавр. Состраданье — старо.
Рубильники ржавы. Вагоны — по кругу.
В подполье Европы — железную фугу!
А скрипка царапает своды метро...

Париж, 20 декабря 1977

Похоронили Галича на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа, в дальнем пригороде Парижа¹³⁵. Здесь похоронены Иван Бунин, Алексей Ремизов, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Константин Коровин, Сергей Лифарь, а теперь уже и Виктор Некрасов, Рудольф Нуриев, Андрей Тарковский, Владимир Максимов...

Не прошло и десяти лет, как там же похоронили и Ангелину Николаевну. Ещё при жизни Галича её несколько раз помещали в специальную антиалкогольную больницу в городке Вильжуив. Её ближайшие друзья, бывшие московские актёры Лев Крутлый (из Театра на Малой Бронной) и его жена Наталья Энке (из театра Станиславского и Немировича-Данченко), все эти годы, после смерти Галича часто её навещали и в больнице, и дома.

30 октября 1986 года, в подпитии, Ангелина Николаевна заснула в постели с горящей сигаретой в руке. Возник пожар, она задохнулась не проснувшись. Вместе с ней погибла и ее собачка — пекинес Шуша.

* * *

В начале восьмидесятых годов З. А. Шаховская ушла на пенсию, и главным редактором «Русской мысли» стала Ирина Иловская-Альберти. Газета при ней стала, может быть, несколько

¹³⁵ Своё место, запасённое на этом кладбище, уступил Галичу архиепископ Георгий...

лучше из-за того, что Иловайская не считалась со старыми эмигрантами, которых, к тому же, немного осталось, и не печатала бесконечных воспоминаний «о блинах у государя императора». Но вот работать с Иловайской было много труднее, чем с Шаховской. Дело в том, что у Иловайской возник институт любимчиков, которые, вполне в соответствии с законами жанра, все становились ей рано или поздно ненавистны. Мне, впрочем, довольно много лет удавалось сохранять с ней вполне корректные отношения без особой взаимной симпатии...

В самом начале восьмидесятых в Париже появился из Питера некто Володя Аллой, которого за сутубую религиозность областал Никита Струве. Струве взял жену Аллоя Раду на работу в книжный магазин «Les Editeurs réunis» при издательстве «Имка», а самого Аллоя — назначил редактором в издательство.

По наkolке нового редактора для издательства была куплена наборная машина с памятью: «ИБМ-компокарта», в то, ещё практически бескомпьютерное время — последнее слово наборной техники. На этой машине можно было не только менять шрифты, заменяя один «шарик» другим (эта возможность была и у меня дома, на моей обычной пишущей машинке того же «ИБМ»), но и автоматически равнять правое поле. В результате, набор прозы становился возможным и выглядел не хуже «типографского». Но главное — память: набрав текст, можно было исправить ошибки, а потом, нажав одну кнопку, получить на бумаге страницу чистого текста, не тронув больше ни одной клавиши. Сейчас, в компьютерное время, смешно описывать это чудо техники, но тогда никто бы не подумал, что у этих машин нет будущего, потому что через считанные годы грядут компьютеры.

Аллой фактически работал не только редактором, но и наборщиком. Работоспособность у этого танкообразного парня была фантастической, и поначалу всем очень нравилось с ним работать. Но проходило время, и он начинал зарываться, своевольничать и хамить, да так, что все только и мечтали от него избавиться...

Никита Струве при активнейшей помощи Аллоя и под давлением Солженицына, избавился от действительно мешавшего любой работе директора «Имки», непроходимо глупого и упрямого Морозова. История вышла ужасная — Морозов повесился, невзирая на свою истовую церковность! Струве сначала назна-

чил было директором Аллоя, но тот вскоре так зарвался, что Струве сам же его и выгнал. Тогда Иловайская взяла Аллоя заниматься изданием книг при «Русской мысли». Поначалу тоже не могла нахвалиться, какой Володя быстрый, исполнительный, деловой. Но когда Володя, ни с кем не советуясь, закатил колоссальные тиражи каких-то ненужных книг, а нужные издал в количестве меньшем, чем надо было, кажется, даже для одного только эмигрантского рынка, Ирина Алексеевна его тоже по своему обычаю выгнала.

В период аллоевского «фаворитства» или, как в екатерининские времена говорилось, «пока он в случае был», мы с Аллоем сделали одно хорошее дело.

Жил в Париже в довоенное и послевоенное время поэт Юрий Одарченко. В эмигрантских кругах он считался «ужасным», и многие от его имени «бежали без оглядки». Общался он мало с кем, выпустил после войны книжку «Денёк», в которой предстал перед читателем почти что оберiuтом, да ещё и трагически страшным. Только вот, по свидетельству людей его хорошо знавших, об оберiuтах он никогда ничего не слышал. А был всё же оберiuтом с явным оттенком потусторонней жути.

У Бодлера «цветы зла», у Одарченко «корень зла».

Этот изгой в среде довоенного, да и послевоенного «Русского Монпарнаса», был человеком, о котором «говорить было страшновато и неприлично», по словам злого и сусального критика, вождя так называемой «парижской ноты» Георгия Адамовича. В «Русской мысли» в семидесятые годы работал близкий друг Одарченко Кирилл Померанцев. Он рассказывал, что чертей Одарченко с рукава сдувал на полном серьёзе... То, от чего хочется отмахнуться, делая вид, что «этого не бывает», ведь, ох как неприятно увидеть потёмки в собственной душе, в стихах Одарченко названо и нарисовано. Его короткие стихотворения — о подполье души. И всюду зловещий смех.

Стоит на улице бедняк,
И это очень стыдно.
Я подаю ему пятак,
И это тоже стыдно.
Я плюнул в шапку бедняку
А денежки растратил,

Ужасно стыдно бедняку,
А мне — с какой же стати?

Или:

В Аптеке продаётся вата,
Пенициллин и аспирин.
В аптеку входит бесноватый
И покупает апельсин.

Короче говоря, *«Я расставляю слова / в наилучшем и строгом порядке / это будут слова / от которых бегут без оглядки»*.¹³⁶

И вот этого самого поэта мы решили издать. Надо было собрать его стихи, рассеянные по старой эмигрантской периодике. Книжка «Денёк» ведь была единственной его книгой. И она тоненькая. Я принялся за поиски стихов, и, наверное, искал бы и поныне, если бы мне не помог профессор Рене Герра, известный коллекционер книг, периодики и живописи — всего наследия эмигрантских писателей и художников.

Коллекция Герра так отлично систематизирована, что за полдня мы собрали «полного Одарченко» по разным журналам.

Когда же книга вышла, то перелистнув титул, я сразу увидел, что на обороте этого листа не оказалось строк, в которых «составитель приносит благодарность профессору Рене Герра» Потом выяснилось, что Аллой в день выхода книги ещё, оказывается, и позвонил Рене, чтобы обратить его внимание на то, что вот «Бетаки даже не поблагодарил его печатно». Зачем понадобилось Аллою украсть эти строки, то есть их просто не напечатать, и тем самым постараться восстановить Рене против меня, не понимаю. *«Разве что Одарченко, хихикнув с того света, / у Аллоя сам спёр страницу эту?»*. Впрочем сам Рене Герра, думает, что это ему, а не мне, Аллой хотел сделать мелкую пакость «потеряв» это упоминание. Во время перестройки Аллой переехал в Питер, а несколько лет назад по неизвестным мне причинам он повесился...

В конце девяностых годов Аллой издал в трех сотнях, кажется, экземпляров, в издательстве журнала «Нева» справочник по Па-

¹³⁶ См. Юрий Одарченко. Стихи и проза. «Presse libre» Париж. Составление и комментарии В. Бетаки. Предисловие К. Померанцева.

рижу, *единственным автором* которого значится на обложке его жена Рада Аллой. В этом справочнике описаны многие *дома Парижа*. Автор прохаживается по улицам и рассказывает историю домов на каждой улице огромного города по порядку номеров!!! Наивный читатель подумает, что эта работа должна была отнять многие годы. И отняла — только не у Рады Аллой: в течение последних лет сорока, или чуть больше, во Франции, примерно каждые пять лет, переиздаётся (с новыми дополнениями) знаменитый справочник историка Жака Илларе в двух томах, под названием «Исторический словарь улиц Парижа». Над ним работает большая группа людей и не один год. А Жак Илларе затеял это фундаментальное издание ещё в пятидесятых, кажется, годах, и сам поначалу руководил этой титанической работой.

И вот «Нева», правда, не в двух томах, а в одном выпустила по-русски это сочинение, сократив его раза в три. Но перевод текстов Илларе точен, даже слишком буквален и потому неграмотен. До корявости точен, только имени Илларе на книге нет... Одна Рада Аллой числится автором!

У меня «личный зуб» на эту книгу. Несколько лет назад я написал книжку о Париже, примерно четверть из которой напечатана в той же «Неве»¹³⁷. Моя книжка — смесь истории города и истории его архитектуры, с литературными реминисценциями, со стихами; в неё вошло и многое из того, что я рассказывал на экскурсиях по Парижу, которые время от времени водил в послеперестроечные годы... И безусловно в моей книжке есть ссылки и на Илларе, да и на очень многих других французских историков и искусствоведов. «Нева», вроде бы, собиралась напечатать мою книжку целиком, но не стала, именно из-за того, что о Париже они уже напечатали эту «кРаду».

* * *

В 1979 году я съездил в США. По приглашению нескольких университетов читал лекции студентам-славистам о том, как американская литература переводится на русский язык, и со всем другие лекции — о новейшей русской поэзии.

Началось моё «турне» с Нью-Хейвена, где в Йельском университете работали одновременно мой близкий друг Эдик

¹³⁷ «Нева» № 9, 2000 г.

Штейн и знаменитый эстонский поэт Алексис Раннит, запрещённый, естественно, в советской Эстонии. Раннит был куратором всех славистских исследований в Йеле, а заодно руководил одной из крупнейших в Штатах славянских библиотек. Стихи Раннита по-русски издавались только в довоенной, свободной Эстонии, в переводе жившего там Игоря Северянина. А потом, в «Континенте» мы не раз печатали его новые стихи, которые переводили Горбаневская и я.



Alexis Ranait

Алексис Раннит. Довоенная фотография.

Так вот, когда я был в Нью-Хейвене, Раннит попросил меня перевести его новые стихи. Мы с ним сидели и подробно их разбирали, так что работа была не по подстрочнику, а так как я люблю: вместе с автором. За то время, что я был в Нью-Хейвене, мы с ним сделали большую подборку для «Континента». Этот поэт «лирического экзистенциализма» и певец эстетизма как такового, иногда выходит и в философское русло¹³⁸:

Да, в начале было Слово, — или, прежде слов
Ритм, предвечная основа смыслов и миров?

Раннит увлекался каллиграфией: письма его — работа художника.

¹³⁸ О его творчестве см. мои статьи в «Русской Мысли» за восьмидесятые годы.

А у Эдика Штейна в доме весь огромный подвал был превращён в библиотеку. Он коллекционировал всю эмигрантскую поэзию от начала и до сегодняшнего дня, соперничая в этом с Рене Герра, но, в отличие от Герра, ни прозу, ни живопись не собирал. Эдик составил и издал библиографию эмигрантской поэзии с 1917 до 1977 года¹³⁹. Она послужила продолжением, точнее дополнением, к знаменитой библиографии русской поэзии (1900—1955), составленной ещё в пятидесятых годах советским критиком Анатолием Тарасенковым, который, естественно, почти ни об одной эмигрантской книжке не упоминает. Только о дореволюционных изданиях эмигрантов, да и то не обо всех. Книга Тарасенкова вышла в 1966 году. Книга Штейна — в 1978.

По приглашению заведующего кафедрой русской литературы в Брауновском Университете Виктора Терраса, я приехал в Провиденс. В конце лекции я понял по вопросам, которые мне задавали, что аспиранты Терраса знают все на свете про Бунина, поскольку Террас им занимается, но вот о Куприне они и не слышали! Каково же было моё удивление, когда, приехав несколькими днями позднее в другой университет, километров за двести с лишним от Брауна, я обнаружил, что тут всё знают о Куприне, а вот о Бунине — почти ничего! Нет, не зря утверждал Козьма Прутков, что специалист подобен флюсу! (Особенно специалист американский...).



Э. Штейн у меня в Медоне. 1999.

¹³⁹ Эммануил Штейн. Поэзия русского рассеяния 1920—1977. Коннектикут, США, 1978 (<http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=2065>)

НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

(1977—1988)

Кёнигштайн и всё не так. Майке. Сага об Ирине. Шотландия.

Герман Андреев. Университет. У антропософфов. Ира Г.

В столице Карла Великого. «Она моя!». Жаклин с Тольбияка...

Друскин приехал. Джилл К. и вторая поездка в Америку.

Украинские поэты. «Юнона и Авось»

В полутора часах езды от Франкфурта, в горах Таунуса, есть курортное местечко Кёнигштайн. Там каждое лето НТС устраивал для немецких, да и не только немецких, студентов месячные интенсивные курсы русского языка и культуры. В 1976 году нас пригласили туда попреподавать. Мне там очень не понравилось: и программа скучная, и директор курсов, Михаил Славинский, зануда. Одно только делало мою жизнь там вполне сносной — это, естественно, слушательницы. Я свёл знакомство с одной хипповатой голландской аспиранткой, которая обожала проводить время со мной вдвоём под душем... Эта аспирантка, по имени Майке, пригласила меня заехать к ней в Гронинген, городок на самом севере Голландии в сказочной и когда-то пиратской «земле фризов». Через месяц после окончания этих курсов я к ней на три дня заехал, сделав крюк «по пути» из Парижа в Стокгольм. Почитал заодно стихи студентам русского отделения в местном Университете...

На тех же НТСовских курсах преподавала и моя старая знакомая по Питеру Ирина Эльконен из эткиндовского немецкого семинара, по образованию скандинавистка. В своё время, ещё живя в Питере, она перевела знаменитую «Сагу о Йосте Белинге». Потом вышла замуж за шведа и уехала в Стокгольм где-то году в 67-ом. И вот мы снова встретились почти десятилетие спустя.. На курсах Ирина появилась в каком-то чёрном странном платье: одно плечо голое. А было ей в это время уже порядком за пятьдесят... В Кёнигштайне при «центре конгрессов», где мы и жили и преподавали, в подвале имелись сауны. И взяв за мелкую сумму ключи, можно было пользоваться отдельной сауной. Это мне поведала Ирина, бывавшая здесь уже раза два. Я, естественно, воспринял эти сведения, как намёк на то, чтобы возобновить наши отношения, прервавшиеся с её замужеством

лет десять тому назад. В сауну мы спустились в тот же вечер... Хорошо, что была сауна: а то в номерах и в коридоре слышимость была явно излишняя...

На следующий год, когда я поехал в Англию и Шотландию, чтобы прочесть несколько лекций и, главное, проехать по всем местам, описанным Вальтером Скоттом в «Мармионе»¹⁴⁰, Ирина присоединилась ко мне в Дареме, и дальше мы с неделю путешествовали вместе. Побывав в Нореме, на Флодденском поле, в поместье В. Скотта «Абботсфорд» и в Мельрозском аббатстве, мы приехали в город Сент-Андрюс. Университет Сент-Андрюса не только самый северный на Британских островах, но и самый старый в Шотландии. Основан он Иаковом Четвёртым в самом начале XVI века, как бы в противовес Кембриджу и Оксфорду, чтобы молодые шотландцы «учились дома». Интересно и поучительно, что среди всего пятнадцати студентов в первый год существования Университета, в него был принят Гавейн Дуглас, сын главного политического противника молодого короля, графа Арчибальда Дугласа, впоследствии епископ и переводчик «Энеиды» Вергилия.

А город был заложен Иаковом тоже «назло надменному соседу», то есть Генриху Восьмому. Это всё я знал и раньше, но одно дело книги, другое — когда история оказывается перед глазами. Мы с профессором Кристофером Барнсом бродили по этому сочетанию готики и зелени. Пройдя мимо стрельчатых руин аббатства Святой Марии, мы вышли к волнолому. Тут, в пятисотлетнем порту, стояла шумная группа молодёжи. Все в красных мантиях. Пристань пятивековой давности принимала новых студентов. Когда-то в Сент-Андрюс можно было приехать только по морю. А теперь студентов привозят на пристань с вокзала. И выпускников провожают тоже на пристани... Девушки были в квадратных шапочках, а ребята — все! — держали шапочки под мышкой. Тоже традиция. Барнс рассказал мне, что после того, как лет триста тому назад студенты покидали свои шапочки в море, протестуя против чего-то, их лишили права эти шапочки носить, ну а девушки тогда не учились, так что на них и греха нет...

¹⁴⁰ Роман в стихах В. Скотта, который я начал переводить году в шестидесятом, а опубликован он был только в 2000 году в «Лит. памятниках». Все упомянутые тут места фигурируют в этом романе.

Когда в аудитории после лекции меня спросили о влиянии Хлебникова на Хармса, ответить было нетрудно, но вот как ответить на вопрос, «почему тайная полиция в СССР не сумела обнаружить помещения, где работает самиздат?».

На обратном пути мы с Ириной заехали в Оксфорд. Естественно, попадая туда, сразу же погружаешься в такую бездну литературных ассоциаций, что перестаешь твердо знать, в каком времени находишься. И тут меня порадовали замечательной вневременной и очень английской историей. В одном колледже работал о-очень уважаемый учёный, а с этим ученым жил его жесткошёрстный фоксик. Но ведь один из множества так свято чтимых в Оксфорде законов гласит, что «собакам вход в колледжи воспрещён». И вот администрация колледжа, чтобы не создавать прецедента, выпустила специальное постановление «считать фокстерьера Флинта котом и не чинить, ОТНЫНЕ КОТУ, Флинту препятствий в посещении колледжа». Так бывший пёс, не нарушая традиций, проник в сердце британской традиционности! Посетителей колледжа даже предупреждают, что если Флинт им встретится, то пусть поймут, что он — кот, и не удивляются. Ну, а лай, видимо, следует считать мяуканьем.

На корабле во время обратного рейса через Ламанш какой-то английский затейник объявил «старинный британский вальс». Мелодия была, видимо, очень въедливая, потому что лет через десять или даже больше, я написал стихи о парижском шарманщике, стихи, сквозь которые прорывался, отталкивая любые попытки сменить ритм, этот самый «британский вальс»!

Существование кёнигштайнских курсов подало нам идею организовать свои собственные курсы русского языка и литературы. Так возник «Русский Свободный Университет имени А. Д. Сахарова», который уже более 25 лет работает в Германии каждое лето. В начале 1978 года к нам в Медон приехали Герман Андреев, бывший московский учитель-шестидесятник, а теперь профессор в Германии, и Артур Вернер — тогда журналист «Немецкой волны». Кто ещё вошел в правление, не помню, но председателем правления стал Андреев, «ректором», координирующим учебный процесс, — Вета, а Арик Вернер — «гешефтсфюрером», то есть административным директором.

Составили примерную программу нашего первого летнего курса, разослали рекламу по разным университетам Западной

Европы и Штатов, и Вета с Артуром принялись приглашать преподавателей на языковые группы и гостей-лекторов. На одну из языковых групп я позвал свою развеселую знакомую Иру Г., только недавно приехавшую из Москвы. «Администрация», в лице Арика и Веты, охотно приняла моё предложение.



Открытие первого летнего курса РСУ им А. Сахарова. Бодензее, 1979.

Ира появилась в Париже в 1978 году с дочкой лет 18, которая практически сразу отселилась от матери. Как-то раз я откуда-то подвёз Иру домой. Выходя из машины, она сказала мне, что ее дочка переехала, на что я тут же спросил, можно ли, раз уж так, к ней подняться. Мы вошли. В большой комнате были явные следы вчерашней пьянки, что Ира и подтвердила: восемь человек тут пили и болтали до утра. Я спросил, успела ли она после этой ночи выспаться, а то, может, поспим? И сгрёб её обеими руками. Она маленькая, меньше полутора метров, но... Мне однажды уже встречалась особа, у которой, по её собственным словам, «верх был 46 размера, а низ 54-ого», так что я Ире не удивился. Наоборот: было в этом что-то магнетическое. Ну, а когда тут же «во всей громкой красе» проявился и её темперамент, я понял, что студия в доме с коридорной системой — не подходящее жильё для этой маленькой, да удаленькой. Впрочем, долго Ира в этой квартирке не задержалась. Начав зарабатывать разнообразным журналистским трудом, она сняла мансарду в Латинском квартале. Это произошло уже после нашего первого университетского лета.

В новую квартиру мы перевозили Иру вдвоем с Ариком, который тогда гостил у меня в Париже. Только подняли на третий

этаж матрас и выпили по стакану, как вдруг Арик без всяких обиняков предложил: «раз уж матрас на месте, так как же на нём не потрахаться?». Я понял, что и у него с Ирой не впервой. Посмеялись. И разделись. Ира встала между нами, и мы подняли её на четырех руках. Ну, квартира была единственная на площадке под крышей, так что тут уж никому ничего слышно не было.

С тех пор мы изредка повторяли наше «трио», когда Арик приезжал из Кёльна, ну, а я иногда часто, а иногда с перерывами в два-три месяца, к ней захаживал. Да и она ко мне заезжала, когда обстановка была подходящей. Эти наши отношения как-то растянулись на очень многие годы.

Анакреонтический диптих

И. Г.

1.

Как запах ламинарий влажен!
...Атлантика, она — моя
Всей крутизною пенных ляжек,
Всей шириной округлых пляжей,
Всей бабьей сутью бытия.
Хоть молода — не молода,
Опять приманит — не откажет;
Зато и хороша тогда,
Когда, волнуясь жадно, ляжет
На желтой простыне песка,
Чуть лицемерна, но легка:
Пусть не одна в неё река, —
Она и не подавит даже
Ветров утробных голоса —
Всей шириною мягких пляжей,
Всей крутизною пенных ляжек
Раздвинув скалы и леса!

2.

Жить без «мучительных романов»,
И не по нотам соловья,
Свистеть, не слыша барабанов:
«Синица я, синица я!».
Как Эпикур или Лукреций,
И с вольтерьянской прямотой,
Да с перцем вместо тонких специй
Жрать вечной лёгкости настой.

Первое лето наш университет располагался в помещении у «антропософов», знакомых Германа Андреева, в штайнеровской «лесной школе» на Бодензее, но нам там не понравилось. На следующий год Арик договорился с «домом съездов» какой-то католической организации на окраине Аахена, старинного немецкого городка, бывшего когда-то столицей Карла Великого. Я каждое лето, кроме литературы, вёл факультативную группу поэтического перевода. В ней, естественно, оказывались самые знающие русский язык и, разумеется, пишущие стихи на своём языке. В первое же лето к четвертому занятию у нас уже был один перевод блоковской «Венеции» на голландский, три перевода на английский, один на польский, один на французский и два на немецкий. На следующий год мы так же перевели ахматовское «Звенела музыка в саду». Было действительно интересно сравнивать переводы. К счастью, английским владела почти все, немало народу знало немецкий и французский. Только вот на голландский и польский переводы читателей почти не находилось.

Когда в первый вечер на второй год существования нашего университета мы сверяли списки слушателей, то оказалось, что отсутствует Лилия Сиибере из Хельсинки. Минут через пятнадцать после переключки она появилась в дверях аудитории — большая, рыжая с весёлым круглым лицом и пузатым чемоданом. Артур спросил Вету, в какой группе числится Сиибере, но я не дал ему ответить и гаркнул цитату из *Пушкина* (???): «Она моя! И в тот же миг...». В тот же миг рыжая расхохоталась, а я шепотом узнал у Арика номер её комнаты и час спустя к ней постучался. Лиля впустила меня и стала опять безудержно хотать... В третий раз я вызвал её смех тем, что как ни «удлинял время», она всё равно так и не успела... «Ну, ведь вы, медлительные финки», — начал я оправдательную речь, но она, перебив меня, сообщила, что, во-первых, она уже к такому привыкла: у молодого финна, её постоянного любовника, пожалуй, только один раз из пяти с ней «всё как надо получается», а во вторых — вовсе она не финка, а эстонка. Я заметил, что особой разницы в «замедленных темпераментах» не вижу. Посмеявшись вволю, мы с ней опять принялись за своё. На этот раз (правда, минут за двадцать, не меньше) всё получилось, как надо. «А ещё ры-

жая, — заметил я, — рыжие должны быть погорячее, чтоб не один раз...». Ну, она пообещала повторение, но назавтра... Лёгкий характер, весёлость и, не знаю уж что ещё, было тут главным, но я сразу понял и не ошибся, что эта встреча не «одноразовая».



Танго: я с Лилей. Слева на втором плане Вета с нашим студентом — американском военным переводчиком. Справа — шведский профессор Кнуд Карлсен с неизвестной студенткой. Фото А. Вернера. 1981.

С тех пор все годы, что я преподавал в этом университете, а это длилось до девяностого года, Лиля приезжала на курс. И всегда была она моей «главной студенткой». Хотя, уже на второй свой приезд она перешла у нас в ранг преподавателя. Мы пригласили её вести языковую группу и курс грамматики, поскольку Лиля стала уже аспиранткой в лингвистике на филфаке Хельсинского Университета, а русский язык у нее, выросшей в Питере и позднее учившейся в Тарту у проф. Ю. Лотмана, был превосходный.

На второй вечер третьего сезона в Аахене, я вышел пройтись по парку. В окне торчала девочка — светлая, хорошенькая, но не очень приметная. Лет двадцати. Она зевнула. Я спросил, занята ли она чем-либо, кроме зевания. На что она без акцента сказала одно слово: «Скучно!» Я предложил ей прогуляться по парку, которого и сам ещё не обследовал. Она бегом спустилась со второго

этажа и протянула мне узенькую ручку: «Жаклин!». Мы прошли, наверно, шагов двести, как я прислонил её к старому и сильно покосившемуся дереву... Почему-то вспомнилась Женька, малышка из детдома — хоть и прошло тридцать пять лет, я все очень отчетливо помнил. Сам, кстати, удивляюсь, почему моя память держит все мельчайшие подробности, когда это касается женщин? А многое прочее забывается легко и бесследно.

Казанова когда-то переиначил известную максимуму Декарта, выпустив одну (только одну!) букву из глагола в известнейшей декартовой латинской фразе, и из «*cogito ergo sum*» получилось «*coito ergo sum*»!

* * *

Так или иначе, Вета с некоторым неудовольствием время от времени повторяла: «то ли это университет Андрея Сахарова, то ли гарем Васи Бетаки?» хотя и сама тоже времени зря не тратила...

Потом, уже в Париже, я несколько раз заезжал к Жаклин, но когда она захотела со мной «выходить» (ну, там по кабакам, или театрам, или в кино) и, похоже, сделала это условием для продолжения встреч, то я сказал, что уж на это у меня никак времени нет.

На второе лето преподавал у нас и Эдик Штейн. Он не летал «с цветка на цветок»: его было не оттянуть никакими силами от Кассандры, красотки-негритянки родом с какого-то антильского острова. Она была американской гражданкой, служила в армии, а будучи военным переводчиком, всё время старалась совершенствовать русский язык. Особенно в беседах с Эдиком.

Вообще у нас каждый год было немало слушателей из американской армии. Арик сумел договориться с начальством многих переводчиков, служивших в Германии,¹⁴¹ и те охотно посылали их на наши курсы. Эти американцы были почти всегда лучшими из наших слушателей. Они были активнее всех и в факультативных кружках, хоть в переводческом, хоть в театральном...

¹⁴¹ В основном сидели они на радиоперехвате, и посему мы с Артуром вдвоём вели для них специально «курс матюга».



В Аахене на летнем курсе 1981:
В. Максимов, В. Бетаки, А. Вернер, Э. Штейн и А. Поверенная.

Жора Бен, работавший в то время в Мюнхене на «Свободе», как-то специально приехал в Аахен: мы с ним устроили вечер английской и американской поэзии в русских переводах. И заранее раздали тексты. Выглядело это почти как лет пятнадцать тому назад в семинаре у Гнедич...

...Герман Андреев сообщил мне, что в Тюбинген только что приехал питерский поэт Лев Друскин. И дал мне его номер телефона. Я тут же позвонил старому приятелю, которого уж не думал когда-либо увидеть, и, вскочив в машину, поехал в Тюбинген. Он от Аахена километров в четырехстах. Было воскресное утро, и я рассчитывал вернуться к вечеру: занятия в понедельник начинались, как всегда, с утра. Но поскольку скорости на немецких автобанах вовсе не ограничены, то я вполне успел вернуться даже до полуночи. Лёва Друскин! В злом беспоэтном 48 году питерские студентки переписывали в тетрадки лирику никому не ведомого поэта Льва Друскина, только в конце пятидесятых начали издаваться его книги. Человек, с детства живший в кресле на колёсиках, писал так, что никому и в голову не могло прийти, что он инвалид...

На немецкой бесконечно прямой и однообразной автостраде мне всё время вспоминались разные лёвины стихи...

Выступают сверчки,
С них сбивают очки,
Им ломают попитры и скрипки.
Но они поправляют свои пиджачки
И опять надевают улыбки...

Да, это вот «Делай своё дело, а там будь что будет» мне всегда напоминало незаметный и непреодолимый стоицизм А. Кушнера, да и за лёвиными сверчками в очках мерещился туманный сашин портрет... Стихи о верности искусству. Свою статью о поэзии Друскина, опубликованную ещё года за два до его приезда, я так и назвал «Верность», а другую — «Я не струсил, д'Артаньян»...

Реальная связь времён оставляет человеку один путь: быть самим собой. Поэтому в мрачных пятидесятых годах Дом Поэта (с больших букв, нарочно по-волошински, пишу о квартире Друскиных) стал гнездом, откуда вылетели многие питерские поэты, кто громче, кто тише заявившие о своём существовании в начале шестидесятых...

Мне быстро удалось найти улицу и дом (около самого леса, точно как у меня в Медоне) на краю Тюбингена, этого старинного университетского города, где я никогда до того не бывал. Первым, кто меня встретил, был, конечно, Гек — колоссальный белый пудель, точная копия Артемона из сказки о Золотом ключике. Старый пёс узнал меня через семь лет, прыгнул, лизнул в нос, а после этого важно выступая впереди меня, как дворецкий, вошёл в большую комнату и залез снова под стол. С тех пор я не раз ездил к Лёве то домой, то в больницы, где он, бывало, лежал по несколько недель. Вышли его стихи по-русски и по-немецки, потом и «Спасённая книга» — воспоминания, те самые, из-за которых ему пришлось уехать из СССР. Но однажды он из очередной больницы так и не вернулся... А было ему только семьдесят...

В 1981 году в нашем летнем университете, который опять собрался в Аахене, среди американок блистали уже две темнокожих красавицы: одна прошлогдня, Кассандра с антильских

островов, а вторая — Джилл К.¹⁴², тогда — постдок Колумбийского Университета в Нью-Йорке... Джилл делила комнату с одной голландкой и как-то вечером пришла ко мне поговорить о своих переводах из Ахматовой. В дверях остановилась на миг — большеглазая, высокая. И «контрастная» фигура, такая, какие только у негритянок бывают, хотя она — половинка, мулатка. Подошла, села за стол рядом. Ну, невозможно: мы разговариваем, я упорно гляжу ей в глаза, а рука сама тянется к шоколадной коленке. Но только я положил ладонь на эту коленку — Джилл быстро глянула мне прямо в глаза, коротко засмеялась, вскочила со стула, мгновенно разделась, повалилась на спину поперёк кровати, раскинула коленки и весело буркнула: «А такое ты, белый, видел?», и всеми пальцами обеих рук распахнула крупные лепестки ярко лилового, влажно блестящего цветка...

...Утром она, проснувшись раньше меня, убежала тихо-тихо... А подушка ею пахла до самого вечера, когда она пришла опять... И опять — почти до утра... И вот вскоре — вторая моя поездка в Америку. Полтора десятка университетов, переезды, лекции... Три дня, читая лекции в Колумбийском университете, я провёл у Джилл, которая познакомила меня с Гарлемом изнутри, поскольку жила в двух шагах от Шугар Хилл, гарлемского «Сохо». Вечерами на нас часто оборачивались: ведь не каждый день видали в самой сердцевине Гарлема негритянку с белым мужиком. Но никто, кроме её знакомых, с нами не заговаривал — ни на Ленокс Авеню, ни в её переулке, ни в джаз-барах на Шугар-хилл.

Я к тому времени прочел уже довольно много лекций. Из гонораров я купил (всего за сто долларов!) громадный старый «Олдсмобиль», в котором на заднем сиденье можно было даже спать вдвоем, не тратясь на мотель, и мы с Джилл на нём отправились в путешествие — полтора месяца колесили по Штатам от океана до океана и обратно. Но я пишу не путевые заметки, а мемуары, и не письма русского путешественника, а просто рассказы о себе. Поэтому тут не место подробностям о нашем очумелом «путешествии дилетантов»; о Вашингтоне, центр которого так

¹⁴² Была в Университете ещё одна Джилл регулярно в течение лет пяти-шести. Из армейских переводчиков. Она тоже переводила на английский стихи русских поэтов. Пишу об этом специально, чтобы её не спутали с моей прекрасной мулаткой.

похож на Петербург в исполнении Карло Росси, о марк-твенновской Миссисипи, об атлантическом Пальм Бич, о жуткой аризонской пустыне, о сказочном тихоокеанском Монтерее¹⁴³, где я побывал уже вторично, о мормонском перенаселённом белками Солт Лейк Сити, о медвежьем Йеллоустоуне, о «почти морских пейзажах» Великих озёр, о грандиозной набережной Мичигана в Чикаго, или о кукурузных степях не то Канзаса, не то Арканзаса...

Вернувшись в Нью-Йорк, мы бросили где-то машину, и Джилл проводила меня в аэропорт, а когда я прошёл за паспортный контроль, вдруг пропела вслед: «bye-bye, honey, I'll get married in the morning!». Только когда самолёт поднялся и сигнал «застегните ремни» погас, я вдруг сообразил: да это же песенка старого Дулитла из знаменитого мюзикла «My fair lady»!.. Но замуж за кого-то она и вправду вышла очень вскоре после нашего путешествия.

* * *

Бывший режиссёр из «Лен.Тюза», Саша Народецкий, предложил мне иногда делать передачи о поэзии для украинской редакции «Свободы», где он был редактором. Сначала я попытался писать их сразу по-украински, но после того, как Народецкий выправил, а точнее переписал за мной почти полностью три передачи, он предложил мне писать всё же по-русски, а по-украински только цитаты вставлять. «Лучше весь текст перевести, чем править такое количество ошибок!». С тех пор мы так и поступали. Я сделал десятка полтора передач об украинской поэзии разных времён, а потом передачи сами собой прекратились за недостатком поэтов. Зато, когда в начале девяностых я пришел в Москве в редакцию «Огонька», Виталий Коротич, с которым я до того не был лично знаком, поблагодарил меня за радиопередачу о его стихах, сделанную задолго до того. Итак, я убедился, что «скорбный труд» иногда и верно не пропадает...

Иногда...

Когда-то моей однокурсницей по Литинституту была киевлянка Лина Костенко. В те давние времена я перевёл одно её

¹⁴³ На этом слове автоматическая проверка грамматики компьютера, подчеркнув неизвестное программе буквосочетание «Монтерее» предложило разбить его на два осмысленных слова: «монтёр её».

стихотворение, а в 1985 году в «Континенте» опубликовал целую подборку её стихов. Нам обоим в тот год исполнилось по 55 лет. Года через два после того, как её стихи появились в «Континенте», я выпустил в Париже и книжку её избранных стихотворений. Это была, кажется, её первая книжка по-русски. А ведь она, с моей точки зрения, лучший из украинских поэтов-шестидесятников. Но вот чего я вовсе не ожидал: Лина, как сообщил мне живущий в Париже украинский диссидент Леонид Плющ, была очень недовольна: зачем это её переводят «на жаргон москалей!». Вот до какого идиотизма доводит патриотическая и националистическая зараза! И тысячу раз прав Лев Толстой, сказав вслед за каким-то британцем, что «Патриотизм есть последнее прибежище мерзавцев».

* * *

Из людей, с которыми я был знаком по России, приезжавших в доперестроечное время в Париж, только двое не боялись открыто общаться с эмигрантами — это были Булат Окуджава и Андрей Вознесенский. Как-то раз Андрей приехал вместе с театром (московским Ленкомом) и привёз свою рок-оперу «Юнона и Авось». В моем представлении это и не рок, и не опера, а скорее — прекрасно написанный мюзикл, пьеса со стихами и песнями, которые частично уже публиковались в разных сборниках, частично были совсем новые:

...«Я тебя никогда не забуду,
я тебя никогда не увижу...»

Феерический спектакль с великолепно поставленными танцами, по стилю, правда, сильно напоминавшими постановки Мориса Бежара! Особенно — танец матросов:

..Вместо флейты подыдем флягу,
Чтобы смелей жилось,
Под российским Андреевским флагом,
И с девизом «АВОСЬ!».
Нас мало. Нас страшно мало,
И самое главное, что все мы — врозь,
Но из всех притонов, из всех подвалов
Мы возвращаемся на «Авось»...

В середине восьмидесятых это так звучало...



С А. Вознесенским. Париж. 1986.

Только, пожалуй, в спектакле был явный перебор всяких световых и дымовых эффектов, но мне на это было наплевать. Эта лирическая и местами резко сатирическая музыкальная трагедия осталась для меня генератором хорошего настроения. Несмотря на то, что уж Марк Захаров никак и никогда не казался мне хорошим режиссёром. Тем более Юрий Любимов, с которым я познакомился в период его короткой двухлетней «эмиграции». И вот —

ГАМЛЕТ С ГИТАРОЙ И ТРЯПКА

«вставная новелла»

Я не знал о гастролях «Театра с Таганки», которые проходили в Париже в течение недели, где-то осенью. Только что как всегда, откуда-то приехал... Звонит Миша Шемякин: Высоцкий оставил ему на завтрашний спектакль четыре контрамарки: две для Шемякиных и две для нас. Встречаемся у входа в театр Трокадеро. В первый раз увиденный, этот театр весьма удивляет:

Спуск по прямой мраморной лестнице ступенек никак не меньше сотни.... И в фойе нижнем тоже желтоватый мрамор... Стеклянная стена, сквозь неё видны непривычно, чуть снизу, фонтаны Трокадеро, — а за ними реки и не видно: — сразу — ноги Эйфеля на том берегу. Ну, роскошный, кажется. Театр. И вдруг зрительный зал: скамейки из реек настеленных на железные стойки. (а может из узких досок?). Спинок, понятно, тоже нет... И не амфитеатр, а нечто, где верхние ряды (то есть задние) не погибают даже, а так — на пару этажей выше. Ни одной ложи! Демократия в действии! Наглядная! Это в Париже так правление «Народного фронта» наследило... Построен театр в 1937 году. Корбюзьянство, нарочито опролетаренное. (Правда и до входа на конструктивистском верху хватает всяких девушек с веслом и без оного, только в отличие от советских и вероятно вопреки идее архитектора, они не облачены в длинные трусы, а голые и целиком вызолочены). Но самое главное, что в зале, когда мы расселись на этих неудобных жёрдочках и действие началось, слышно не было никого. Неужели такая бездарная акустика, что в пятом ряду не слышать?! Я, естественно, приписал это архитектору.

Но вот на сцене появляется Высоцкий. Его прекрасно слышно. И так весь спектакль. И ясно, что бездарен не архитектор, а знаменитый режиссёр Юрий Любимов: у всех «артистов» от Гертруды до шутов каша во рту... Ну вроде как за столиком в кафе беседуют... Просто сразу было видно, — режиссёр так был увлечён своей концепцией спектакля, что не обращал ни на одной репетиции, никакого внимания на актёров. Никто и никогда им не только что голосов не ставил, но и произношения... Ну ведь любой студент режиссёрского факультета знает, что есть такие словосочетания, которые уже и во втором ряду (при высокой сцене) слышны не будут. Например «к овцам» в зале не распознают, тут надо сказать или «к овечкам» или хоть «к барашкам»). Но эти рассуждения мои оказались лишними: просто у Любимова была такая концепция РЕАЛИЗМА: все должны на сцене говорить как в быту, и дикция представлялась ему надуманной ненужностью, вредящей реализму!..

Ну и с другой стороны уж вовсе условная, никак не реалистичная эдакая гениальная концептуальная головоломка: декорация одна для всех актов и представляет собой колоссальную

тряпку из серого холста, закреплённую на палке торчашей из центра задней стены сцены! В каждом акте она делит сцену пополам на разные куски справа и слева. А в конце акта палка, наподобие яхтного гика при большом парусе (гроте) перекидывается, то справа налево, то наоборот, подметая всё, то есть всех, ибо кроме людей там просто ничего нет, поскольку мелкий реквизит уносят с собой актёры(!). Убитый сквозь продырявленную шпагой холстину, Полоний, деловито оживает в конце акта на глазах у зрителей, отряхивает с себя ладошкой пыль и тащит за кулисы какой-то трехногий высокий столик... Ну и так далее. Совсем как в «Зияющих высотах» у Зиновьева: «Будь аккуратен: уходя, заberi с собой урну со своим прахом». Не говоря о том, что Гамлет — Высоцкий редко на сцене расставался с гитарой, которую, как потом мы узнали, он, мягко говоря, проклинал за этот спектакль столько же раз, сколько и Юрия Любимова за эту неуместную идею.....

СТОЙКА и ПЕРЕСТОЙКА

(1984—1989)

*Орвелловский (1984) год. Сестра-негртиянка. В Доломитах.
Рита. «Кофе, кофе!»... Памяти Виктора Некрасова. Бродский.
Горбаневская. А вот и Неля Воронель или новый жанр:
«ужимки и прыжки — вместо воспоминаний — всё-забывания»*

Перед новым 1984 годом «Русская мысль» отвела страницу на пожелания, шутки, рассказы и стихи. Ничто, как мне казалось, не предвещало в те дни скорых перемен в России. Я на этой странице опубликовал эпиграмму.

Всё одна и та же дата называется,
Но история играет вкривь и вкось:
По Амальрику пока что не сбывается,
А по Орвеллу давно уже сбылось!¹⁴⁴

¹⁴⁴ Имеются в виду книги: первая — «трактат» А. Амальрика «Доживёт ли Советский союз до 1984 года», которую многие и поныне полагают политическим предсказанием, хотя это скорее завуалированный памфлет, и

А мы в 1984 году затеяли зимний курс университета, предназначенный специально для американских военных переводчиков, служащих на территории Германии. Арик снял помещение в Кёнигштайне, где желающие могли в свободное время и на лыжах покататься. Я тоже собирался и веселился заранее, ведь на лыжи я не вставал уже двенадцать лет. Равнинная Европа — слишком теплое место для обычных лыж, а на горных я не умею, да и врождённая боязнь высоты мешает. А в Кёнигштайне — высокое плоскогорье, так что и снега много, и почти ровно.

Но не пришлось. Я попал в больницу с инфарктом. Меня по «скорой» увезли в Бад-Хомбург, километров за пятнадцать от Кёнигштайна. После трех недель в больнице я почувствовал себя достаточно здоровым. Я читал, писал, гулял по коридору, и всё просился на выписку. Но немецкие врачи были неумолимы.

Как-то я работал ночью, за что получил выговор от красивой, губастой и смешливой сестры-негритянки. Я объяснил ей, что лучше писать, чем в потолок смотреть. Вот, когда она заходит, хорошо: можно хоть на неё смотреть, тем более, что лифчика она, кажется, не носит... А она, смеясь, поставила мне градусник. «Хорошо, уже пятый день и температура, и давление стабильные» — прошепелявила она на вполне, однако, понятном немецком, наклонившись ко мне.

Под халатом у неё и верно не было ничего. Не получив никакого отпора, я уже в прорез халата руку просунул, а она обернулась на лист, прикрепленный к спинке кровати, глянула ещё раз на цифры давления и температуры, и только тогда рывком распустила кушак халата. Халат распахнула, но не сняла и, приказав мне не шевелиться, — «опасно, однако, сильно двигаться, я всё сама сделаю», — уселась верхом. Весила она немало... Но погодившись с месяц, я так её крепко ухватил... И очень быстро получилось, как никогда, но у неё, к моему удивлению, за эти семь-восемь минут аж — дважды! Чуть жечь потом стало где-то у горла, и я, видимо, поморщился. Она заметила. «Одного раза хватит, а то ещё худо будет тебе, а херр доктор, сам знаешь, какой строгий...».

вторая — антиутопия Джорджа Орвелла «1984», которую имел в виду Амальрик, взяв у Орвелла эту дату (смысл даты только в том, что роман написан был в 1948 году, и Орвелл переставил последние цифры).

С тех пор она стала заходить в свои ночные дежурства, — будила меня, весело показывая зубы в рамке больших черно-лиловых губ, и устраивала недолгую, но лихую скачку. Бывало это обычно часа в четыре утра, когда все свои дела она уже заканчивала, да и помешать уж точно никто не мог. Дверь в палату ведь не запиралась. Было особенно радостно ещё и потому, что эти игры окончательно убедили меня: инфаркт мне особого вреда не принёс. И я думаю, моё выздоровление от этой «баботерапии» ещё и ускорило. Ну, а Вы какого мнения об этом, синьор Казанова?

* * *

Один раз мы организовали наши летние занятия не в Германии, а в Италии, на высокогорном курорте Мадонна ди Кампильо на высоте более двух тысяч метров. Мне там не понравилось: даже в августе было холодно, приходилось включать отопление... Ну, какое тебе лето! Эту неуютную обстановку делали сносной воскресные поездки в Тренто, Верону или даже Венецию. Я, как и другие преподаватели, и некоторые слушатели, набивал машину желающими, и мы катили по горной дороге вниз, вниз, и становилось всё теплей, теплей...

А в Венеции, несмотря на август, в переулках и на маленьких тихих каналах туристов почти не встречалось. Люди толпились у Сан-Марко и еще в двух-трех местах, ну, у Риальто. Остальной город был прекрасен и пуст...

Не там, где оркестры
Да фрески в толпе голубей,
А в тёмных
И тесных
Проулках, где ветер грубей...

Ну, и ещё скрашивали это пребывание там «на горах» новые и старые знакомые дамы. Новая знакомая — немолодая, очень высокая, тонкая, седая и полногрудая датчанка Рита. Она заведовала комплектованием славянского отдела королевской библиотеки в Копенгагене. С ней приехал чёрный пудель со странным именем «Pass up». Рита, говорила по-русски не совсем свободно, но очень тонко чувствовала русский язык. Писала по-датски прозу. Она переводила на датский мои стихи, читала мне

их, а как-то, когда я постучался к ней в комнату, приоткрыла дверь и вопросительно высунула голову. Я подмигнул и посмотрел на вырез её халата, выжидая. Она секунду подумала, потом выразительно облизнула губы кончиком языка и отпустила ручку двери...

.....

Однажды на летнем курсе была у нас студентка с юга Испании. И вот она пригласила нас пожить в деревеньке в горах над морем в Андалузии. Мы решили впервые за несколько лет устроить себе отпуск. Поехали после курса, в сентябре в Испанию на машине втроем с Ветой и Ариком. По дороге заночевали в какой-то гостинице в Тарраhone. Спустились мы с Ариком вечером в буфет, слышим шум. Прислушавшись, уловили единственное слово: «кофе». Произносилось оно двумя голосами с разными интонациями: тенорок бармена, отчаянно дребезжа, становился всё выше и безнадежней, а хриплый калифорнийский бас огромного американца — всё ниже и возмущеннее. При этом они аккуратно двигали по прилавку друг к другу крохотную чашечку ароматнейшего «эспрессо».

Оказалось, что американец просил кофе, к которому привык: то есть огромную бадью светлокориичневой бурды, а испанец протягивал ему крохотную чашку эспрессо, убеждая американца, что вот это ведь и есть кофе. Мы, едва сдерживая смех, как-то на ломаном итальянском с примесью французских слов и ещё неизвестно каких, предложили этому испанскому бармену взять огромную кружку для молока и, налив туда злосчастный «эспрессо», доверху долить кружку кипятком. Испанец удивился, но так и сделал, а мы долго не могли отделаться от благодарностей словоохотливого калифорнийца, понять рык которого было нам, впрочем, ненамного проще, чем стрекотание приветливого бармена, который всё время, пока мы пили пиво, пытался нам рассказать по-испански что-то смешное.

Когда мы доехали до нашей горной деревеньки, то сразу обнаружилось, что ранняя осень — это время переработки грецких орехов. А деревенька орехами и жила. Грохот стоял неимоверный с утра до вечера — это грохотали машины, обдирая орехи. В общем, прожив в деревне пару дней, мы спустились в городок Бенидорм и поселились там в пансионате. Вета проводила дни на пляже, а мы с Ариком ездили по Андалузии. Побывав

в Андалузии, начинаешь кожей понимать, что Лорка — это такой испанский Есенин, что луна, бархатное небо, снежно-белые голуби, апельсины на деревьях, как фонари, — это вовсе не экзотика, а просто быт, «правда жизни». И еще фикусы на площадях совсем, как комнатные в горшках, только в высоту и в обхват — дубы, а может быть даже баобабы.

* * *

Умер Виктор Платонович Некрасов.

Ещё в 1979 году он писал в замечательной книге «По обе стороны Стены», обращаясь ко всем друзьям: *«Хочется повторить: доживём ещё! И не такое было... И будем слушать экскурсовода у обломков Берлинской Стены»*. Не дожил. Всего-то год с небольшим не дожил Платоныч до дня, когда стену эту — «по камушку, по кирпичику»...

Ефим Григорьевич, с которым я вместе приехал на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, ужаснулся, что Платоныча опустили в могилу, где не сбита была надпись с чьей-то неизвестной фамилией. Потом оказалось, что это временно. Когда Платоныча перехоронили, то Лев Крутлый предложил укрепить на чёрной полированной плите надгробия тот самый здоровенный (и давно уже ржавый) осколок снаряда, который влетел под Сталинградом в землянку капитана Некрасова. С послевоенных времён этот осколок служил Платонычу для придавливания бумаг на письменном столе.

А вечером того же дня, мы с Шагиняном, выпивая в память нашего Платоныча в довольно большой компании, рассказывали тем, кто его хуже знал, как приезжали мы втроём на угол рю дю Бак и бульвара Сен-Жермен и первым делом заходили в угловое кафе «Эскуриал»¹⁴⁵. Там выпивали что-нибудь крепкое и с полчаса трепались.

Потом обычно переходили в следующее кафе, где выпивали «для альтернативы» по чашке кофе, в следующем — снова спиртное, и так «вдоль по Сен-Жермен, по Тверской-Ямской», как выражался Платоныч, мы шли, переходя из кафе в кафе, пока Некрасов не начинал пошатываться. Иногда мы доходили

¹⁴⁵ Если будет в Париже мемориальная доска в память Некрасова, то лучшего места чем у входа в это кафе не найти!

только до угла Сен-Мишеля, а иногда — и до самой Сены у конца бульвара. Это называлось «выпить километр» или «выпить полтора», — и так далее...



В. Некрасов в «Эскуриале».

Не всякий мушкетёрски весел, как
Некрасов, что из кабака в кабак
По Сен-Жермен — беспечно, как сорока,
Ему бы день да ночь, да сутки прочь...

Кончалось всё равно тем, что я бежал или, если мы далеко ушли, ехал на метро, до своей машины, подгонял её к тому кафе, в котором сидели Толя с Платонычем, и подхватывал их. Мы усаживали, а чаще укладывали Платоныча на заднее сиденье, Толя садился рядом со мной и — в Ванв, ближний приго-

род, где когда-то жила Цветаева. Мы выгружали заснувшего Некрасова, затаскивали его в лифт, поднимались и звонили в дверь. Галя, его жена, открывала, ритуально удивлялась, то есть всплескивала руками, и получала своего мужика, которого мы с Шагиняном укладывали на кровать, как есть в костюме, а зимой бывало, что и в пальто. Затем — десять минут, и мы у меня в Медоне (где тоже когда-то жила Цветаева!).

* * *

С самого основания «Континента» членом его редколлегии был Иосиф Бродский. Все первые публикации его стихов за эти двадцать лет тоже осуществились в «Континенте». В каждое своё посещение Парижа он заходил в редакцию или домой к Максиму. И вот в 1987 году — Нобелевская премия. Это была огромная радость. Наверно, премия Бродскому воспринималась отчасти еще и как премия всей русской культуре.

Борис Делорм, владелец русского книжного магазина, известного русским парижанам под именем «магазин Каплана», разводил руками, говоря о том, что все книжки Бродского мгновенно раскупили, и вспоминал своего отца, который рассказывал детям о том, как в одночасье раскупили все книжки Бунина, когда тот получил Нобелевскую премию.

В 1989 году в Париже состоялась последняя конференция «Континента». Приехал на неё Эма Коржавин, который успел за три дня поспорить подолгу как минимум с десятком знакомых.

Появился вдруг американский журналист, да и патриот уже не советский и не израильский, а американский — мой троюродный кузен Саша Гительсон.

Появилась и слегка мне знакомая по Литинституту Нинель Воронель из Израиля. О ней мне придется написать — хоть и не хочется, но выбора нет. Дело в том, что недавно Н. Воронель опубликовала мемуары, представляющие собой смесь безудержного хвастовства, злословия и клеветы. На самовлюбленное наивное хвастовство можно не обратить внимания, не она одна, в конце концов... Ну, пишет человек: *«Слава моя быстро распространилась в переводческом мире и ко мне потекли заказы и приглашения на семинары, где моё творчество обсуждали...»*.

Прочитал, посмеялся и забыл. Конечно, читатель может подумать, что он по чистой досадной случайности и непростительной неграмотности не знает одного из крупнейших переводчиков шестидесятых годов, и кинется в Интернет в надежде найти переводы. Тут его поджидает некоторое разочарование — переводы есть, но их весьма немного. Два стихотворения Эдгара По — «Ворон» и «Удалюм». (Я, кстати, не знаю, печатались ли они в России в те годы — во всяком случае, в конкурсе на лучший перевод трех «главных» стихотворений Эдгара По ее переводы то ли не участвовали, то ли уж совсем не были замечены). «Баллада Рэдингской тюрьмы» Оскара Уайльда, «Танцы твердых тел» Апдайка, подборка детских стихов Милна, ну и еще несколько разрозненных стихотворений разных африканских поэтов. И всё.

Еще одна увлекающая Н. Воронель тема — это ее женская неотразимость. Из книги следует, что практически все встреченные ею люди мужского пола ее вожделили, а она им, естественно, отказывала. При этом она не забывает с большой нежностью описывать все свои платяица и костюмчики... Забавно, что все эти вожделирующие мужики выглядят в описании Воронель удивительно ничтожными. Впрочем, кажется, Воронель и не задумывается, в каком свете подобные описания выставляют её саму!

Вообще говоря, способ взгляда на мир Н. Воронель давно описан — достаточно вспомнить Кая, которому попал в глаз осколок волшебного зеркала Снежной Королевы. Разные вещи заставляют человека браться за перо. Н. Воронель заставила взяться за перо всепоглощающая ЗАВИСТЬ. В некотором смысле это зависть к целому кругу людей, к кругу, куда она с такой страстью прорывалась. Московская антисоветская интеллигенция. Диссиденты. Писатели. А попав в него, вероятно, с первого дня подглядывала, копила зависть, готовилась к тому, чтобы с пылом первой ученицы, ябеды-отличницы, наконец про все слабости, про всё-всё всем-всем рассказать. К примеру она совершенно по-стукачески опозорила поэта А. Межирова...

Зависти у Воронель хватает на всех, но есть человек, без которого ее книга вообще не была бы написана, человек, зависть к которому, вероятно, вообще является для нее некой основой жизни. Этот человек — Марья Синявская. Честно говоря, в жиз-

ни не стал бы я про Воронель вообще ничего писать, если б не клевета на Синявских. А тут уж получается, что промолчать нельзя. Половина её книги посвящена Синявским — и опять смесь разного. Набившая оскомину тупая клевета о службе Синявских в КГБ сочетается с обычным злословным враньем, никакого отношения к политике не имеющим. И ведь до чего зависть доводит — даже попыток правдоподобия нет. У Марьи уйма недостатков, но есть некоторые недостатки, которые к ней отношения совсем не имеют. Например, скупость. Ну, честное слово, глупо приводить множество примеров, показывающих исключительную щедрость Марьи, ее неумение считать деньги, ее любовь угощать.

Когда через год после смерти Синявского, я помогал Марье разбирать архив, я пару раз наталкивался на неоткрытые конверты с чеками.

Я очень хорошо знаю людей, иногда вполне далеких, детей неблизких знакомых, которые подолгу живут в Марьином доме, приехав в Париж поработать. И Марья всех кормит. Я уж не говорю о том, как легко она открывает свой дом для людей, приезжающих в Париж погулять. И это нередко совсем незнакомые ей люди. А Воронель тратит немало страниц на то, чтобы рассказать, что Марья — жадная скупердяйка, которая гостей не кормит. Когда-то в Москве Марья была замечательным художником-ювелиром. Воронель тратит целые страницы, чтобы рассказать про то, что Марья ничего не умела и «заставляла» людей покупать свои работы, да и работы не ее, а ее помощника. А ведь живы люди, которые знали Марью тогда и которые могут рассказать, как она работала, рассказать про то, что не так-то просто было купить у Марьи украшение, приходилось ждать, поскольку заказчиков было много. Кстати, и Антокольский когда-то заказал Марье серебряный браслет с бирюзой и сердоликом для одной из своих последних любимых женщин. Этот браслет я тогда держал в руках, и напоминал он старинные украшения из курганов, специально был так сделан.

Очень мне противно все это писать, чувствую я себя ассенизатором. Ну, какого черта вообще отвечать на гнусные бессмысленные инсинуации. Что до клеветы о работе в КГБ, так на такое и вовсе отвечать не хочется. Возникает только сожаление о том, что вряд ли можно Воронель привлечь к суду за диффамацию. Все,

что она пишет о работе в КГБ, предусмотрительно названо в ее книге «версиями». Обращение с фактами у Н. Воронель всегда одинаковое. Она с удовольствием рассказывает про то, как Максимов не терпел Синявских и считал их агентами, но ничего не пишет про то, что за пару лет до смерти Володя Максимов пришел к Синявским с извинениями и просьбой о мире и сотрудничестве. А пришел он после того, как люди из «Мемориала» откопали в архиве КГБ бумагу об одном важном гэбэшном проекте. Проект был посвящен дискредитации Синявских в глазах эмиграции. А бумага была отчетом об успешном выполнении.

Вот и меня эта Неля удостила нескольких строчек: «...представившись ленинградским переводчиком поэзии Василием Бетаким, присовокупляет, что он специально приехал из Ленинграда, чтобы познакомиться с моим гениальным переводом. Я сокрушенно развожу руками — мол, к сожалению, перевода у меня при себе нет. Что же он меня не предупредил, прежде чем специально ради этого ехать из Ленинграда?».

И далее: «Ну не только моим переводом, но и вообще переводами стихов он давно перестал интересоваться... Чем он зарабатывает теперь, не знаю...». Это уже не цитата: лениво мне листать скучный кирпич, поэтому пересказываю фразу эту, как говорят школьники «близко к тексту». Отчасти поэтому я и вынужден ответить ей тут... Хотя бы потому что такой встречи и таких речей просто никогда не было. А познакомила меня с ней её однокурсница Тамара Никитина (из числа моих очень старинных питерских друзей) когда они обе учились ещё на втором курсе, а я уж давно институт закончил.

Стишок мой «Воронья история» находится во второй части этой книги, и вы его давно прочитали. Так вот я ещё там обещал рассказать, кто такая Н. Воронель...

Повторю только последние строки моей пародии:

Старый Ворон, ты — свидетель в том, что знают даже дети:
Кто хвастливей всех на свете, кто рифмует с дубом ель?
Гаркнул Ворон: «Воррронель!!!»

ЭПИЛОГ
«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(1988—2001)

*Это уже не мемуары... Дальше начинается настоящее:
Рухнула Стена!!! Москва, Наташа и «Мармион». Окуджава.
Лена и щениха Ньюша. В Питере. «Пень—клуб».
Развесёлая «Правда». «Уходят, уходят, уходят друзья»...*

Вот и Синявского нет... Вознесенский, «видеомы» и «Триумф». Под флагом В. Скотта. Коты, Зелёный рыцарь и Сильвия Плат. В Лондоне у Жоры.

...Чем ближе к сегодняшнему то время, о котором я рассказываю, тем больше деталей вылетает куда-то, тем короче рассказ. «Люди, годы...» — тоже вылетают «в мясорубочную трубу», как писал Вознесенский... А жизнь?..

...В 1988 году в гости к дочке приехала в Париж из Питера Вика Кассель (когда-то — Вика Уманская), душа нашей разогнанной компании пятидесятого года. Она разыскала меня в Париже через 17 лет после моего отъезда.... Я заново познакомился с её старшей дочкой Леной...

...В начале 1988 года мы разошлись с Ветой. Она осталась в огромном деревенском доме с Динкой и её семейством. А я — в городской Медонской квартире рядом с лесом, с моим лесом.

...Рухнула Берлинская стена. Вездесущий и гениальный Слава Ростропович уже к вечеру там: играет прямо под разбираемой стеной! Телекамеры всей Европы показывают крупным планом его сверкающие лаком виолончель и лысину...

...Закрылось парижское бюро радио «Свобода». Несколько человек, в том числе и я, были отправлены на преждевременную пенсию, а на Мюнхенской, «главной станции», прошли большие сокращения. Через несколько лет примерно одна десятая часть бывших мюнхенских сотрудников радиостанции переехала в новую штаб-квартиру — в Прагу.

Прорвало плотину, хлынул радостный поток гостей из «СССР, переходящего в Россию». ...В том же 1988 году в университете «Париж 10» состоялась Ахматовская Конференция. Приехал из США Лёша Лосев, а из СССР (пока ещё не России!) Саня Лурье, Яша Гордин, Костя Азадовский... Семнадцать лет я их не

видел. После заседания все, кроме мрачного Кости, поехали ко мне.

...Полгода спустя я — в Москве.

Поклонной горы нет. Серебряного переуллка нет. И Антокольского нет давно уже. А вот «вставная челюсть Москвы», как он называл «Новый Арбат», есть. Куда ж она денется... Наталья Вишневская, индолог, когда-то моя однокурсница по питерскому востфаку и ближайшая подруга Гали Усовой с детских лет, а теперь старший научный сотрудник Института Мировой Литературы, подала мне идею предложить в «Литпамятники» мой, сделанный за 25 лет до того, но так и не опубликованный в СССР, перевод вальтер-скоттовского «Мармиона». Я удивился, не надеялся, но решил попробовать. Написали с ней заявку. К моему удивлению «Мармион» был принят к изданию.

«Оказывается, его в Ленинграде помнят, — сказал Наташе удивлённо, приехав из Питера с заседания редколлегии «Памятников», зам. председателя этой редколлегии — Андрей Дмитриевич Михайлов (имея в виду не «Мармиона», а меня), — и Нина Жирмунская, и Нина Дьяконова, даже не читая заявки, сказали, что помнят отрывки и что обязательно надо издавать!». Но вышло это издание (первого, кстати в мировой литературе, романа в стихах только в 2000 году. Медленно они издают!

* * *

...Позвонил Окуджаве. За эти 18 лет мы видались в Париже почти в каждый его приезд. А теперь в грязной электричке я ехал в Переделкино с какой-то тяжестью, потому что совсем недавно, в мае 1990 года, пришло от Булата очень необычное письмо: настроение у него было мрачнее некуда... Он писал:

«...Дошло до какой-то зловещей черты, за которой — ночь. Продолжаю по врождённому легкомыслию верить и надеяться, вернее, только надеяться на благополучный исход.

Сию безвылазно в Переделкине и понемногу работаю, стараюсь не участвовать в литпроцессе... Это «врождённое легкомыслие», о котором он тут упоминает, нас всегда сближало. И я написал ему письмо-стих, адресованное «Автору „Путешествия дилетантов“»:

... Вы — офицер гусарский,
А с Вами — бумажный солдат,
И даже если последний
Троллейбус проходит мимо —
Поручик Амилахвари,
Ведь Ваш псевдоним — Булат!
Будьте достойны, поручик,
Этого псевдонима!
Никак нам нельзя в отставку...

При встрече оказалось, что не так страшен чёрт, как его малюют. Но никак не думал я, что вижу Булата в последний раз...

...Новый 1991 год мы встречали в Париже втроём с викиной дочкой Леной и её подругой, приехавшей к ней из Питера.

С того Нового года Лена так и осталась у меня.

...Когда я через месяц опять ехал в Россию, она сказала, что хочет завести собаку. Предпочтительно ньюфа. Тогда щенки в России стоили раз в двадцать дешевле, чем на западе! У моих московских друзей Гали Полонской и Яши Коцика, маститых собачников, разводивших годами карликовых пуделей, я спросил, как достать щенка ньюфаундленда. Три четыре коротких звонка, и Яша записывает мне адрес. И вот мы с Натальей Вишневецкой поехали куда-то в Кузьминки, где у каких-то людей были месячные ньюфята, и я выбрал самую бойкую щениху, которая по головам своих братьев и сестёр разгуливала, как по паркету. Коцики ей маленький (пуделиный) ошейничек подарили. А в поезде до самого Парижа щениха ехала на столике: я один был в купе. Тогда поезда в Россию доживали последние месяцы, никто не ездил уже. Все летали.

...На Северном вокзале я протягиваю Лене клеёнчатую сумку, «вот, говорю, подарочек». Лена молнию сдвинула, а оттуда — чёрный нос. Назвали маленькую ньюфиху Ньюшей. ...Теперь ей уже 12 лет, и она именуется Ньюшка-старушка: по-человечески ей за девяносто, надо считать...¹⁴⁶

...Так и живём с тех пор вот уже 20 лет... Так и повторяю, что «на старости лет повезло мне невысказанно». Ни с кем вместе так удивительно не жилось и не работалось, как с Леной.

¹⁴⁶ Ньюша умерла в 2003 году, и мы тут же взяли щенка, Катю...



Мы с друзьями.

Я, собака Катя, шахматист Диэго Гарсес, Лена и Борис Великсон.
Фото Александры Костенюк, чемпионки мира по шахматам,
жены Диэго Гарсеса. 2005.

Тогда же, в 1991 году, позвонил я Синявским, позвал в гости. Марья сперва одна приехала «на разведку», а на следующий раз они уже вдвоём. Мы теперь снова стали общаться не реже, чем раз в неделю. Благо пять километров — и вовсе ближнее соседство... Мы с Леной предприняли поездку на машине в Англию и Шотландию, опять «по следам Мармиона». Путевые заметки вошли в издание «Литпамятников», как приложение.

* * *

...Вечера стихов в России: народу мало, но как прежде хорошо слушают. На мой вечер в «Доме писателей» пришел Д. С. Лихачёв.

...Заходим с Леной днём в буфет. Половина — знакомые. Вот Юван Шесталов выскочил из-за столика, зовёт выпить, искренне обрадовался!

...В. С. Шефнер за столиком. Ест. Взгляд, неподвижный. Я не подхожу, смотрю метров так с десяти. Постарел Вадим Сергеевич. Посмотрел прямо и, не узнав, отвёл глаза.

...Когда я в другой раз приехал в Питер, то попал с лёгкой руки Ильи Штермлера на сборище «Пень-клуба». Собрались в «Доме творчества» в Комарове. Всюду начало развала. Дом тоже осыпается. Похоже, что город «символизированный императором Петром» (выражение Дж. Казановы), грозит вместе с пригородами уплыть в небытие...



После вечера стихов. Слева неизвестная дама, далее — Г. Усова, я и наша старшая дочь Татьяна. Петербург. Дом писателей. 1995.

За столом со мной один раз оказались слишком благополучные в прошлом, а теперь очень по-советски ностальгирующие, ничего не забывшие, не понявшие и, главное, ничему не научившиеся, полуказённые «два розовых Саши» — редактор Рубашкин и критик Нинов... «О, Боже мой, какая скука!»... Не выдержав плохого отопления, на второй день смылись в город первыми «Митьки», а потом и мы с Андреем Арьевым...

...В тот же мой приезд Белла Куркова показала по телевидению в своём цикле «Пятое колесо» мой рассказ о том самом издательском «последнем номере «Правды», который мы с Ариком Вернером и Савиком Шустером соорудили в Италии ещё в начале 1980 года к московским олимпийским играм.

Сделали мы это в редакции и при поддержке сатирического римского журнала «Иль Мале» и напечатали там же немалым тиражом. Самое трудное, оказалось — найти в Италии бумагу такого дрянного качества, чтобы на советскую, «правдинскую» была похожа! В этой «Правде» 1980 года описывался, как вчера

совершившийся факт, «добровольный выход России из состава СССР» (почти за десятилетие до всем известных событий). И ещё многое мы угадали. Но все эти угаданные сюжеты были такими веселыми только в нашей газете, а то, что на деле случилось — оказалось жуткой и печальной пародией на наши «про-роческие» вымыслы... Развесёлю эту газету (с настоящей правдинской шапкой и шрифтами!) итальянцы раздавали в Москве на олимпийских играх 1980 года... А Шустер ещё и в Афганистане умудрился её пораздавать... ..Ну, не знаю, пользовалось ли успехом моё выступление об этом по телевидению, но вот пироги, которые редактор питерского телевидения Белла Куркова спекла в тот вечер, были, безусловно, выдающиеся...

* * *

«Континент» кончился. Максимов отдал его в Москву Игорю Виноградову, новомирцу. Поскольку «Новый мир» постепенно становится церковным вестником, Боюсь что и «новый» «Континент» — тоже туда же... Их набожности не выдержал даже верующий Юра Кублановский, заведовавший в «Новом Мире» поэзией. Ушёл. И опять живёт в Париже...

...А вскоре — у Максимова рак почек. Хороним его на Сен-Женевьев де Буа... Там уже Галич. Некрасов тоже.

Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни в никуда, а другие...

Другие тоже в никуда... Умер Эдик Штейн. У себя в Нью-Хейвене...

Из всех, кто принесён был той волной,
Последним прихожу на край земной,
И шумно обнажает пена дней
Седое одиночество камней...

Bretagne, Pointe du Raz

...Вот фотографии в моём альбоме.

Конец августа. В саду у Синявских. Он сам в какой-то пёстрой стёганке, очень, как всегда, домашний. Марья чечевичную похлебку свою любимую разливает. Вот и Вика сидит, весёлая. Ей жарко. Тоже как всегда. Рядом — Лена, Дима, Боря — «все,

все, все...», кроме меня, поскольку я снимал. Не думал никто, что это последние фотографии Синявского...



А. Д. Синявский, американский литературовед Е. Непомнящая, Д. Кассель (отец Лены), Б. Великсон, справа спиной — Лена.



М. В. Синявская (разливает чечевичную похлёбку), Лена, А. Д. Синявский. Б. Великсон.

Через несколько дней после этого вечера выяснилось, что Андрей болен... Всё это длилось долго и тяжело. Какая-то особая диета. Какой-то порошок из акул. Потом ему стало настолько лучше, что каждый день он садился за работу. Три месяца, за которые он почти успел закончить свой последний роман, «Кошкин Дом». Снова слёг. Больше не встал.

...Хоронили Андрея Синявского, а с ним и Абрама Терца...

Как сказал тогда Ефим Григорьевич, «Абрама вместе с Андреем попы отпоют и ведь не заметят: вот что такое одесский

жулик!!!». В церкви на Сергиевском подворье толпа. Кто-то схватил меня за плечо. Оказалось — Маша Эткинд. Она из Канады к отцу прилетела. С корабля, да не на бал... А в углу в глубокой тени стоял Андрей Вознесенский, только что прилетевший из Москвы.

На кладбище он развернул пакет. Оказалась в маленьком цветочном горшке «земля с могилы Пастернака». Я невольно поморщился: уместно ли? Но тут Андрей начал читать стихотворение:

...Последнюю хохмой чёртовой печалы иконостас,
Мария повязку чёрную повязала ему на глаз.
Пиратские череп и кости прикрыли зрачок его...
Упокой душу, Господи, усопшего раба твоего.
.....
А он отплывал пиратствовать в воды, где ждёт Харон.
Сатана или Санта-Мария встретят его паром?
.....
Стилист? Хулиган? Двурушник? Гроб пуст. В нём нет никого.
Упокой Господи, душу уставшего шута твоего...

...Проходим... Горсти земли уже не стучат о крышку, а с шорохом, как бы удаляющимся, падают мягким земляным дождём...

Земли переделкинской горсточку брошу на гроб его...
Упокой душу, Господи, духовного бомжа Твоего...

...Потом Марья опубликовала эти стихи в 36 номере «Синтаксиса».

В 1998 вышло в Питере моё «Избранное».

В один из моих приездов в Питер, на мой вечер в «Звезде» пришла Фаина Шушковская. Через четверть века снова увиделись! Я пригласил Фаину приехать в Париж. Один год она не смогла, какие-то дела срочные были, второй год уже собиралась, но снова что-то помешало... Так и не приехала. И вот дочка её звонит: «Вчера умерла. Инфаркт. Она вас любила».

...А потом и Ефима Григорьевича Эткинды не стало. Последние свои годы он прожил напряжённо и счастливо. И «Барселонскую прозу» написал. («Уходят, уходят...»).

...Позвонил Вознесенский. Приглашает на выставку своих «видеом». Мы с Леной приехали. В подвальном выставочном зале знаме-

нитога модельера Кардена около двух десятков работ Андрея. Разные. Вот узкий серый холст в раме. К холсту криво присобачен жёванный окурок «мальборо». Аллен Гинсберг! Портрет. Ничего нет, вроде, а ведь узнаётся! А вот белая плита, за которой раздаётся треск, вроде пулемётного, и красные вспышки букв напросвет: «Гумилёв, Гумилёв...» — по-моему, чудовищно пошло и безвкусно. Под потолком: «Чайка — плавки Бога».



В редакции «Звезды»: Яков Гордин, Андрей Арьев, Александр Кушнер, Вера Рогозина, Василий Бетаки.
Фото литературоведа Е. Невзглядовой (жены А. Кушнера).

А вот узкий и вертикальный, тёмный холст в теплых тонах, а на нём только две половинки кофейного зёрнышка: одна наверху горизонтально, как коричневые губы, другая — внизу вертикально...

— Помнишь, у меня подружка была тут в Париже, негритянка? Так это её «портрет»... «Помнишь!». Было это лет десять тому назад. Когда он улетел в Москву, а мы с ней провожали его, так я эту подружку и перехватил тут же в аэропорту! Очень забавно, когда Андрей подходит к какой-нибудь работе и радостно так, по-детски, говорит: «А ведь, правда, как это здорово сделано, а?!» Вот с такой же непосредственностью когда-то Н. П. Акимов смотрел свои собственные спектакли...

...Следующей весной Вознесенский опять приехал и сразу позвонил, приглашает на какое-то сборище, связанное с преми-

ей «Триумф» (вроде бы, Березовский раскошелится, что ли?) в особняк Дассо на Елисейских полях. Говорит, приезжайте чуть пораньше, поболтаем до начала. Сели с Леной и Марьей в машину. Приехали «чуть пораньше», а ворота кованые с Елисейских полей в «Отель Дассо» заперты. Внутри по двору шатаются «мальчики с мобильниками». Торчим перед запертыми воротами этого дворца. Мы с Леной и Марьей, Кира Сапгир в чёрном, с цыганской шалью, новейший, вроде бы вчерашний «эмигрант», Собчак в каком-то дурацком малиновом пиджаке. Где-то в толпе Целковы мелькают, по крайней мере, тонькина голова над толпой...

Наконец входим. В зальчике помещается человек двести приглашенных. Премию «Триумф» дают. Однако, с триумфом — неизвестно чьим — плохо. Не триумфально это всё.

Через зал проходит хозяйскими шажками кто-то коротенький, побрякивая огромными золотыми браслетами. Оказывается — это «некто по кличке «Тайванчик». Чего он тут?

А Вознесенский показывает висящий над импровизированной эстрадой какой-то обломок оконной рамы из Ипатьевского дома. К чему?

Эрик Неизвестный, вроде бы, премию получает, — а стыдно мне: Вознесенский читает «Реквием Неизвестному» — очень старые стихи, ещё из «Треугольной груши», в которых на ходу меняет имя подружки Неизвестного, то есть «актуализирует», как газетчик, да ещё и втыкает в это прекрасное стихотворение, написанное чуть ли не в шестидесятом году, слова о сегодняшней премии «Триумф»! Зачем?

...Мы смываемся. Стараемся миновать набитый людьми буфет. Возле входа стоит Зоя. Андрей догоняет, дарит свои мемуары. На бегу прощаемся с ним и Зоей: скорее к своей машине... Так причём тут Тайванчик? Раньше «свадебный генерал» на празднествах имелся, а в наше время, кажется, его сменил «свадебный уголовник»... Впрочем, сегодня нередко бывает, что русские генералы, даже и не свадебные, от уголовников мало отличимы ...

Съездил в Вашингтон, на конференцию поэтов Азии. Три очень весёлых дня...

И зоопарк там великолепный! Вместо какого-то доклада я побродил с четырьмя грузинскими и армянскими поэтами —

старинными моими знакомыми, по этому зоопарку. Мне даже удалось тапира за нос потрогать!

...Вышел в «Литпамятниках» в 2000 г. «Мармион», наконец-то! А ведь это — первый по времени в мировой литературе роман в стихах (1806 г.!).

Сорок два года тому назад Татьяна Григорьевна предложила мне сделать перевод вставной легенды из этого рыцарского, приключенческого, иногда ироничного, романа «рассказ трактирщика». А я и весь роман тогда перевёл.



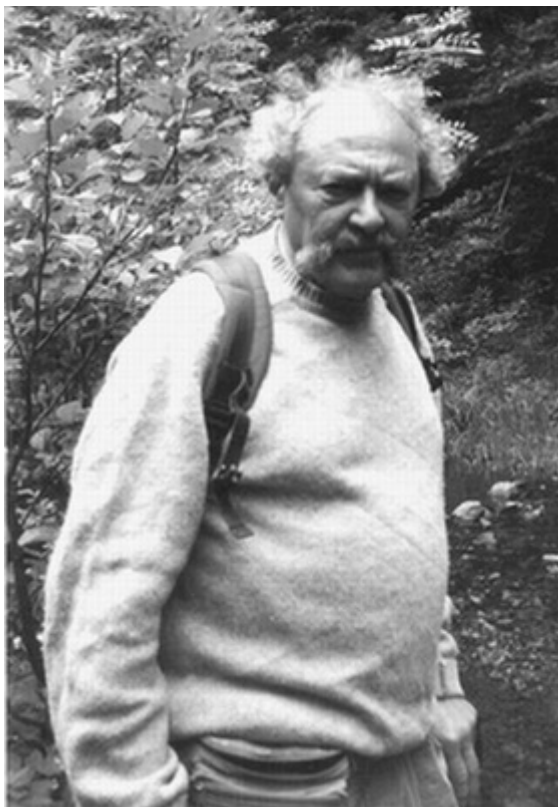
На конференции за обедом
я и две поэтессы — одна из Индии, другая из Монголии.

Особенно хороши в нем «лирические вступления» к каждой главе, в которых Вальтер Скотт (и это в 1806 году!) с истинно пушкинской непринуждённостью рассказывает то о своих предках-шотландцах, то о том, как он охотится с соседом, как бродит по окрестностям... В этих «онегинских отступлениях» истинная лирика, может быть, лучшее, что в поэзии Скотт написал. Из-за них, кстати, роман и не включили в конце шестидесятых годов в «розовое» двадцатитомное собрание Скотта — не понравилось кому-то, что поэт «прославляет разных консервативных английских деятелей, врагов России»¹⁴⁷.

...По сути дела под флагом Вальтера Скотта я находился примерно полжизни, как сама Гнедич под флагом Байрона.

¹⁴⁷ Позднее я вспомнил: этот «кто-то» был всесильный тогда профессор-стукач Р. Самарин, редактор этого издания.

А может и дольше, если учесть, что отнятый в первом классе учительницей (в 1938 году) «Айвенго», которого я читал на уроке под партой, был началом, а вышедший в 2000 году мой перевод «Мармиона» — завершением моей «Скоттиады»...



В Альпах. 2001.

...Пока «Мармион» «готовился», а в «Литпамятниках» это всегда долго, позвонил мне как-то директор московского издательства «Ладомир», приехавший в Париж на несколько дней. Поговорили о всяком, и он спросил, не хочу ли я перевести средневековую анонимную поэму «Сэр Гавейн и Зелёный рыцарь», которую он очень любит. Я сказал, что не читал. Он настоятельно посоветовал прочесть, а может быть...

Так и вышло. Достали мы с Леной текст, сначала поэтический перевод на современный английский. Напомнило это десятки «переводов» «Слова о полку». Потом купили «двуязыч-

ное» издание: подлинный староанглийский текст, а на соседних страницах, современный английский подстрочник. Лена повертела, повертела, и мало помалу стала понимать этот английский 1400 года!

А перевод, и верно, зазвучал забавно! «Литпамятники» приняли его к изданию. Комментариями и прочим аппаратом занялся молодой учёный Сергей Оверченко в Институте Мировой литературы. А после «Зелёного рыцаря» мы предложили «Литпамятникам» перевести и подготовить к изданию полное собрание стихов Сильвии Плат (все её 250 стихотворений). Они согласились. И мы думали, что авось, через пару лет издадут. Долго у них всегда! И несколько лет оно лежало у них готовое. Однотомник этот, собранный Тедом Хьюзом и удостоенный Пулитцеровской премии, вышел по-русски в моём переводе и со статьёй Лены только в 2008 году...

Ну зато время остаётся и поработать, и попутешествовать.

...Познакомились мы у Марьи Синявской с издателем Игорем Захаровым. Ему понравились элиотовские коты в моём переводе. Захаров издал «Котов» двуязычно, с подлинными текстами. Два тиража разошлись. После моего перевода «Котов» он выпустил в двуязычных изданиях стихи Огдена Нэша в переводе Иры Комаровой, мою Сильвию Плат и Хиллара Беллока в переводе Жоры Бена. Так сама собой незаметно создалась двуязычная серия захаровского издательства, в которой, пока, все переводчики — всё из того же семинара Татьяны Григорьевны Гнедич. Вот уже четыре книжки. Изящные чёрные книжечки с белым шрифтом названий. Английская и американская поэзия на двух языках, в подлиннике и в переводе.

В Лондон едем теперь всего три часа, из них минут сорок под Ламаншем по туннелю. С вокзала Ватерлоо — ещё полчаса на метро. К станции метро встретить нас подкатывает на ярко красной, слегка пижонистой машинке Жора Бен.

...А помнишь, Жора, как ты с Таней четверть века тому назад притащился ко мне в Медон из Мюнхена на жучке-фольксвагене, каком-то «полуавтомате», у которого, пока ты доехал эти 800 км, две скорости из четырех уже не работали? Или даже в начале поездки отказали? Мы с тобой на нём всё-таки в Сюренн (это всего километров за семь от нашего дома) к Ефиму Григорьевичу ещё съездили. А назавтра вы бросили у меня это чудо

техники и уехали в Мюнхен на поезде!.. Четверть века вроде прошло, но я не знаю, заметили мы это, или не совсем?

...На Би Би Си в студии. Стол четверорогий: из него торчат четыре микрофона. Рядом сидит Леонид Владимиров, старый, старый... Тanya Бен... Лена. Сева Новгородцев — ведущий. Передача из цикла «Сева-оборот» (бибисишники её кратко «оборотом» именуют). Разговариваем, я читаю что-то из «Котов» Элиота. Звучат мелодии из этого знаменитого мюзикла.

...Идём с Леной и Таней пешком по Лондону, шумному, толкотливому, но как всегда уютному... Букинисты на Черринг Кроссе. В руках у меня толстый однотомник: Эдгар По... Как я был бы немислимо счастлив, достанься мне эта книга там, в Питере, году в 58-ом! ...А сегодня, как писал Галич, «пылится в моей передней взрослый велосипед...».



В Фонтенбло.

Ольга Пиранер, Борис Великсон, Елена Кассель, Василий Бетаки.

Работаем вместе с Леной. И Сильвию Плат, и Дерекa Уолкотта разбирали вместе (мне никогда бы самому не распутать всю английскую паутину ассоциаций этих сложнейших поэтов!)... Лена пишет комментарии, предисловия. Потом слушает стихи, читает глазами, делает редакторские замечания. И всё это сверх преподавательской работы в институте. Все её «компьютерные науки» вовсе не мешают литературной работе. Возможно даже, что наоборот...

...Вот получаю от Захарова свою книгу, которая только что вышла: «Стихи разных лет». На задней стороне обложки фотография. Как всегда, очень мастерская фотография работы Вали Павловой.

После неё — ещё две книги стихов. Одна — новые стихи «Тень времени» (32 стр., Ростов, 2010) и вторая большая — «Стихи и переводы», 400 стр., «Альбир», Одесса, 2010» (к моему 80-летию...



Вот я. Вот моя собака. Вот жизнь, которая продолжается.

Надеюсь, верую, вовеки не придёт
Ко мне позорное благоразумие.
В. Маяковский

Да здравствует легкомыслие!
Дж. Казанова



КНИГИ ВАСИЛИЯ БЕТАКИ

СБОРНИКИ СТИХОВ

- «Земное пламя» (стихи). «Сов. Пис.». Ленинград, 1965
- «Замыкание времени» — стихи из неизданных в СССР книг 1966—1973 гг.: «Очумелое столетие», «Соль варяжских волн», «Петербург—навек», «Зеленый зрачок», «Открытие открытого», «Мы все — шуты». «Les Editeurs reunis». Париж, 1974
- «Европа — остров» (стихи 1973—80 гг. и переводы). Париж, 1981
- «Пятый всадник» (стихи). Париж, 1985
- «В граде Китеже» (стихи, написанные в эмиграции 1973—90). «С.-З.», Л., 1991
- «Жизнь в полстраницы» (избранная лирика 1962—92) Париж—Москва, 1992
- «Стихи 1990—1993 годов». Париж, 1993
- «Итог романтизма» (1994—1996). Париж, 1996
- «Избранное. Стихи и переводы». Петербург, 1998
- «Стихи разных лет». Москва, 2001
- «После нашей эры». Спб., 2003
- «Меа» и «Калейдоскоп» — сетевые издания
- «Тень времени». Ростов-на-Дону, 2010

ПЕРЕВОДЫ

(тут перечислены только отдельные книги)

- Песни Ж. Бреля и Ж. Brassens. Париж, 1985
- Р. Киплинг. Стихи (переводы Г. Бена и В. Бетаки). Париж, 1986
- Лина Костенко. Избранные стихи. Париж 1988
- Т. С. Элиот. «Коты». Москва 1999
- Вальтер Скотт. «Мармион», роман в стихах. РАН. «Литературные памятники», СПб, 2000
- Сильвия Плат. Избранные стихи. Москва, 2000
- Сэр Гавейн и Зелёный рыцарь. РАН. «Литературные памятники», Москва, 2003
- Сильвия Плат. Собрание стихов. РАН. «Литературные памятники». Москва, 2008

Дилан Томас. Авторское каноническое собрание стихов — сетевое издание
(<http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=2695>)

КРИТИКА

«Русская поэзия за 30 лет» (статьи о 86 поэтах). Нью-Хейвен, США, 1987

ПРОЧЕЕ

Путеводитель «Франция» (в соавторстве с Е. Кассель и Б. Великсоном) серия «Путеводители с Д. Крыловым». «Эксмо», Москва

Путеводитель «Лазурный берег» (в том же соавторстве) «Эксмо», Москва

«В поисках деревянного слона» (книга о Париже с фотографиями Елены Кассель) — сетевое издание

«Снова Казанова» (сокр. журнальный вариант). «Мосты», в семи номерах. Франкфурт, 2007

Официальный сайт: Василий Бетаки
<http://bolvan.ph.utexas.edu/~vadim/betaki/>

В издательстве «ImWerden»:

*

в начале 2011 года вышла книга:

«Повести Бѣлкина, изданные А. П.»

Знаменитая книга Александра Сергеевича Пушкина

печатается **по изданию 1831 года** с сохранением

авторской орфографии и пунктуации.

Мы лишь исправили явные опечатки.

Книга издана карманным форматом!

ISBN 978-1-4467-3333-2

*

Все книги издательства можно приобрести по адресу:

<http://www.lulu.com/spotlight/ImWerden>

Электронные библиотеки:

<http://imwerden.de>

и

<http://vtoraya-literatura.com>



Василий Павлович Бетаки — поэт, переводчик, историк архитектуры, радиожурналист — родился в 1930 г. в Ростове на Дону. Жил в Ленинграде.

Учился на Восточном факультете ЛГУ (иранистика). Окончил заочно Педагогический институт в 1953 г. (психология и методика). В 1960 г. окончил заочно Литературный Институт (Москва). Ученик Павла Антокольского и Татьяны Гнедич.

Работал учителем, режиссёром самодеятельных театров, инструктором верховой езды, главным методистом Павловского Дворца-музея.

Публиковаться начал в 1956 году. С 1963 года перешел на профессиональную литературную работу. Первая книга стихов вышла в 1965 г. в Ленинграде. С 1965 по 1972 был членом Союза писателей. Переводил поэзию с английского и немецкого, писал литературные передачи для радио, руководил литобъединением Невского района в Ленинграде.

В 1971 г. он стал победителем конкурса перевода трех «главных» стихотворений Эдгара По («Ворон», «Колокола», «Улалюм»), которые были опубликованы в двухтомнике Э. По 1972 года, изд. «Художественная литература» (Это было последней публикацией В. Бетаки перед эмиграцией).

С 1973 года живет в Париже. Двадцать лет проработал на радио «Свобода» и восемнадцать (в то же время) в журнале «Континент». Был одним из организаторов переправки в СССР запрещённых там книг, издававшихся на Западе.

За время жизни во Франции у него вышло четырнадцать книг стихов, книга статей о современных русских поэтах и девять книг переводов.

С 1989 года Василий Бетаки снова публикуется в России.

ISBN 978-1-4466-0584-4



9 781446 605844



ImWerden, 2011
<http://imwerden.de>